

Белый отель

Дональд Майкл Томас

Аннотация
от автора
белый отель
  пролог
  ЧАСТЬ 1. дон жуан
    1
    2
    3
    4
  ЧАСТЬ 2. гастайнский дневник
  ЧАСТЬ 3. фрау анна г.
  ЧАСТЬ 4. санаторий
    1
    2
    3
  ЧАСТЬ 5. спальный вагон
  ЧАСТЬ 6. лагерь
георгий яропольский. постояльцы отеля «вечность». (заметки на полях перевода)
ПРИЛОЖЕНИЕ. зигмунд фрейд. по ту сторону. принципа. удовольствия
  I

II
III
IV
V
VI
VII

Аннотация

D. M. THOMAS
the white hotel

Д. М. ТОМАС
белый отель

По основной профессии Дональд Майкл Томас – переводчик Пушкина и Ахматовой. Это накладывает неповторимый отпечаток на его собственную беллетристику.

Вашему вниманию предлагается один из самых знаменитых романов современной английской литературы. Шокировавший современников откровенностью интимного содержания, моментально ставший бестселлером и переведенный на двадцать с лишним языков, «Белый отель» строится как история болезни одной пациентки Зигмунда Фрейда. Прослеживая ее судьбу, роман касается самых болезненных точек нашей общей истории и вызывает у привыкшего, казалось бы, уже ко всему читателя эмоциональное потрясение.

Дональд Майкл Томас (р. 1935) – известный английский писатель и поэт. По основной

профессии – переводчик Пушкина и Ахматовой, что накладывает неповторимый отпечаток на его собственную беллетристику. «Белый отель» шокировал современников откровенностью интимного содержания, моментально стал бестселлером и был переведен более чем на двадиать языков. За «Белым отелем» последовала пенталогия «Квинтет русских ночей» («Арарат», «Ласточка», «Сфинкс», «Встреча в верхах», «Ложе лжи»), романы «Вкушая Павлову», «Дама с ноутбуком» и другие, в том числе тематическое продолжение «Белого отеля» – «Картинки с выставки».

> Странный и удивительный роман... превосходно написанный... блистательно оригинальный.
>
> ***Джон Гарднер***

Сюрреалистический кошмар, переходящий в поразительное исследование взаимоотношения правды и вымысла, геройства и жестокости, любви и смерти. Незабываемо.

Пол Теру

Потрясающий, в высшей степени оригинальный роман. На ум не приходит ни одной книги, которую можно было бы поставить рядом – как в чисто литературном плане, так и в идейном. «Белый отель» стоит особняком.

Грэм Грин

от автора

Углубляясь в ландшафты истерии — которая является «территорией» этого романа, — нельзя не повстречаться с величественной фигурой Зигмунда Фрейда. По существу, Фрейд выступает одним из действующих лиц как открыватель великого и прекрасного современного мифа — психоанализа. Под мифом я разумею поэтическое, драматическое выражение тайной истины; подчеркиваю это, ибо не имею намерений оспаривать научную ценность психоанализа.

Роль, исполняемая Фрейдом в этом повествовании, целиком вымышлена. Тем не менее в жизни моего воображаемого Фрейда есть параллели с общеизвестными событиями из жизни настоящего Фрейда, и я *passim*[1] цитировал его работы и письма.

Письма «Пролога» и все отрывки, относящиеся к психоанализу (включая часть 3, представля-

---

1 notes: 1

* Повсюду, в разных местах (лат.). (Здесь и далее — примечания переводчика. Кроме части 3, где примечания переводчика выделены специально на фоне большого количества авторских примечаний — как бы от лица Фрейда и как бы от лица редактора. Последние даны в квадратных скобках.)

ющую собой историю болезни, литературно обработанную Фрейдом), не имеют фактической основы. Читатели, не знакомые с подлинными историями болезней, — которые, помимо всего прочего, являются мастерски написанными литературными произведениями, — могут обратиться к сочинениям самого Фрейда.

Считаю своим долгом выразить благодарность за использование в части V материалов из книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» (New York: Dell Publishers, 1967; London: Jonathan Cape, 1970), в частности свидетельства Дины Проничевой.

Д. М. Т.

белый отель

Сердце вскормлено хлебом фантазий,
И жестокость отныне в крови;
Вкус насилья, вражды, безобразий
Притягательней пресной любви...

У. Б. Йейтс. Размышления
во время гражданской войны

пролог

США
Массачусетс,
Вустер,
Отель Стендиш.
8 сентября 1909 г.

Дорогая Гизела,-

Самый горячий, самый трепетный и страстный поцелуй шлю тебе я — из Нового Света! Из-за разъездов, приемов, лекций, почестей (оказываемых, естественно, главным образом Фрейду и, в меньшей степени, Юнгу) времени нет даже на то, чтобы высморкаться, и голова у меня идет кругом. Но уже яснее ясного, что Америка жаждет принять наше движение. Брилл и Холл — отличные парни, а в Университете Кларка все просто подавляют нас добротой и лестными словами. Фрейд даже меня поразил своим великолепным искусством — он прочел пять лекций безо всяких записей, обдумав их во время нашей получасовой прогулки. Вряд ли надо добавлять, насколько глубокое впечатление он произвел. Юнг тоже прочел две прекрасные лекции — о своей собственной

работе, без единого упоминания имени Фрейда. Хотя мы втроем, в общем-то, неплохо ладим между собой, иногда, при неблагоприятных обстоятельствах (в числе которых могу назвать и приступы поноса в Нью-Йорке!..), в отношениях между Юнгом и Фрейдом чувствуется некоторое напряжение. Я расскажу об этом подробнее чуть погодя.

Но ты, наверное, хочешь услышать о самом путешествии. Это было великолепно, но мы почти ничего не видели. Сразу же опустился густой летний туман. Правда, он тоже произвел впечатление, особенно на Юнга, которого захватила идея о «допотопном монстре», неуклюже бредущем в потемках к своей цели, и ощущение, будто мы оказались в доисторическом прошлом. Фрейд подтрунивал над ним — дескать, он христианин, а потому склонен к мистике (участь, которой, по его мнению, избежали евреи), но признал, что и сам чувствует нечто подобное, глядя в пустой иллюминатор и слушая то, что он назвал «брачным зовом корабельных сирен». Тем более впечатляющим и невероятным оказался Нью-Йорк, возникший из этой темноты. Нас встретил Брилл; он показал нам кучу интересных вещей, но мне ничто так не понравилось, как

движущиеся картинки, «кино». Несмотря на рези в желудке, я нашел его весьма занимательным; в основном показывали комичных полицейских, преследующих еще более комичных злодеев. Не бог весть какой сюжет, но люди действительно движутся *как живые. Фрейд, я думаю, был не очень-то впечатлен!*

Да, должен рассказать тебе о довольно необычном происшествии в Бремене накануне нашего отъезда. Мы от души радовались тому, что нам удалось встретиться, и, естественно, все были взволнованы предстоящими приключениями. Фрейд давал обед в роскошном отеле, и мы убедили Юнга оставить свою обычную воздержанность и выпить с нами вина. Возможно, из-за того, что не привык к выпивке, он сделался неожиданно разговорчивым и воодушевленным. Завел речь о каких-то «останках в торфяных болотах», вроде бы найденных в Северной Германии. Говорят, что это тела доисторических людей, мумифицированные из-за того, что в болотной воде содержалась гуминовая кислота. Похоже, что люди утонули в этих болотах или были там похоронены. Что ж, это было довольно-таки интересно или было бы таковым, не повторяй Юнг этого снова и снова. В конце концов Фрейд,

взорвавшись, несколько раз спросил: «Почему тебя так занимают эти трупы?» Но Юнг был по-прежнему полностью захвачен своим рассказом, и Фрейд соскользнул со стула, упав в обморок.

Бедняга Юнг был очень расстроен таким оборотом дел — да и я тоже — и не мог понять, что он сделал не так. Придя в себя, Фрейд обвинил его в попытке вывести его из равновесия. Юнг, конечно, категорически это отрицал. Они в самом деле добрый, славный товарищ, намного приятнее, чем можно ожидать при виде его короткой стрижки и очков в золотой оправе.

Другая размолвка случилась на корабле. Мы развлекались (во время тумана!) толкованием своих снов. Юнг очень заинтересовался сном Фрейда, в котором его свояченице (Минне) приходилось, как крестьянке при сборе урожая, скирдовать пшеницу, а его жена смотрела на это сложа руки. Юнг довольно бестактно требовал дальнейшей информации. Он дал понять, что связывает сон с теплыми чувствами, которые Фрейд испытывает по отношению к младшей сестре своей жены. Меня неприятно удивило то, что он так осведомлен о семейных делах Фрейда. Фрейд, естественно, был выбит из колеи и заявил, что не хочет, как он выразился, «рисковать авторитетом», вынося

на обсуждение что-то еще более личное. Юнг сказал мне позже, что именно в тот момент Фрейд потерял *свой авторитет, по крайней мере, для него.*

Думаю, мне все-таки удалось сгладить неловкость, и сейчас они снова в хороших отношениях. Но какое-то время я чувствовал себя судьей на ринге! Между ними все очень непросто, но, прошу тебя, держи это в тайне.

Мой собственный сон (единственный, который я запомнил) был о каком-то обыденном детском разочаровании. Фрейд, конечно, с легкостью угадал, что сон связан с тобой, дорогая. Он понял самую суть: я боюсь, что твое решение не разводиться с мужем, пока твои дочери не выйдут замуж, самообман с твоей стороны, — ты просто не хочешь закреплять наши долгие отношения такими прочными узами, как узы брака. Что ж, ты знаешь о моих опасениях, и ты сделала все возможное, чтобы их развеять; но, как видишь, я не смог избежать сновидений *об этом во время нашей разлуки (а может быть, это угнетающр действовал морской туман). Фрейд, как всегда, сильно помог мне. Скажи Эльме, что он был тронут ее добрыми пожеланиями и до глубины души рад тому, что она находит его анализ*

таким полезным. Он также передает свое расположение тебе *— он добродушно заметил, что если мать может сравниться с дочерью очарованием и умом (я заверил его, что это так), то мне можно позавидовать.. Ну, это-то я знаю! Обними и поцелуй за меня Эльму и передай поклон мужу.*

На следующей неделе мы собираемся поехать к Ниагарскому водопаду (Фрейд считает это главным событием всей поездки), а потом, менее чем через две недели, отправимся в путь на «Кайзере Вильгельме». Может случиться так, что я окажусь в Будапеште раньше, чем письмо; не могу передать, как я жажду заключить тебя в объятия. Пока же целую тебя (и, о Боже! много хуже! много лучше!) в своих мечтах.

Всегда твой,
Шандор Ференци.

Вена,
Берггассе, 19
9 февраля 1920 г.

Дорогой Ференци,

Спасибо тебе за сочувственное письмо. Даже не знаю, что еще сказать. Годами я готовился к потере сыновей; теперь пришел черед дочери. Поскольку я совершенно не религиозен, мне некого

винить и некуда обратиться с жалобой. «Неизменный круг обязанностей солдата» и «сладкая привычка к существованию» обеспечат то, что все будет идти, как и прежде. Слепая необходимость, немое подчинение. Глубоко внутри я могу проследить чувство тяжелой нарциссической обиды, от которой невозможно избавиться. Жена и Аннерль ужасно потрясены, и это более человеческая реакция.

Не беспокойся обо мне. Я все тот же, только чуть больше устал. La Se'ance continue[2]. *Сегодня мне дольше, чем я могу себе позволить, пришлось пробыть в венской городской больнице — в качестве члена комиссии, расследующей заявления о неправильном лечении военных неврозов. Сильнее, чем когда-либо, меня поражает, как можно думать, что лечение электрическим током так называемых симулянтов превратит их в героев. Вернувшись на поле боя, они неизбежно перестанут бояться тока перед лицом более непосредственной опасности; поэтому их подвергнут еще более суровому электрошоку — и так до бесконечности. Я склонен усомниться в вине Вагнера-Йорегга, но не поручусь за весь его*

---

2 notes: 2

* Представление продолжается (фр.).

персонал. Никогда не отрицалось, что в немецких госпиталях бывали случаи смерти во время лечения, а также самоубийства. Еще рано говорить, идет ли венская клиника характерным немецким путем безжалостного достижения цели. К концу месяца мне придется подать на рассмотрение меморандум.

Я снова с увлечением занялся своим эссе «По ту сторону принципа удовольствия», с которым так долго мешкаю; причем крепнет убеждение, что я на правильном пути в определении инстинкта смерти как по-своему настолько же сильного (хотя и более скрытого), как либидо. Одна из моих пациенток, молодая женщина, страдающая сильнейшей истерией, только что «дала жизнь» некоторым записям, которые, кажется, подтверждают мою теорию: неистовые сексуальные фантазии сочетаются с крайне болезненной впечатлительностью. Как будто Венера, взглянув в зеркало, увидала Медузу Горгону. Возможно, мы исследуем сексуальные импульсы чересчур односторонне, напоминая тем самым моряка, чей взгляд так прикован к свету маяка, что он разбивается о скалы в окрестной тьме.

Может быть, по какому-нибудь аспекту этой темы я напишу статью, чтобы в сентябре пред-

ставить на конгрессе. Уверен, воссоединение взбодрит нас всех после этих ужасных, гнетущих лет. Я слышал, Абрахам собирается сделать доклад по комплексу женской кастрации. Твои предложения по развитию активной терапии в психоанализе, по-моему, в качестве предмета обсуждения просто превосходны. Я по-прежнему уверен, что «можно достичь намного большего эффекта в лечении больных, если относиться к ним с любовью, которой они жаждали, будучи детьми», но с интересом выслушаю и твои доводы.

Жена вместе со мной благодарит тебя за доброту.

Твой Фрейд.

Вена,
Берггассе, 19.
4 марта 1920 г.

Дорогой Сакс,

Хотя коллеги в Швейцарии и будут по тебе скучать, я думаю, ты абсолютно прав, перебравшись в Берлин.

У меня нет сомнений в том, что именно Берлин через несколько лет станет центром нашего движения. Твой ум, неиссякаемый оптимизм,

сердечность и широта взглядов делают тебя идеальным человеком, способным взять на себя подготовку будущих психоаналитиков, хотя ты и беспокоишься по поводу недостаточного опыта клинической работы. Я очень верю в тебя.

Беру на себя смелость послать тебе в качестве «прощального подарка» — хотя, надеюсь, разлука не будет долгой — несколько необычный «дневник», которому, после лечения на водах в Гастайне, «дала жизнь» одна из моих пациенток, молодая женщина с самой приличной репутацией. Она уехала из Вены худой, вернулась пополневшей и сразу передала мне свои записи. Подлинный pseudocyesis*! Она отдыхала в обществе своей тети, и вряд ли нужно добавлять, что ей никогда не доводилось видеть моих сыновей, хотя, возможно, я упоминал, что Мартин был военнопленным. Не буду надоедать тебе подробностями ее истории болезни; но если что-то затронет в тебе* художника*, то буду благодарен тебе за комментарии. Молодая женщина прервала многообещающую музыкальную карьеру и действительно написала эти «стихи» между нотных строк «Дон Жуана»... Отправляю тебе копию всей рукописи (оригинал записан в ученической тетради), которую она с удовольствием*

для меня сделала. Эта копия, если можно так выразиться, всего лишь послед, и возвращать ее необязательно.

Если сможешь не обращать внимания на грубые выражения[3], которые болезнь исторгла из этой девушки, в нормальном состоянии застенчивой и очень скромной, то найдешь интересные для себя отрывки. Говорю об этом, зная твой раблезианский темперамент. Не беспокойся, мой друг, это меня не задевает. Мне будет недоставать твоих еврейских шуток — здесь, в Вене, как ты знаешь, все ужасно серьезны.

Если не удастся раньше, то в сентябре надеюсь увидеть тебя в Гааге. Мрахам обещает статью по комплексу женской кастрации. Скальпель, которым он будет пользоваться, наверняка окажется очень тупым. Но все же он человек здравомыслящий и достойный. Ференци попытается обосновать свой вновь обретенный энтузиазм по поводу лечения больных хорошим отношением.

Без «воскресного ребенка» наш дом все еще ка-

---

3 notes: 3

* В силу того, что в русском языке эквиваленты английских «грубых выражений» имеют несоизмеримо более непристойную коннотацию, такую лексику в переводе необходимо было передавать чисто описательно.

жется опустевшим, хотя мы и редко ее видели после замужества. Ну да хватит об этом.

С сердечными пожеланиями,
твой Фрейд.

Берлинская поликлиника
14 марта 1920 г,

Дорогой, многоуважаемый профессор!

Простите за открытку: мне показалось, что это соответствует стилю «белого отеля» *Вашей юной пациентки. От души благодарю Вас за этот подарок. С его помощью время в поезде (весьма подходящая обстановка!) прошло быстро и интересно. Что касается моих мыслей по поводу ее произведения, то, боюсь, они элементарны: ее фантазия поразила меня так же, как Рай до грехопадения — не потому, что там не было любви и смерти, а потому, что не было* времени, *в котором они могли бы обрести смысл. Новая клиника великолепна; конечно, она, увы, не стоит на молочных реках с кисельными берегами, как* белый отель, *но надеюсь, окажется значительно долговечнее! Как только соберусь с мыслями, напишу письмо.*

Сердечно Ваш,
Сакс

Вена,
Берггассе, 19.
18 мая 1931 г.

Серкретарю Комитета
по столетнему юбилею
со дня смерти Гёте

Городской совет,
Френкфурт

Уважаемый господин Кун,

Простите, что задержался с ответом на Ваше любезное письмо. Однако я, насколько это позволяло состояние моего здоровья, не сидел тем временем без дела, и статья готова. Моя бывшая пациентка не возражает против публикации своих сочинений вместе со статьей, и я их прилагаю. Надеюсь, Вас не смутят непристойные выражения, разбросанные в ее слабых стихах, равно как менее вызывающие, но все-таки порнографические материалы в прозаическом толковании ее фантазий. Нужно иметь в виду, что а) их автор страдал сильной сексуальной истерией и б) эти сочинения относятся к области науки, где всегда принимается и применяется принцип

nihil humanum[4], *и не в последнюю очередь тем поэтом, который советовал своим читателям не бояться и не отворачиваться от того, «что, неведомое людям или ими отвергаемое, бродит ночами по лабиринтам сердца».*

Искренне Ваш,
Зигмунд Фрейд

4 notes: 4

* Homo sum, humani nihil a me alienum puto — я человек, ничто человеческое мне не чуждо (из комедии Теренция около 185-159 гг. до н. э.).

ЧАСТЬ 1
дон жуан
1

Мне снилась буря: рушились стволы
деревьев, из ненастной сизой мглы
безлюдный берег выпростался вдруг,
дрожа от страха, я пыталась люк
открыть, но не смогла; там был Ваш сын,
в купе игру затеяли мы с ним,
в тоннель влетел наш поезд – тьма, хоть глаз
коли – рука проворно пробралась
ко мне под платье, между бедер, сил
дышать не оставалось, пригласил
Ваш сын меня с собою – он хотел,
чтоб в белый мы поехали отель,
что в изумрудном озере в горах
весь отражен, уже ни стыд, ни страх
мне не могли, пылающей, помочь
подол мой опустить, отбросить прочь

его ладонь – и палец, два, и три
протиснулись в меня, дрожа внутри,
я ноги развела: по ним текло,
тут проводник протер в купе стекло,
на миг остолбенев, потом ушел,
я вся была как пустотелый ствол
желанья, жажды – до тех самых пор,
пока мы в вестибюль во весь опор
не ворвались – консьержка там спала
—
и он, ключи схвативши со стола,
наверх стремглав не бросился опять,
меня не прекращая раздевать
при этом; небо было голубым,
но к вечеру как будто белый дым
поверх деревьев стройных закружил —
то ветер дул с заснеженных вершин,
с неделю провели мы среди них,
постель не покидая ни на миг,
Ваш сын меня почти распотрошил,
профессор, я разбита, я без сил,
не знаю, чем усталость эту снять,

Вы можете помочь или понять?
Второй наш вечер помнится мне так:
ярился ветер жесткий, как наждак,
меж лиственниц, окреп он, чтоб сорвать
с беседки крышу – пагоде под стать;
валы вздымались, многим утонуть
сулила ночь, Ваш сын ласкал мне грудь,
потом прижался ртом, сосок набух,
в отеле свет мигнул, потом потух,
шаги и гомон слышались во мгле,
казалось, мы на белом корабле
в открытом море, плеск и беготня
повсюду раздавались, он меня
сосал, сосал – я сдерживала крик:
с такою силой он к соскам приник,
что оба затвердели; как сквозь сон,
порой мы различали стекол звон,
потом в меня он втиснулся опять,
Вам не понять, профессор, не понять,
что там, в горах, за звезды, – свет их чист,

огромные, что твой кленовый лист,
все падали, все падали они,
в воде озерной гасли их огни,
то были Леониды, он сказал,
мы слышали – на помощь кто-то звал;
помимо члена, палец был во мне,
они крест-накрест терлись в глубине,
звучал то плач, то быстрый шепоток,
он влез в другой проход, мой ноготок
у комеля во мне сокрытый член
ласкал – в меня утоплен, схвачен в плен,
ему он больше не принадлежал,
зигзаг слепящей вспышки пробежал
так быстро, что исчез скорее, чем
над крышей раскололся гром, затем
все снова почернело, лишь в воде
неверный свет струился кое-где,
в бильярдной был потоп, все сбились с ног,
боль нарастала, кончить он не мог,
нам было так чудесно, со стыда

сгораю я, профессор, но тогда
мне было не до этого, хотя
кричала я; примерно час спустя
услышали мы хлопанье дверьми —
от озера скорбящими людьми
вносились трупы, ветер не стихал,
Ваш сын, заснув, объятий не разжал.
Однажды – мы стояли у окна —
спасти решили кошку: чуть видна,
чернела средь листвы она густой,
в которой двое суток с ночи той
с испугу провела; слепую злость
ее когтей спасателям пришлось
отведать, в тот же вечер из меня
кровь заструилась, алым простыня
окрасилась, я помню, он как раз
показывал мне снимки – мы о Вас
беседовали; я спросила: ты
не возражаешь против красноты? —
не следует буквально понимать
слова «не покидали мы кровать», —
едва коснулась кошка та земли,

как мы, одевшись, ужинать сошли,
там были танцы, прямо меж столов,
пошатывалась я, под мой покров —
одно лишь платье – воздух проникал,
а он опять рукой меня ласкал,
я слабо попыталась оттолкнуть
его ладонь, но он успел шепнуть:
я не могу, позволь мне, разреши, —
танцующие пары от души
нам улыбались; отодвинув стул,
он сел и быстро пальцы облизнул,
я видела, как красная рука
кромсала мясо, жесткое слегка,
с едой покончив, мы сбежали вниз,
под лиственницы, где прохладный бриз
мне тело овевал и, хоть оркестр
за стенами не слышен был, окрест
цыганская мелодия плыла;
той ночью я едва ли не была
разорвана; от крови он люте л,
рой звезд, кружась, над озером летел,
луну затмил на небе этот рой,

к нам в окна звезды сыпались порой, —
одна беседки крышу, что была
на пагоду похожа, подожгла;
вершину, что венчал собой ледник,
высвечивала молния на миг.

2

Однажды мы оставили постель
служанкам на весь день, с утра отель
покинув, чтоб на яхте походить.
Трехмачтовое судно бороздить
до сумерек не прекращало гладь
спокойных вод. Его рука опять
под пледом до запястья внутрь ушла, —
ее я, как перчатка, облегла.
Без облачка был синий небосклон.
Деревьями отель был поглощен,
а те сливались с зеленью воды,
блестевшей наподобие слюды.
Шептала я: возьми, возьми меня! —

и не стыжусь теперь, во всем виня
убийственное солнце. Все равно,
нам негде было лечь: везде вино
цедил народ, цыплят глодая, с нас,
укрытых пледом, не спуская глаз.
Я вся была как в лихорадке – так
меня дурманил втиснутый кулак;
как поршень, он скользил туда-сюда
за часом час. Их взгляды лишь тогда
отворотились прочь, когда закат
окрасил небо, но сильней стократ
их зарево в отеле отвлекло —
он вновь был виден, и одно крыло
пылало; сбившись в кучу и дрожа,
все в ужасе взирали на пожар.
Вот тут-то сын Ваш робость поборол,
поднял и насадил меня на кол,
стонала я, но крик глушил мой стон:
за трупом труп срывался из окон.
Я содрогалась из последних сил,
покуда он струю не испустил,
прохладную и нежную. С дерев

тела свисали. Снова затвердев,
опять нырнул – и снова стон исторг,
о, нету слов наш выразить восторг,
крыло отеля выгорело, в нем
лишь койки, пощаженные огнем,
виднелись; как все это началось,
никто не знал, – быть может, солнца злость
шальная ворох наших простыней,
горячих с ночи, обожгла сильней —
и подпалила; то ли кто из слуг
курил – его жара сморила вдруг;
а может, зажигательным стеклом
подтаявший явился горный склон.
В ту ночь мне глаз сомкнуть не удалось,
внутри, казалось, что-то порвалось,
Ваш нежный сын во мне был напролет
всю ночь, но без движения, народ
над мертвыми склонялся за окном,
не знаю, женский опыт вам знаком
иль нет, но алой боли пелена

за часом час все зыбилась, она
как озеро спокойное была,
что в берег тихо плещет. Не могла
заря нас ни разъять, ни усыпить.
Уснув же наконец, пришлось испить иное:
мне приснилось, будто я —
фигура носовая корабля,
резная «Магдалина». По морям
носясь, я на себе носила шрам,
оставленный меч-рыбой, я пила
крепчайший ветер, плоть моя была
древесная обточена водой,
дыханьем льдов, бессчетной чередой
плавучих лет. Сперва был мягок лед,
я слышала, как кит с тоской поет,
свой ус жалея, вшитый в мой корсет, —
меж ветром и китовым плачем нет
больших различий; позже лед пошел
вгрызаться в нас (мы были – ледокол),
мне грудь стесало напрочь, я была
покинута, точнее – родила

древесный эмбрион, он снег и ночь
сосал, разинув рот, покуда прочь
его все дальше злобный ветер гнал;
еще один свирепый снежный шквал
мне матку вырвал начисто, – вертясь,
она в пространство белое взвилась.
С каким же облегченьем ото сна
я встала поутру, озарена
горячим солнцем, чей спокойный свет,
лаская, гладил мебель и паркет!
Ваш сын неслышно вышел вслед за мной
и со спины так глубоко проник,
что в сердце, еще помнившем ледник,
расцвел цветок, внезапен и багров.
Не знала я, которым из ходов
в меня вошел он, но и весь отель,
и даже горы – все дрожало; щель
чернела, извиваясь, где одна
до этого царила белизна.

3

Сдружились мы со многими, пока
не ведавшими, как их смерть близка;
средь них была корсетница – пухла
и, ремеслу подобно, весела, —
но ночи мы делили лишь вдвоем.
Все длился звездный ливень за окном,
огромных роз тек медленный поток,
а как-то раз с заката на восток,
благоухая, роща проплыла
деревьев апельсиновых; была
я в трепете и страхе, он притих,
мы молча проводили взглядом их,
они, шипя, растаяли в воде,
как тысячи светильников во тьме.
Не думайте, что не было у нас
возможности прислушаться подчас,
как безгранична в спящем мире тишь,
друг друга не касаясь, – разве лишь
он холмик мой ерошил иногда:

ему напоминал он те года,
когда, забравшись в папоротник, там
возился он, играя. По ночам
немало он рассказывал о Вас —
и Вы, и мать стояли возле нас.
Из облаков закат лепил цветы
невыносимой, странной красоты,
казалось, будто кружится отель,
грудь ввинчивалась в сумрак, что густел,
я вся была в огне, его язык
ко мне в ложбинку каждую проник,
а семя оросило мне гортань —
обильная, изысканная дань,
что тотчас превратилась в молоко,
а впрочем, и без этого легко
оно рождалось где-то в глубине,
до боли распирая груди мне;
внизу он осушил бокал вина —
ведь после страсти жажда так сильна —
и через стол ко мне нагнулся, я

лиф платья расстегнула, и струя
забрызгивала все вокруг, пока
губами он не обхватил соска,
другую грудь, что тоже потекла,
я старичку-священнику дала,
все постояльцы удивлялись, но
они нам улыбались все равно,
как будто ободряя – ведь любовь
в отеле белом всем доступна вновь;
в дверь заглянув, шеф-повар просиял,
поток молочный все не иссякал,
тогда он подошел, бокал налил,
под грудью подержав, – и похвалил,
его в ответ хвалили – мол, еда
состряпана на славу, как всегда,
бокалы прибывали, каждый пил,
шутник какой-то сливок попросил,
потом и музыканты подошли,
за окнами, в клубящейся дали,
гас свет – как будто маслом обнесло
и рощи, и озерное стекло,
священник продолжал меня сосать —

он вспоминал свою больную мать,
в трущобах умиравшую, – Ваш сын
другою грудью занят был, с вершин
сползал туман, под скатертью ладонь
в дрожащем лоне вновь зажгла огонь.
Наверх пришлось нам броситься. Он член
ввел на бегу, и бедра до колен
мне вмиг горячей влагой залило,
священник же, ступая тяжело,
процессию повел на склон холма,
мы слышали, как пение псалма
стихало, удаляясь, он мои
засунул пальцы возле члена, и
корсетница-пампушечка, наш друг,
туда же влезла, захватило дух —
я так была забита, но должна
признаться, что еще не дополна,

4

Однажды ясным вечером, когда,

как простыня, озерная вода
алела, мы оделись и пошли
к вершине, пламенеющей вдали,
тропа была прерывиста, узка,
петляла меж камней; его рука
опорой мне служила, но и внутрь
ныряла то и дело. Отдохнуть
решили мы меж тисов, что росли
у церкви; наклоняясь до земли,
щипал траву привязанный осел;
когда Ваш сын, скользнув, в меня вошел,
монахиня с корзиною белья
явилась и сказала, чтобы я
напрасно не смущалась: наш ручей
грехи смывает полностью, – смелей!
То был ручей, что озеро питал,
которое жар солнца выпивал,
чтоб все дождем опять вернулось вниз.
Ее стирать оставив, взобрались
мы в царство холодов, где не растет
ни деревца, где только снег да лед.

Уже и солнце спряталось, когда,
впотьмах в обсерваторию войдя,
мы в телескоп взглянули. Как же он
был звездам предан, звездами пленен!
Вы знаете – они ведь у него
в крови; но только в небе ничего
не видно было – звезды до одной
на землю пали снежной пеленой,
не знала я, что звезды, словно снег,
к земле и водам устремляют бег,
чтоб поиметь их; в этот поздний час
к отелю спуск был гибельным для нас —
мы кончили еще раз и легли.
Во сне он был и рядом, и вдали,
и образы его плелись в узор,
порой я различала пенье гор —
они поют при встрече, как киты.
Всю ночь летело небо с высоты,
в мельчайших хлопьях, и со всех сторон
Вселенной раздавался сладкий стон, —
с тех пор, как начала она кончать,

он столько лет не прекращал звучать;
мы встали утром, звездами шурша
и жажду снегом утолить спеша,
все было – даже озеро – бело,
отель казалось, вовсе замело,
пока трубу он не наставил вниз
и те слова внезапно не нашлись,
что я там надышала на стекле.
Он сдвинул телескоп, и на скале
во льду мы различили эдельвейс;
он указал на падавших с небес
парашютистов, стала вдруг видна
застежка от корсета, – то она,
подружка наша пухлая, была,
она, казалось, в воздухе плыла,
зависнув в небе между двух вершин,
синяк, который Ваш оставил сын,
виднелся на бедре ее, он был,
по-моему, взволнован, его пыл
я чувствовала словно в забытьи,
тряс ветер трос фуникулера и
раскачивал вагончик, рвался крик,

вниз постояльцы падали, язык
его стучал мне в грудь, а кровь – в виски,
мгновенно напряглись мои соски,
цепочка дам не падала – плыла,
их юбки были, как колокола,
раздуты ветром; обгоняя их,
к земле летел поток фигур мужских,
казалось – это танец кружит всех
и женщины не вниз летят, а вверх,
как будто руки сильные мужчин
подбросили воздушных балерин;
мужчины оземь грянулись, вдогон
и женщины попадали на склон,
в деревьев кроны, в озеро, и лишь
затем упала россыпь ярких лыж.
Спускаясь, мы решили у ручья
передохнуть. На удивленье, я
так четко различала с высоты
рыб в озере прозрачном – их хвосты
и плавники горели серебром
и золотом, их скопище о том

напомнило, снуя под толщей вод,
как семя ищет в матку мою вход.
Уже иные рыбы жертв беды
обнюхивали в поисках еды.
Я слишком сексуальна? Иногда
я думаю – по-видимому, да,
как будто вовсе даже не Господь
тот, кто в клубок стянул всю эту плоть, —
потоками икры затмил моря,
лозу тугими гроздьями даря,
а финиками – пальмы; кто тельцу
велел вдыхать цветочную пыльцу,
быку – при виде слив ронять слюну,
а Солнцу – крыть бессильную Луну.
Олень во время гона, полный сил, —
Ваш сын меня всей скромности лишил.
Был персонал в ударе, раньше я
подобного обслуживания
не видывала, рьяный телефон
не умолкал, в отель со всех сторон
стекались гости, если кто от нас

съезжал, десяток новых тот же час
вселялся, на одну хотя бы ночь
просились новобрачные, но прочь
их часто приходилось отправлять,
одной чете в углу нашли кровать —
уж так рыдали, выслушав отказ;
а следующим вечером до нас
из коридора вопли донеслись,
у новобрачной роды начались,
стремглав помчались горничные к ней,
неся охапки теплых простыней.
Сгоревшее крыло весь персонал
отстраивать усердно помогал,
однажды, припечатана лицом
к подушке, я – уже перед концом —
его вбирала мощные толчки,
уже почти хрустели позвонки
и растекалась огненная слизь,
когда мы услыхали: к нам скреблись
в окно, то был шеф-повар, он вспотел,
кладя слой свежей краски на отель,
он подмигнул нам, радостен и лих,

без разницы мне было, кто из них
во мне, бифштексы были хороши,
и соус он готовил от души,
и было так чудесно понимать,
что часть себя другому можно дать,
не ведал эгоизма наш отель,
где озеро и оползень, и сель
от гор вбирало, между чьих грудей
взмывали стаи диких лебедей,
а те скользили к озеру, их пух
так бел был, что захватывало дух,
отказывался верить в это взор,
и серыми казались пики гор.

ЧАСТЬ 2
гастайнский дневник

Она споткнулась о корень, поднялась и слепо бросилась дальше. Бежать было некуда, но она не останавливалась. Хруст листвы позади становился все громче — ведь мужчины бегают быстрее. Даже если добежать до опушки, там лишь будет еще больше солдат, готовых открыть по ней стрельбу, но еще несколько мгновений жизни — драгоценны. Только их слишком мало. Возможности спастись не было никакой, разве что сделаться одним из деревьев. Она бы с радостью рассталась со своим телом, со всей полнотой ощущений, чтобы превратиться в дерево, замереть в смиренном древесном существовании, стать приютом для пауков с муравьями. И чтобы солдаты прислонили ружья к ее стволу, ища сигареты у себя по карманам. Они бы с легким разочарованием пожимали плечами и говорили: ладно, одна не в счет, потом отправились бы восвояси, а она исполнилась бы радости, и листва ее пропела бы благодарность Господу, пока солнце садилось бы среди деревьев вокруг.

Наконец в изнеможении она рухнула на горько пахнувшую землю. Рука нащупала что-то твердое и холодное; она разгребла листья и обнаружила железное кольцо люка. Заставив себя подняться на колени, она попыталась его открыть. Какое-то время было тихо, как будто солдаты ее упустили, не теперь снова стало слышно, как они продираются через подлесок, совсем неподалеку. Изо всех сил она дергала за кольцо, но то никак не поддавалось На листья, устилавшие землю, упала чья-то тень. Она закрыла глаза, ожидая, что вот-вот все взорвется у нее в голове. Затем подняла взгляд и увидела испуганное лицо маленького мальчика. Он, как и она, был обнажен, из бесчисленных порезов и царапин на его теле сочилась кровь.

— Не бойтесь, тетя, — сказал он, — я тоже живой

— Тихо! — приказала она.

Кольцо по-прежнему не сдвигалось с места, и она велела мальчику ползти за ней. Вдруг солдаты да примут кровь на их спинах за красные пятна на опавших листьях. Но, ползком пробираясь вперед она ощутила, как в правое плечо мягко впиваются пули.

Ее тряс за плечо контролер, и она, извинившись стала возиться с застежкой сумочки, при

этом чувствуя себя очень глупо: та, как и железное кольцо не желала поддаваться ее усилиям. Открыв наконец сумку, она подала билет контролеру. Тот прокомпостировал его и вернул. Когда дверь в купе закрылась, она поправила свое платье в черно-белую полоску, усаживаясь поудобнее и поприличнее. Пока она спала, на противоположное место в купе сел солдат; встретившись с ним взглядом, она почувствовала, что краснеет, и стала перебирать содержимое сумочки. Она заметила, что у юноши, с которым она спала (если так можно выразиться), глаза зеленые и безмятежные. Взяв книгу, она возобновила чтение, время от времени поглядывая в окно и улыбаясь.

Все было таким мирным: перестук колес, шорох переворачиваемых страниц, похрустывание газеты ее спутника.

Молодой человек недоумевал, чему можно улыбаться, глядя на однообразную желто-коричневую равнину. Непохоже, чтобы улыбка была вызвана приятными воспоминаниями или предвкушением чего-то, видно, попутчицу просто радовал пейзаж за окном. Улыбка преображала ее милые, но вполне заурядные черты. Она была довольно-таки полной, но хорошо сложена.

Одна из улыбок перешла в зевок, который она тут же подавила.

— Хорошо спалось? — смело обратился он к ней, складывая газету у себя на коленях и дружески улыбаясь.

Она покраснела, кивнула и снова посмотрела в окно.

— Да, — сказала она, — только скорее это была смерть, а не сон.

Ее ответ привел его в замешательство.

— Очень не хватает дождя, — добавила она.

— Да, конечно! — сказал юноша.

Больше ему ничего не шло на ум, и она снова стала читать. Забывшись в чтении, без отрыва пробежала несколько страниц; потом опять взглянула на сухую равнину за бегущими телеграфными столбами, и на лицо ее вернулась улыбка.

— Интересная? — спросил он, кивая ей на колени. Она протянула ему раскрытую книгу и так и осталась сидеть, подавшись к нему. Его удивили черные и белые значки, казалось, скачущие по страницам в ритме движения поезда, похожие на полоски ее платья. Он полагал, что она читает легкий роман, но это не клеилось с непонятным языком книги; он было решил, что книга написа-

на на тамильском или другом заморском языке. Едва не сказав: «Так значит, вы — лингвист?» — он вдруг понял, что это нотные знаки. Между нотными станами он разобрал итальянские слова, а взглянув на твердую обложку (переплет скрипнул в его руках), увидел имя Верди. Он вернул книгу, сказав, что не знает нотной грамоты.

— Это прекрасно, — сказала она, проводя пальцами по обложке, и пояснила, что пользуется свободной минутой, чтобы разучить новую роль. Вот только жаль, нельзя ее попробовать в полный голос: партия такая мелодичная. Он попросил ее не стесняться и петь; это развеяло бы тоску, наводимую проклятой равниной за окном! Улыбнувшись, она сказала, что дело совсем не в стеснении: просто связки устали, им необходим отдых. Из-за этого ей пришлось прервать гастроли и уехать домой на месяц раньше. Единственное утешение — она снова увидит своего малыша. За ним присматривала ее мать; но, хотя он и любит бабушку, ему не очень-то по душе, что с ним все время нянчится старуха. Он очень обрадуется ее раннему возвращению. Она не позвонила им, когда приедет, — пусть это будет сюрпризом.

Молодой человек во время ее скучного объяснения сочувственно кивал.

— А где его отец? — поинтересовался он.

— Ах! кто знает? — Она взглянула на партитуру оперы.– Я вдова.

Он пробормотал что-то вроде соболезнования и достал портсигар. От сигареты она отказалась, но

сказала, что запах табака ей нравится и не вредит ее горлу. Какое-то время ей все равно не придется петь.

Закрыв партитуру, она печально глядела в окно. Он решил, что она вспоминает о муже, и курил, сохраняя деликатное молчание. Он видел, как в волнении поднимается и опускается ее соблазнительная грудь, затянутая в черно-белое полосатое платье. Длинные волосы, черные и прямые, обрамляли несколько тяжеловатое лицо. Губы были приятно изогнуты, но это не мешало заметить, что нос у нее слишком большой. Его притягивало это смуглое, полное лицо — ведь как-никак целых три года он провел на весьма скудной диете.

Молодая женщина думала о дыме паровоза, уносившемся в пространство за ними. И видела этого молодого дружелюбного солдата окоченевшим и лежащим в гробу. Наконец ей удалось справиться с дыханием. Чтобы отвлечься от кош-

марных видений, она принялась расспрашивать попутчика и узнала, что тот был военнопленным, а сейчас возвращается домой, к семье. Ее сочувственное выражение (он был худ и бледен) сменилось на радостное и удивленное, когда она уловила слова «профессор Фрейд из Вены».

— Да, конечно, я слышала о нем! — сказала она, улыбаясь и позабыв все свои печали. Она была большой поклонницей его исследований. Ей даже как-то приходила мысль проконсультироваться у него, но потом необходимость отпала. Интересно, каково быть сыном столь знаменитого отца? Ее не удивило, когда он поморщился и передернул плечами.

Но он совсем не ревновал к славе отца. Он только хотел найти себе молодую жену и остепениться. А что она — наверное, не мыслит себе иной жизни, кроме жизни певицы, чтобы постоянно требоваться то здесь, то там, везде на свете? Привлекает ее это дьявольское напряжение? Да нет, не совсем, сказала она; во всяком случае, не всегда. Связки же у нее сорвались впервые. Просто глупо было браться за партию, которая слишком высока для ее регистра и требует голоса большой силы. Она по природе не вагнеровская певица.

Поезд, который мчался без остановки почти два часа, проносясь на полном ходу через большие города, остановился, к их удивлению, на маленькой, тихой станции посреди огромной равнины. Это была даже не деревня — три или четыре дома и церковный шпиль. Пассажиров на станции не было, но коридоры состава наполнились топотом, шумом, криками, и они увидели, что на платформу высыпало множество путешественников. По мере того как поезд набирал ход, они наблюдали, как толпа высадившихся пассажиров неуверенно ставит чемоданы на перрон. Деревушка скоро скрылась из виду. Равнина становилась все более пыльной и пустынной.

— Да, дождь бы здесь совсем не помешал, — сказал юноша.

Женщина, вздохнув, ответила:

— Но у вас впереди целая жизнь. В вашем возрасте — и такие мрачные мысли! Для меня — что ж, это истинная правда. Мне почти тридцать, я начинаю стареть. Вдова; через несколько лет совсем начнет пропадать голос — мало чего остается ждать от жизни.

Она закусила губу. Он почувствовал легкое раздражение из-за того, что она не обращает внимания на его слова — или же не понимает ни-

чего из того, что он говорит. Но возобновившееся колыхание ее груди вызвало напряжение в паху, который, по счастью, был прикрыт газетой.

Все еще сжимая в кулаке газету, он отправился помыть руки и увидел, как опустел поезд. Казалось, их осталось только двое. По возвращении он обнаружил, что его отсутствие, хотя и столь непродолжительное, нарушило интимность обстановки. Она вернулась к чтению партитуры, при этом откусывая помаленьку от сандвича с огурцом (он заметил, какие у нее маленькие и ровные жемчужные зубы). Перед тем как снова погрузиться в партитуру, она слегка ему улыбнулась.

— Как много ворон на проводах, — услыхал он свои слова. По его мнению, они прозвучали по-мальчишески, неуверенно и глупо; его злила собственная неловкость.

Но молодая женщина улыбнулась, как бы радостно с ним соглашаясь:

— Да, это очень трудный пассаж. *Vivace.*

И стала напевать хрипловатым, но приятным голосом, который то поднимался, то опускался, следуя сложным извивам шестнадцатых нот. Так же внезапно, как начала, она умолкла и покраснела.

— Прелестно, — сказал он, — не останавливайтесь!

Но она покачала головой и стала, как веером, обмахивать лицо раскрытой книгой. Он закурил, она закрыла одновременно и книгу, и глаза, откидываясь на сиденье.

— Это ведь турецкий табак, да?

Ей показалось, что в запахе дыма чувствуется опиум, и в теплом и душном воздухе купе ее снова начала одолевать дремота.

За время своего краткого отсутствия он успел переодеться в штатское, теперь на нем был изящный светло-голубой костюм. Поезд вошел в тоннель, превратив их отсек в спальное купе. Она почувствовала, как он наклонился и коснулся ее руки,

— Вы вспотели, — сочувственно сказал он.– Вам бы на воздух.

Ее почему-то совсем не удивило, когда она ощутила, что его рука раздвигает ей ноги.

— Пот так и льет, — сказал он.

Было очень легко и естественно позволить молодому офицеру гладить в темноте ее бедра. В каком-то смысле она уже спала с ним, позволив гораздо большую близость — наблюдать за собою спящей.

— Душно, — сонным голосом произнесла она.

— Может, открыть окно? — предложил он.

— Если хотите, —пробормотала она, —только мне нельзя забеременеть.

Почти задыхаясь, она раскинула ноги и расслабилась. Он вглядывался в темное пятно ее лица, где время от времени поблескивали белки глаз. Эти восхитительно округлые бедра, обтянутые шелком, были уж слишком большим соблазном для того, кто несколько лет провел взаперти. Над ее глазами появилось красное пятнышко. Оно становилось все ярче и больше. Когда оно разделилось на алые струйки, он понял, что у нее горят волосы. Сорвав с себя пиджак, он накинул его ей на голову. Она поднялась, задыхаясь, но пламя исчезло. Поезд выехал на солнечный свет.

Происшествие с огнем и яркое солнце испортили настроение, и молодой человек в сердцах затушил сигарету. Женщина стала поправлять перед зеркалом волосы, прикрывая выжженный клок блестящим черным локоном. Она взяла с вешалки белую шляпку и надела ее.

— Видишь, как легко меня завести.– Она нервно рассмеялась.– Вот почему мне лучше совсем не начинать. Все происходит слишком быстро.

Он извинился за свое легкомыслие, она при-

села на край сиденья, нежно взяла его за руки и ветре-воженно спросила, не забеременеет ли она. Он покачал головой.

— Тогда, — сказала она с облегчением, — ничего страшного.

Он погладил ее руки.

— Ты хочешь меня? — спросила она.

— Да, очень, — ответил он. Она снова покраснела.

— Но как твой отец отнесется к тому, что ты женишься на бедной вдове, которая к тому же намного старше тебя? С четырехлетним сыном? Да, и кстати — мой сын. Как он к этому отнесется? Тебе придется с ним встретиться — посмотрим, как вы поладите.

Молодой человек не знал, что на это сказать. Он решил промолчать и снова стал гладить ее бедра. К его облегчению, они сразу же раздвинулись, она откинулась назад и прикрыла глаза. Ее грудь вздымалась, и он положил на нее свободную руку.

— Может, проведем несколько дней вместе? — предложил он.

— Да, — сказала она, не открывая глаз. Тяжело дыша, она прикусила губу.– Да, это было бы чудесно. Но прежде мне надо его увидеть и под-

готовить к встрече с тобой.

— Я имею в виду — ты да я, — сказал он, — вдвоем. Я знаю отель в горах, возле озера. Там очень красиво. Тебя ведь не ждут?

Она покачала головой, судорожно вздохнув, когда его палец скользнул в отверстие. Юноша потерял интерес к женщине, поглощенный таинством утонувшего в ней пальца. Он чувствовал, как тот движется сквозь ее плоть, тем не менее совершенно исчезнув. Было столько влаги, что он сумел протиснуть в нее еще несколько пальцев. Она вскрикнула—в ней скользило уже так много, что она показалась себе плодом, с которого сдирают кожуру. Она представила, как он втискивает в нее обе руки, чтобы добраться до плода. Ее платье было задрано до талии, а за окном мелькали телеграфные столбы.

Постепенно сквозь свои обезумевшие ощущения она различила шум проливного дождя, бьющего в коридорное окно; с другой же стороны равнина оставалась бесплодной и пыльной, а небо — желтым от зноя. Дождь прекратился, и, оглянувшись, они увидели, как проводник мягкой щеткой протирает окно. Он оторопело уставился на них, но они продолжали свои занятия, как будто его там и не было. Из-за толчков

ее ягодиц книга упала на пол, раскрывшись на втором акте «Бала-маскарада».

— Может, перестанем? — выдохнула она, но он сказал, что ему это очень нужно — держать там свою ладонь.

Ему было это нужно все то время, пока поезд проносился по улицам, составленным из аккуратных домиков, потом мимо сдаваемых внаем многоэтажных трущоб с бельем, развешанным на веревках между окнами. К тому же пальцы его были так стиснуты, что он сомневался, сможет ли вытащить их, даже если захочет. Она кивнула, соглашаясь, что перестать невозможно.

Но когда их состав дотащился до узловой станции, он без особого труда извлек их; в маленьком же поезде, который повез их в горы, не было возможности возобновить эти занятия. Она сидела, тесно прижавшись к нему и довольствуясь тем, чтоцеловала его руку или гладила ею по своим коленям. Их попутчики были в прекрасном настроении и едва не задыхались от восторга все время, пока поезд медленно тащил их все выше й выше в горы.

— Здесь еще полно снега! — щебетала дама, сидевшая напротив, — жена пекаря, судя по влажному мучнистому запаху, исходившему от

ее тела.

— В самом деле, — улыбнулась в ответ молодая женщина.– Не чувствую, чтобы я хоть слегка запачкалась.

Жена пекаря бессмысленно улыбнулась и переключила внимание на свою дочку, которая вся извертелась от нетерпения. Малышка была взволнована — ее впервые взяли во взаправдашний отпуск.

Озеро, даже в преддверии вечера, было ярко-изумрудным. Они были счастливы снова оказаться наедине, когда пешком отправились к белому отелю. Вестибюль был пуст, только за стойкой храпел портье, усыпленный духотой дня. Молодая женщина, ослабев после страстей в поезде, прислонилась к стойке, а юноша тем временем — он позвонил со станции, чтобы заказать номер, — просмотрел список свободных комнат, снял с доски ключ и вписал в журнал регистрации свое имя. На стойке стояла ваза с удивительно большими желтыми персиками, и молодой человек взял один, сочно в него впился и предложил откусить подруге. Потом поймал ее за руку и стал подталкивать вверх по лестнице перед собой. Сладкий сок персика освежил ее, и она чуть ли не бежала вверх по ступенькам; на

ходу он стал задирать ее платье к талии. Шелк шуршал. Ее рука, скользнув вниз, ощутила, как напряжен его член. Он вошел в нее, а они вошли в номер, она не была уверена, в какой последовательности все произошло, но, не успев осмотреть комнату, обнаружила, что лежит на кровати с широко раскинутыми бедрами и вбирает в себя его толчки. Ритм их движении не нарушился, когда он снял с нее шляпку и запустил ее в угол.

Ей казалось, что она разломлена напополам, и конец их связи виделся еще до того, как она по-настоящему началась; она представляла, как, совершенно разбитая, вернется домой. Между дверью и кроватью протянулась цепочка брызг, и, когда они кончили, она попросила его позвонить горничной, чтобы та их вытерла. Пока горничная, восточная девушка, ползала, вытирая пятна персикового сока с линялого ковра, они стояли у окна, выходящего на веранду, наслаждаясь голубизной раннего вечера в те последние минуты перед закатом, когда цвет неба вот-вот должен начать изменяться.

На следующий день голубизна за окном возродилась, но во вторую ночь (она *полагала*, что это вторая ночь, хотя на самом деле совсем утратила чувство времени) в открытое окно со свистом

влетел кремневый осколок величиной с мужской кулак. Ветер, поднявшийся вечером, теперь вовсю свистел в лиственницах, и он же разбил вазу с цветами, которую горничная поставила на их комод. Молодой человек подскочил к окну и закрыл его. Теперь ветер грозил выдавить окно, и они услышали приглушенный треск: это сорвало крышу с беседки. Выполненная в виде пагоды, она была живописной, но хрупкой, и яростный порыв ветра снес ее прочь. Долгое время на их звонок никто не отвечал, но наконец горничная пришла и стала убирать осколки вазы, разлитую воду и цветы. Глаза у нее были заплаканы, и молодой человек спросил, что случилось.

— Несколько человек утонуло, — сказала она.– Волны сегодня очень большие. Их лодка перевернулась.

Горничная вопросительно посмотрела на кусок кремня, лежавший там же, куда упал.

— Это оставьте, — сказал юноша.– Пусть будет сувениром.

Тем не менее она подняла камень и подала ему, он с удивлением взвесил его на ладони. Трудно было представить себе силу, которая оторвала его от скалы и послала в их комнату.

Позже она спросила:

— Моя грудь мягче этого камня?

Он кивнул и в подтверждение ее мягкости положил на нее руку. Отчетливо, но издалека, слышались голоса встревоженных людей, сновавших по коридорам; когда же они позвонили, чтобы заказать обед, им сказали, что придется обойтись сандвичами, так как все официанты помогают жертвам наводнения. Изголодавшись, они попросили вместе с сандвичами прислать им шоколада. Он ласкал ее грудь, которая была намного мягче камня, и наклонился, чтобы припасть к соску. Молодая женщина вся подалась навстречу сосущим ее губам; пунцовый сосок вытягивался все сильнее и сильнее. Она запустила пальцы в его короткие вьющиеся волосы, а он все сосал. Они слышали звук чего-то бьющегося — то ли окон, то ли посуды — и крики. Шум паники. Доносился и плач постояльцев. Это напомнило ей плач ее ребенка, и она погладила мужчину по голове. Ее грудь, натянутая как барабан, разбухла, казалось, в три раза больше обычного. Ветер бился в окно. Он оторвался от ее груди и встревоженно сказал:

— Как бы не лопнуло.

Снова направляя ему в рот сосок, она сказала:

— Не думаю, чтобы лопнула. Когда я кормила

сына, она набухала точно так же.

Отель раскачивался под порывами штормового ветра, и ей казалось, что они на океанском лайнере: слышался скрип шпангоутов корабля, из-за открытого иллюминатора ощущался соленый привкус, а с камбуза доносился слабый запах ужина, приправленного морской болезнью. Им придется обедать с капитаном, и он попросит ее спеть на корабельном концерте. Возможно, они никогда не достигнут порта. Она почувствовала, что вот-вот заплачет, — сосок был настолько вытянут, что ей становилось больно; боль была сосредоточена в соске, но в каком-то смысле он ей уже не принадлежал, он уплывал, кровоточащий аппендикс, удаленный судовым врачом. Она просила его перестать, но он никак не соглашался. Облегчение наступило, когда его губы перешли к другой груди и там тоже стали вытягивать сосок, уже и так разбухший из-за сочувствия к своему близнецу.

— Они такие нежные, — сказал он наконец, а она ответила:

— Да, конечно, они любят друг друга.

Она услышала, как за стенкой в соседней каюте, позади их койки, вдребезги разбился иллюминатор.

Рукою приоткрыв ее влагалище, он вошел в нее с такой силой, что она содрогнулась. Приподнявшись, он взглянул туда, где его член так таинственно исчез в ее теле. По собственной воле он заставлял его появляться и снова исчезать. Почувствовав легчайшее прикосновение к волосам, она протянула руку и дотронулась до чего-то сухого и тонкого, как бумага. Это был кленовый лист, видимо, незамеченным влетевший к ним в начале бури — еще до того, как был заброшен камень. Она показала ему листок, и он улыбнулся, но улыбка исказилась от удовольствия, с каким он входил и выходил из нее, удерживая себя на грани извержения. Тогда она погладила его между ягодиц этим сухим и тонким кленовым листом, и он весь напрягся и содрогнулся.

Легкий дождь прекратился, ветер стих; они открыли окно и вышли на балкон. Он обнимал ее за талию, и оба смотрели, как расходятся тучи пронесшейся бури, открывая такие огромные звезды, каких им никогда не доводилось видеть. И каждые несколько мгновений наискосок по черному небу скользила звезда — как скользит кленовый лист, оторвавшийся от ветки, или как влюбленные нежно касаются друг друга, изменяя позу во сне.

— Это Леониды[5], — мягко сказал он.

Она положила голову ему на плечо. Во тьме на берегу озера было заметно какое-то движение: на сушу выносили тела. Кое-кто причитал, чей-то голос требовал, чтобы принесли больше носилок и одеял. Двое вернулись в постель и снова потерялись друг в друге. На этот раз она чувствовала, что рядом с членом в ней скользит его палец; он порхал туда-сюда в ином направлении и быстрее. Это напоминало ей падающие звезды и вызывало вихри и водовороты, как в штормящем озере. Было ясно, что буря еще не кончилась, — прямо над озером блеснул вертикальный зигзаг молнии; боковым зрением они видели, как она рассекла надвое черное пространство окна и вздыбила занавески.

— Что за ярость, — прошептал он; услышав это, она постаралась гладить его нежнее, самым кончиком ногтя. В то же время другой его палец проник в ее анус; она почувствовала боль, но хотела, чтобы было еще больнее.

На озере виднелись огни — спасательные лодки все еще искали тела погибших. Спасатели сами еще не пришли в себя от грохота грома у

---

5 notes: 5

* Метеорный поток, наблюдаемый в середине ноября в созвездии Льва.

них над головой, скорее не последовавшего за ударом молнии, превратившей ночь в день, а предвестившего его. Ветер поднялся снова, и они лихорадочно погребли к берегу, — той ночью уже не оставалось надежды найти кого-нибудь еще. Отель был наполнен возбужденными или обезумевшими людьми; стеклянные двери не переставали хлопать — в отель вносились все новые и новые тела. Вода в бильярдной, расположенной в цоколе здания, поднялась почти до луз, но армейский майор невозмутимо бродил вокруг стола, намереваясь закончить партию. Он. взял последний красный шар и все цвета до розового. Ему предстоял сложный прямой удар через всю длину стола, но он выполнил его четко, и шар упал в дальнюю лузу. Когда вода поднялась ему до бедер, он хлебнул пива и натер мелом кий. Черный шар пристроился возле самого борта, но он закрутил белый, чтобы тот отскочил. Удар был прекрасен, и черный шар шлепнулся в водяную могилу. Майор играл сам с собой, поскольку его партнер, священник, бросился соборовать умирающих. С мрачной улыбкой поздравив самого себя, майор повесил кий и выплыл из бильярдной. Любовники в верхней комнате спали, невзирая на то что оконную раму сотрясал буйный ветер;

они спали, положив друг на друга руки, как будто опасались, что каким-то образом могут исчезнуть в ночи. На ветку ели, раскачивающуюся напротив их балкона, забралась одуревшая от испуга черная кошка. Она напряглась, рассчитывая прыжок на балкон, но почувствовала, что расстояние слишком велико.

Только через два дня кто-то увидел, что на дереве сидит кошка. Молодые любовники услышали какой-то скрип и, выбравшись из постели посмотреть, в чем дело, увидели, что по длинной стремянке, сгибавшейся и скрипевшей под его весом, взбирается майор. Из-за занавесок, раздуваемых легким ветром, они наблюдали за сложной спасательной операцией. Кошка шипела, выгибая спину, и оцарапала майору руку, когда он потянулся за ней. Вояка грубо выругался, чем заставил молодую женщину покраснеть, — она не привыкла к таким выражениям. В конце концов майор все-таки спустился с лестницы с кошкой, вцепившейся ему в плечи.

Когда молодая женщина увидела алые стигматы на руке майора, она тут же почувствовала, что из ее собственного тела выделяются зловонные сгустки крови, и сообщила любовнику плохие вести. К ее удивлению и радости, он не расстроился,

однако затруднение, конечно, возникло: ведь у нее совсем не было багажа. Она оставила свой тяжелый чемодан в коридоре магистрального поезда, а когда все пассажиры толпой пошли на выход посреди выжженной равнины у маленькой деревушки, кто-то из них — должно быть, по ошибке — взял ее чемодан. Она не верила, что его украли. Но так или иначе, ко времени пересадки на узловой станции он исчез, а вместе с ним и платья, белье, туалетные принадлежности и подарки для сына и матери.

Им пришлось позвонить горничной. Вежливая девушка, японская студентка, зарабатывающая деньги на обучение, никак не могла понять, какого рода трудности у молодой женщины, и той пришлось нарисовать ущербную луну рядом с женской фигуркой, составленной из палочек. Горничная покраснела и удалилась. К счастью, у нее самой были месячные, и она вернулась с полотенцем. Смущенно отказавшись от чаевых, она поспешила уйти.

Они лежали, рассматривая его семейные фотографии. Ее рассмешил снимок Фрейда на море, где на нем был купальный костюм в черно-белую полоску, возможно, из того же материала, что и ее платье. Юноша тоже смеялся; чувствовалось, что

он особенно привязан к своей младшей сестре. Но при взгляде на нее улыбка сменилась печалью.

Когда они спустились вниз пообедать, он спросил, достаточно ли хорошо она себя чувствует, чтобы потанцевать под цыганский оркестр. Пока они кружились между столами, она опиралась на его руку.

— А ты чувствуешь, как течет кровь? — спросил он.

— Всегда, — сказала она.– Я заболеваю каждую осень.

Возбужденный запахом вишневой помады, он поцеловал ее, после чего теплый и липкий аромат сразу же заставил его хотеть большего. Ей пришлось отодвинуться, чтобы перевести дыхание, но вишневый привкус ее помады у него на губах был очень притягателен, и они снова стали целоваться, бесчисленное количество раз быстро касаясь друг друга губами. Она снова оторвалась, сказав, что из-за музыки ей захотелось петь. Но и так слишком много танцующих и обедающих смотрело на них. Он задрал спереди ее платье; она слабо пыталась его одернуть, но у самой при этом сжималось горло от удовольствия, а он настаивал:

— Пожалуйста, разреши мне. Пожалуйста.

Он нашептывал это ей, вращая в ушной раковине кончиком языка.

— Но ты будешь весь в крови, — прошептала она.

— Я не против, — сказал он.– Я хочу твоей крови.

Она снова обняла его за шею и позволила ему делать все, что он хотел. Танцующий и обедающий люд подмигивал и улыбался им, и они улыбались в ответ.

— Крови достаточно? — спросил он, срезая с мяса жир.

Она поймала его пальцы и поцеловала их.

— Лучше не бывает, — сказала она, — разве не так?

Бифштекс возместил ей потерю крови, и после обеда они бегом спустились к деревьям и снова совокупились, на траве у озера. Иногда, когда открывалась дверь, они слышали цыганскую музыку, а над головой сверкали невероятно огромные звезды. Ей было не очень удобно любить его, истекая кровью, но, с другой стороны, не надо было опасаться последствий, и она могла дать себе волю. Когда после полуночи они поднялись по лестнице, то обнаружили, что в комнату влетело еще несколько кленовых ли-

стьев. Она шутливо сказала, что сможет найти им применение. Попросив у него зубную щетку, она принялась чистить зубы, а он обнял ее и стал нежно целовать в ямочку под затылком. Еще несколько раз сверкали молнии — зарница за зарницей без громового сопровождения неимоверно приближали заснеженные вершины гор и высвечивали следы разрушений, оставленные штормом и наводнением.

Открытки, отправленные из белого отеля

Пожилой сиделкой:

Делаю все, что могу, для милой молодой четы — и он, и она парализованы. Очень смело с их стороны вместе поехать на отдых. Они прикорнули в шезлонгах, накрывшись одним пледом (мы плывем на яхте посреди озера). Еда превосходна, и Элиза выздоравливает, она ищет поцелуй.

Секретаршей:

Напоследок надеешься, что там, где окажешься, будет тепло и сухо; у нас очень жарко, на небе ни облачка, все в мареве, мы на судне посреди озера, обгладываем куриные косточки и попиваем вино. Отель превосходен, даже лучше, чем в рекламной брошюре, да и люди неплохие.

Священником:

Я узрел три мачты как символ страстей Господних, а белый парус как Его Плащаницу; теперь вина за то, что я покинул свою паству, кажется мне не такой безмерной. Надеюсь, мама, что у тебя все в порядке. Погода превосходная. Несколько дней назад прелестная девушка-католичка утонула у меня на глазах. Не волнуйся обо мне. Я читаю книжечку, что ты мне прислала.

Горничной-японкой:

Чудо сказать —мои любовники (пара, у которой медовый месяц) встали ни свет ни заря и отправились на прогулку на яхте. Значит, нам с напарницей придется целый день убирать их постель, она в неописуемом состоянии. Нет ни минуты даже написать хокку.

Корсетницей:

Вода кажется жутко холодной, но завтра я соберусь с духом и искупаюсь. Я веду рукой по воде, опустив ее за борт судна. Не хотела бы говорить, где находится рука молодого человека, что сидит неподалеку от меня со своей девушкой. Ну что ж, жизнь должна продолжаться. Конечно, все не так, когда ты лишаешься спутника, но ради моего дорогого мужа я должна постараться

хорошо провести остаток отпуска.

Майором

Эта яхта больше похожа на военный транспорт, чем на прогулочное судно. По сравнению с довоенным временем все переменилось. Мы просто вдавлены друг в друга. Мне бы добрый «Гатлинг», чтобы расчистить пространство. Наводнения было слишком мало. Трупы! Повсюду! Завтра первым поездом приезжает Дик.

Часовщиком:

Он вспыхнул, как промасленная ветошь. Только что мы наслаждались приятной водной прогулкой, а в следующий миг увидели, что наш отель горит, как фанера. Яркое пламя затмило даже солнце. Что ж, все наши пожитки сгорели, кроме той одежды, что на нас.

Ботаником:

Это разбивает мне сердце. Вчера я нашел очень редкий вид эдельвейса. Я, конечно же, оставил его в отеле, а теперь он исчез в пламени.

Женой банкира:

Не могла поверить своим глазам. По ту сторону озера прямо у нас на глазах сгорал дотла наш отель, а этот парень потянул к себе свою девицу

и усадил к себе на колени! Понимаете, чтояимею в виду? Как игра, когда кольца накидывают на штырь! И это в то время, когда вокруг кричат люди, у которых в отеле остались близкие.

Страховым агентом:

Жутко было видеть, как они выпрыгивали из окон верхних этажей. Огонь пытались тушить струями воды, но это не очень-то помогало. Слава богу, что Элинор была со мной. А я-то убеждал ее остаться в отеле и отдохнуть! Как бы то ни было, с нами все в порядке, и мы надеемся с тобой увидеться.

Его женой:

Слава всемилостивому Господу, Губерт был со мной. Ему не очень хотелось отправляться на лодочную прогулку после наводнения, но я его уговорила. Погода чудесная, хотя ночи довольно прохладные. Уже достаточно долгое время я чувствую себя намного лучше, и мы познакомились с очень милыми людьми.

Мальчиком:

Они свисали с деревьев, как волшебные фонари.

Пастором:

Но мертвые восстанут, я этого не боюсь. И

истлевшая плоть станет нетленной. Пожилая дама, с которой мы вместе ходили в горы, погибла в огне. И все же душа моя будет воспевать Господа.

Четой новобрачных:

Это омрачило наш отпуск, номы все равно счастливы. Здесь озеро и горы, это прекрасное место, от видов просто дух захватывает.

Женой пекаря:

Наши сердца разрываются от горя. Дорогая мамочка умерла в ужас им пожаре в отеле. Мы, благодарение Богу, были на яхте, но все видели. Он вспыхнул, как бумага. И мы видели ее номер. Но она быт уже старенькой, так что не стоит горевать очень сильно. Ради детей мы стараемся быть повеселее, и вам надо вести себя так же.

Коммивояжером:

В одной из спален долгое время были опущены шторы, а вчера их открыли; полагают, что это как-то связано со случившимся, хотя я не знаю, каким образом.

Его любовницей:

Думают, что одна из горничных, прибирая постели, украдкой курила. Я видела, как в коридоре

курила горничная-японка, это выглядело забавно — ведь обычно они так изысканны. К счастью, это случилось в другом крыле, так что с нашими вещами все в порядке.

Пожилой супружеской парой:

Говорят, что гора (где все еще много снега) отразила солнечные лучи. Думаю, это что-то наподобие лупы, с помощью которой мы читаем. Так это или нет, но случилась ужасная трагедия, так что опасайся пожаров, дорогая. Персонал отеля великолепен. Все равно стоило сюда приехать, лучший наш отдых за всю жизнь. Сердечно благодарим тебя за предоставленную возможность.

Оперной певицей:

Я отправилась в горы на несколько дней, чтобы отдохнуть перед возвращением домой. Думаю, это идет мне на пользу. Последние недели были очень напряженными, поэтому так хорошо ничего не делать и лишь наслаждаться вкусной едой и прекрасными пейзажами. Единственный недостаток — я не очень хорошо сплю по ночам, но понемногу начинаю расслабляться. Скоро увидимся.

Швеей:

Малышка моя умерла, мое сердце разбито. Я обещала послать тебе открытку, дорогой, но не с такими вестями! Хоронить будут здесь. Выезжаю сразу же после похорон.

Адвокатом:

Единственный недостаток — шум по ночам. Конечно, им можно посочувствовать, номы тоже многое потеряли, и это еще не повод для того, чтобы не давать порядочным людям нормально спать в отведенное для сна время. Естественно, мы пожаловались управляющему, но тот либо не хочет, либо не может на них воздействовать.

Отставной проституткой:

Один джентльмен сделал мне комплимент по поводу моей фигуры, значит, уже почти ничего не видно. Я с каждым днем прибавляю в силе и начинаю к этому привыкать. Чувствую, что меня слегка клонит влево, но, думаю, это пройдет. Мне еще повезло, здесь много гораздо более тяжелых больных. Погода хорошая, а кормят превосходно.

Настроения танцевать ни у кого не было. Гости молча обедали и, глубоко растроганные, внимали цыганскому оркестру, который наигрывал приятные, грустные мелодии. Один из оркестрантов, виолончелист, сам был захвачен пожаром в

лифте и обгорел до неузнаваемости. Возможно, молодые влюбленные и потанцевали бы, но они не явились к обеду.

Во время одной из пауз между мелодиями, когда был слышен лишь приглушенный говор грустных голосов и деликатное постукивание подаваемых блюд, майор (он всегда обедал один за маленьким столиком в углу) поднялся, прошел к эстраде, тихо сказал что-то пухлому и потному руководителю оркестра, тот кивнул ему, и майор обратился к гостям в микрофон. Он сказал, что хотел бы поговорить по неотложному делу, желательно со всеми из присутствующих; не будут ли они так любезны, покончив с едой и захватив из бара что-нибудь выпить, собраться в бильярдной. Какое-то время после его слов стояла тишина, потом разговоры возобновились с новой силой. Около трети постояльцев решили узнать, о чем с ними хочет поговорить «сумасшедший майор» (многие называли его именно так). Осушив кофейные чашечки и взяв в баре бренди и ликеры, внушительная толпа спустилась в бильярдную и в несколько рядов расселась вокруг стола. Зеленое сукно еще не высохло после наводнения и мерцало в свете лампы, как прямоугольный бассейн, подернутый ряской.

Майор, англичанин по имени Лайонхарт, стоял у борта стола, ожидая, пока рассядутся опоздавшие.

— Спасибо, что пришли, — сказал он твердо и звучно.– Разрешите мне сразу рассеять ваши опасения: я собрал вас не для того, чтобы говорить о смерти. Мы со смертью старые знакомые, и она меня не пугает. Мы скорбим по тем, кто погиб при пожаре и наводнении, но не это предмет нашего разговора. Такое случается. На то воля Божья. Мы не должны чересчур омрачать свои души из-за того, что случилось.

При этих словах волна согласия прокатилась среди слушателей, и кое-кто из них взглянул на высокого и статного военного с возросшим уважением.

Майор опустил взгляд и очень медленно, как бы собираясь с мыслями, загасил сигарету. В бильярдной стояла глубокая тишина, нарушаемая лишь мурлыканьем черной кошки, жившей в отеле (большой любимицы многих постояльцев), — она тайком пробралась сквозь толпу и теперь, свернувшись клубочком, лежала на коленях у жены часовщика, а та ее гладила. Кошка сильно обгорела во время пожара, но, по счастью, уцелела.

— Однако же происходят странные вещи, — твердым голосом продолжил майор. Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до слушателей. В его речи чувствовался отзвук военной властности. Должно быть, он немало повоевал, подумал Генри Пуссен, инженер. Люди, подобные Лайонхарту, ничего собой не представляют, пока лейтмотивом времени не становятся опасность и насилие, а когда эти дни минуют, они опять делаются ничтожествами, разве что чуть в другом роде; но пока в мире раздаются эти ноты, именно такие люди наиболее необходимы.

— А вы не хотели бы как-нибудь доказать свое утверждение, майор? — резко спросил Фогель, немецкий адвокат.

Майор посмотрел на него с плохо скрытым презрением. Фогель был циником и трусом; как-то раз его поймали на мошенничестве при игре в карты.

— Конечно, — спокойно сказал майор.– Падающие звезды.

При этих словах все, за исключением Фогеля, затаили дыхание, так что молчание собравшихся сделалось мертвой тишиной.

— Все их видели, — тихо продолжал майор, — не один-два человека, а все; и не в одну из ночей,

а почти каждую ночь. Крупные, яркие, белые звезды.

— Большие, как кленовые листья, — мягко и как бы в полудреме сказала любовница коммивояжера. Она сжала ладони, словно испугавшись того, что произнесла.

— Точно, — сказал майор.

— А листья у вязов — красные, — сказал часовщик, вскакивая и отбрасывая руку жены.– Кто-нибудь это заметил?

Он взволнованно огляделся, и несколько голов кивнули в знак подтверждения. Он имел в виду рощицу вязов в конце лужайки за отелем. Люди, которые ему кивнули, опускали глаза и нервно облизывали губы. Другие голоса возбужденно утверждали, что это не так. Но в них было мало убежденности, и скоро они стихли. Снова воцарилась всеобщая тишина, и в комнате отчетливо повеяло холодом. Боясь допустить, чтобы людьми овладели тревога и уныние, майор предложил на несколько минут прерваться, — пусть каждый поднимется наверх и вновь наполнит свой стакан. Почувствовав неожиданную усталость, сам он присел, и сквозь шумную толпу, проталкивающуюся к лестнице, к нему скользнул Фогель, злобно поблескивая своим пенсне.

— Вы меня удивляете, Лайонхарт, — сказал он достаточно небрежно, но в его голосе угадывалась металлическая грань презрения и недовольства.

— В самом деле? И чем же? — спросил майор, откинувшись назад в кресле.

— Тем, что распространяете панику среди дам. Почему бы не оставить их в покое? Я, конечно, ни на миг не верю вашим паникерским россказням.

Но если предположить, что они чем-то обоснованы, зачем вам обязательно посвящать в это женщин?

— Во-первых, Фогель, вы недооцениваете умственные способности женщин. Это свойственно людям сидячих профессий — и это всегда недальновидно, а иногда и опасно.

Фогель слегка покраснел, но пока держал себя в руках.

— А во-вторых?

— Ради их собственной безопасности — и безопасности всех нас — они должны осознать, что нам могут угрожать вещи, которых мы не понимаем. По крайней мере, я не притворяюсь, что понимаю их. Правда, я не обладаю преимуществами немецкого образования.

Адвокат резко отвернулся. Майор подосадовал было, что позволил столь некорректному

замечанию вырваться из своих уст, но его мысли уже опять обратились к более серьезному делу — все постояльцы успели вернуться с наполненными стаканами и ждали его, чтобы продолжить обсуждение. Поднявшись на ноги, он на миг почувствовал головокружение и, слегка покачнувшись, ухватился за влажный борт бильярдного стола.

— Очень важно, — сказал он, — чтобы мы честно поделились тем, что видели — или полагаем, что видели, — и, по возможности, нашли всему разумное объяснение. Например, я не знаю: один ли я видел молнию, ударившую в озеро? Синевато-багровый разряд, абсолютно вертикальный.

Он вопросительно огляделся. После краткого напряженного молчания старуха-сиделка, покраснев, тихо сказала:

— Нет, я тоже это видела.

— И я, — сказал горбоносый, изможденного вида бухгалтер. Его жена тоже решительно кивнула. Еще

несколько человек смущенными мягкими жестами выразили согласие, в задумчивости и смятении отхлебывая из своих стаканов. Майор спросил, может ли кто-нибудь еще рассказать о каких-либо странных случаях.

— Стая китов, — сказала миловидная молодая блондинка-секретарша.– Вчера рано утром, когда я спустилась поплавать. Я решила, что мне это видится, точнее, что я *не могу* этого видеть, если вы понимаете, что я хочу сказать, — ведь у озера нет стока. Такое просто невероятно. Но сейчас вы заставили меня снова задуматься об этом. Я уверена, что то не были низко лежащие облака.

— Может, вам привиделось это с похмелья? — ухмыляясь, сказал Фогель.

— Нет, я их *видела* тоже, — сказала его бледная сестра.– Прости, Фридрих, — торопливо добавила она, — но я должна сказать правду. Мне пришлось встать на рассвете — по некой причине, которую нет необходимости указывать, — и я выглянула в окно.

— И увидели китов? — с мягкой доброй улыбкой переспросил майор.

— Да, — сказала она, комкая платочек, а Фогель посмотрел на нее с презрением и ненавистью.

Оказалось, что никто больше не видел китов; но накануне больше никто и не вставал на рассвете, а болезненно честное свидетельство сестры Фогеля оказало воздействие на настроение собравшихся.

— Еще кто-нибудь хочет что-то сообщить? —

отрывисто произнес майор.– Странные события, необычные видения?

Все переглянулись в полной тишине.

— Тогда давайте рассмотрим, что мы имеем. Падающие звезды. Красные листья. Молния. Стая китов.

Тут в дело вмешался Ьолотников-Лесков, до сих пор задумчиво и отстраненно сидевший в самом дальнем углу, поглаживая свою короткую элегантную бородку. Голос столь выдающегося государственного деятеля сразу привлек к себе всеобщее внимание, включая даже тех, кто не соглашался с его политикой.

— Не могу ничего предложить, — он вздохнул и развел руками, — в объяснение падающим звездам, красным листьям или же молнии. Но мне *кажется,* я могу объяснить появление китов. Мадам Кот-тен, — он поклонился полной даме в голубом платье, которая с улыбкой кивнула ему в ответ, — является корсетницей. А частью любого корсета — грубо говоря — является убитый кит. Китовый ус, понимаете? Мне кажется, можно предположить, что ее присутствие среди нас — которое благодаря ее исключительной теплоте и жизнерадостности так нас всех воодушевляет, — так сказать, «вызвало» китов. Привлекло их,

завлекло, приманило, назовите это как угодно.

Мадам Коттен, обмахивая веером раскрасневшиеся щеки, сказала, что и в самом деле знает случаи, когда дамы видели китов, если она — мадам Коттен — была где-то поблизости.

Болотников-Лесков благодарно покивал ей, покраснев как мальчик.

Разумное или почти разумное объяснение появления китов приободрило собравшихся, и несколько человек набрались смелости рассказать о явлениях, свидетелями которых они были, но оказались слишком напуганы, чтобы о них упомянуть. Пастор-лютеранин сказал с неуверенностью в голосе, что видел грудь, летящую сквозь тисовую рощу, когда как-то вечером перед обедом поднимался по тропинке к церкви.

— Сначала я решил, что это летучая мышь, — сказал он, — но сосок был виден совершенно отчетливо.

Седоволосая женщина с объемистым бюстом призналась, что ей недавно удалили грудь из-за того, что та непрерывно росла. Майор Лайонхарт поблагодарил ее за откровенность, и среди присутствующих пробежал сочувственный шепот. Фогель, совершенно желтый, заявил, что, как ему *кажется*, он видел окаменевший эмбрион,

плававший в мелких водах озера, но это с тем же успехом могло быть куском окаменелого дерева. Его сестра, начиная плакать, призналась, что лет десять тому назад сделала аборт. После этого наступила болезненная тишина, и каждому стало ясно, что Фогель ничего об этом не знал. Лицо у него задрожало, и майор ощутил прилив сочувствия к этому иссушенному немецкому адвокату.

Сестра Фогеля уже неудержимо рыдала. Звук был сухой, мучительный, почти невыносимый для слуха; и мужчины, которые не моргнув глазом пережили и наводнение, и пожар, теперь торопливо закуривали сигареты и сигары, чтобы немного успокоить нервы. Все почувствовали огромное облегчение, когда пастор перегнулся через Фогеля, ласково, но твердо взял женщину за руку и повел ее из комнаты, пробираясь между постояльцами и бильярдным столом. Пока они шли к выходу, сидевшие поодаль видели, как жена пекаря подталкивает мужа локтем и что-то ему шепчет, а он отрицательно качает головой. Но когда снова воцарилась тишина, пекарь встал на ноги и, по-рабочему невнятно и едва слышно, рассказал о том, как видел матку, скользившую через озеро. Он был там совсем один, удил рыбу.

Матка едва касалась поверхности воды и вскоре исчезла.

— Порой разное может померещиться, когда удишь рыбу один, особенно на заре или в сумерках. Но то было точно, о чем я говорю.

Он уселся, взглядом ища у жены поддержки.

Внимая комично-простонародному акценту пекаря, майор Лайонхарт не смог удержаться от усмешки, выказавшей его желтые зубы, хотя он и пытался притвориться, что играет желваками; даже Болотников-Лесков, несмотря на все свои революционные идеалы, украдкой улыбнулся. Майор спросил, не видел ли кто-нибудь еще скользившей по воде матки. В тишине кто-то предположил, что пекарь видел каравай хлеба, и раздались смешки, снявшие напряжение. Но все тот же анонимный мужской голос, раздававшийся из тени в углу, проскрипел:

— А ледники кто-нибудь видел? В горах, наверху. Эти слова стерли все улыбки, и в комнате опять повеяло холодом.

То тот, то другой постоялец пытался объяснить падающие звезды, молнию, красные листья и ледники. Ни одно из этих объяснений не прозвучало убедительно, даже для тех, кто их выдвигал. Закрывая собрание, майор призвал всех быть

бдительными. Болотников-Лесков от имени всех присутствующих поблагодарил майора — по рядам опять пробежал согласный шепоток — и предложил, чтобы, оказавшись свидетелями еще какого-нибудь необъяснимого явления, они сразу же ставили бы в известность майора, который будет облечен полномочием созвать собрание вновь, если и когда сочтет это необходимым. Это предложение было встречено приглушенными возгласами одобрения.

Когда постояльцы попарно поднимались вверх по лестнице, пекарь обнаружил, что идет рядом с престарелой сиделкой. Та воспользовалась случаем рассказать ему, что ее внучатая племянница, которая сегодня почувствовала себя дурно и рано легла спать, месяц назад подверглась операции по удалению матки.

— Я привезла ее сюда для восстановления сил, — сказала она негромко, не желая, чтобы ее услышал кто-нибудь еще.– Это очень печально, ведь ей лишь слегка за двадцать. При всех я не стала об этом говорить, потому что она расстроилась бы, если бы об этом узнали. Она и так донельзя огорчена. Но я хочу, чтобы об этом знали вы и ваша жена.

Пекарь с благодарностью сжал ей руку.

Все это происходило за несколько дней до того, как юные влюбленные опять отважились спуститься вниз пообедать. Оказавшись в зале, они обнаружили, что их столик предоставлен другим постояльцам. Потоку преисполненных надежд посетителей, жаждущих попасть в белый отель, попросту не было конца, и пустующий стол был поэтому непозволительной роскошью. Метрдотель извиняющимся тоном объяснил это молодой чете, добавив, что полагал, что они и впредь намереваются есть у себя в номере. Он попросил их подождать немного, пока он не обменяется несколькими словами с пышущей весельем, вызывающе привлекательной искусственной блондинкой, мадам Коттен, которая сидела одна за столиком для двоих. Мадам Коттен улыбнулась в знак согласия, приветливо кивнула молодой паре, и метрдотель быстро принес еще один стул и проводил их к ее столику. Сидеть пришлось в тесноте, и молодой человек рассыпался в извинениях за то, что они нарушили ее уединение, но мадам Коттен со смехом отвергла все его сожаления, добродушно похохатывая, когда их ноги нежданно сталкивались под столом.

Она сказала, что счастлива оказаться в чьем-либо обществе. Муж ее погиб при наводнении, и

одиночество она переносит с трудом. Она достала платок и промокнула показавшиеся на глазах слезы, но вскоре в свою очередь принялась извиняться за то, что навязывает им свое горе.

— Я стараюсь плакать как можно реже, — сказала она.– Вначале я была безутешна — и уверена, что всем было тяжело рядом со мной. Но я велела себе собраться. Это несправедливо по отношению к остальным, кто приехал сюда, чтобы повеселиться.

Юноша сказал, что восхищен ее мужеством. Он заметил ее в предыдущий раз, когда они выходили обедать, и видел, как она смеется и танцует, — поистине она в тот вечер была душой общества. Мадам Коттен криво улыбнулась. Это было непросто, сказала она. В сущности, это ужасно больно — притворяться полной веселья, когда твое сердце не здесь, а в гробу вместе с мужем.

Стало немного легче, добавила она, после того трагического пожара. Свежее горе остальных как бы увеличило расстояние между нею и ее тяжкой утратой. К тому же, по сравнению со сгоревшими, утопленники кажутся погибшими более милосердной смертью. Всегда можно встретить кого-то, кому еще хуже, чем вам, сказала она, снова утирая слезы, но вслед за тем, не желая

испортить вечер, повеселела и принялась излагать забавные истории, по большей части о своих заказчиках. Оба просто влюбились в мадам Коттен. Слезы струились у них по щекам, когда она рассказывала о том, как дамы (и даже джентльмены!) примеряют корсеты. Наевшись от души, она похлопала себя по туго затянутому животу, заметив, что сама она — живая реклама своих товаров. «Здесь я весьма выдающаяся особа!» Она рассмеялась, широко распахнув руки, как рыбак, рассказывающий о своем улове. Пекарь, сидевший в противоположном углу зала, встретился с нею взглядом, по-своему истолковал ее жест и распахнул руки еще шире, довольно ухмыляясь. Вечер пронесся так незаметно, как будто часовщик за столом поодаль заставил все часы — и наручные, и стенные — идти втрое быстрее.

Влюбленные проводили мадам Коттен до ее номера — и оказалось, что он рядом с их собственным, изголовье их кровати было обращено прямо к нему. Из ночи в ночь из этого номера до них доносились душераздирающие рыдания. Их восхищение ею возросло еще больше — они почувствовали, чего ей стоило сдерживать свою скорбь на протяжении всего дня. И в эту ночь снова, упав друг другу в объятия и нетерпеливо

раздевая один другого, они расслышали, как сокрушается за стеной мадам Коттен. Вскоре, однако, они перестали различать эти звуки, поглощенные своей страстью.

Позже они впервые поссорились — так, как это бывает между влюбленными, — очень по-доброму, шепотом. Он был убежден, что в черном небе за окном мелькают падающие звезды, она же утверждала, что это белые розы. Но когда вниз проплыла апельсиновая роща, в чем не могло быть никакого сомнения, они прекратили шептаться, в изумлении следя за нею. Сверкающие апельсины виднелись среди темной шелестящей листвы. Любовники вышли на балкон, чтобы увидеть, как роща упадет в озеро. Каждый плод по отдельности шипел, погасая, стоило ему коснуться спокойной глади озерной воды.

Скрытая от их глаз, мадам Коттен в это же время стояла на своем балконе. Она никак не могла уснуть. На озере виднелись сотни фонарей, их по очереди драпировали черной тканью. Она уже выплакалась до следующей ночи. Сняв платье и облачившись в полотняную ночную рубашку, она выплеснула с балкона почти полную склянку слез.

Совершенно опустошенные, любовники бок

о бок лежали в постели. Было странным и освежающим не слышать никаких признаков горя. Они понятия не имели о том, который теперь час. Время, которое мчалось вечером, теперь тянулось для мадам Коттен, лежавшей с открытыми глазами в темноте; и по-разному не существовало для спящих постояльцев, для мертвых, лежавших внизу в прохладных хранилищах, и для влюбленных. Их души, удерживавшие равновесие на краю сна, как если бы кто-то, измучившись жарой, рискнул устроиться спать на перилах балкона, приводили себя в созвучие со всеобщей тишиной. У нее слух был тоньше, и она различала звуки, которых для него не существовало. Даже их пальцы не соприкасались. Порой его рука устало поглаживала холмик спутанных волос на ее лобке, скорее с нежностью, чем с вожделением. Ей нравилось, когда он так делал.

Он нарушил безмолвие, шепнув, что это напоминает ему тот холм, на котором он часто играл и шалил, будучи мальчиком. Холм был покрыт папоротником, и он со своим двоюродным братом играл там в охотников. Он помнил то смешанное со страхом наслаждение, когда или ты кого-то выслеживаешь, или за тобой крадутся сквозь густые, тяжело пахнущие цветущие папоротники.

Только в то время он был по-настоящему близок к земле.

— Мой отец говорит, что, где бы ни имела место любовная близость, там всегда присутствуют четверо, — сказал он.– Конечно, они сейчас здесь. Мои родители.

Молодая женщина увидела в ногах кровати сурового Фрейда, стоявшего рядом со своей застенчивой женой. Черный костюм Фрейда и белая ночная рубашка его жены растворились и растаяли, превратившись в ее платье, смутно видневшееся на полу, куда она его бросила.

Больше всего они любили закаты. Горы исторгали из себя крутящиеся розовые облака, подобные цветкам. (Старушка-сиделка однажды вечером видела, как все небо превратилось в огромную алую розу с бесконечным сплетением лепестков; ведомая чувством долга, она тут же отправилась сообщить об этом майору.) Роза была совершенно неподвижной, но все же казалось, что она по спирали ввинчивается внутрь себя, и у любовников возникло жуткое ощущение, что вся земля поворачивается, как колесо. Когда подкралась ночь, ее груди так же вращались под его ладонями; и его язык тоже вращался, нежно ударяя по ее женскому естеству или же пытаясь проникнуть

все глубже и глубже, как будто желая пробить в горном склоне тоннель. Она была настолько распахнута, что чувствовала, как ее влагалище, сделавшись полым наподобие пещеры, исторгает из себя воздух, как бывает при пускании ветров, и это вгоняло ее в краску, хотя и она, и он знали, что дело совсем в другом.

Время своими мягкими руками хирурга понемногу залечивало раны мадам Коттен. Любовники целый день оставались в душной комнате, а она тем временем прогуливалась вокруг озера с отцом Мареком, старым и добрым католическим священником. Непреложность его высказываний служила ей большим утешением. Он настаивал на том, что ей необходимо вернуться в лоно церкви, уподобляя это одному из ее прочных корсетов. Церковные догматы, говорил он с улыбкой, служат корсетом для души.

Восхищенная этой аналогией, она рассмеялась. После прекрасной долгой утренней прогулки среди деревьев и полевых цветов священник и корсетница решили перекусить в весьма неплохом трактире, расположенном на берегу озера за много миль от какого-либо жилья. Вынося бутерброды с сыром к столикам, расставленным прямо на берегу, они наткнулись на* Фогеля и

Болотникова-Лескова и почувствовали себя обязанными присоединиться к ним, хотя ни те, ни другие не испытывали от этой встречи никакого удовольствия. Болотников-Лесков пустился в политические разглагольствования и набрал уже слишком большую инерцию, чтобы остановиться. Проблема, разъяснял он (пока мадам Коттен грустно улыбалась, а ее взгляд рассеянно блуждал по озерной глади), состоит в том, что его партия наилучшим образом подходит для масс, но массы, к сожалению, не в состоянии этого понять. Он выражал опасение, что бомба окажется единственным решением вопроса.

От орлиного взора Фогеля не ускользнуло то, что у священника подрагивает рука, когда тот поднимает стакан со сливовым соком; он также отметил красноту его лица. Юридический опыт подсказал ему, что священника отправили на отдых для того, чтобы тот немного «просох». Корсетник-мужчина и корсетница-женщина быстро покончили со своими бутербродами и извинились за то, что так поспешно покидают сотрапезников. Они сказали, что хотят успеть обойти вокруг всего озера.

Юные любовники ссорились вторично, и на сей раз более серьезно. Он ревниво допрашивал ее о

том, что у нее бывало в постели с мужем, и это ее раздражало — ведь все было так давно и так несущественно. В этом споре впервые обнаружилась его незрелость; до тех пор небольшая разница в возрасте казалась совершенно незначительной. Она даже никогда ее прежде не замечала. Но теперь, из-за его ребяческой вспышки ревности к умершему, разница в возрасте оказалась заметна уж слишком сильно. Из-за этого она стала раздражаться и по другим поводам — например, мерзкими турецкими сигаретами, которыми он непрестанно дымил, наполняя комнату прогорклым запахом и, вне всякого сомнения, навсегда губя ее певческий голос.

Конечно, в конце концов все стало даже еще очаровательней, чем прежде. Соединившись в любовном объятии и глядя в глаза друг другу, они не могли поверить, что только что обменивались враждебными словами. Но чтобы показать, что он для нее значит куда больше, чем муж, ей пришлось совершить нечто непривычное — взять в рот его пенис. Она испытала потрясающую степень близости, оказавшись с глазу на глаз с этим роскошным тюльпановым бутоном, с этим пышущим жаром, словно бы дымящимся монстром, на самом конце которого—в углубле-

нии — поблескивала, однако, прозрачная, как роса, капелька. Взять его в рот казалось столь же невообразимым, как позволить войти в себя бычьему члену. Но, боязливо прикрыв глаза, она сделала это, лишь бы доказать, что его она любит больше, чем мужа. И это не оказалось неприятным, более того — это настолько не было неприятным, что она, недоумевая, стискивала его губами, ласкала языком и сосала, так что он наливался у нее во рту еще большей силой, пока наконец брызнувшая из него струя не ударила ей в гортань. Обуреваемый ревностью, он поносил ее мерзкими словами, которые возбуждали ее весьма необычным образом.

Это по-новому взволновало их, как раз тогда, когда они полагали, что новизна уже себя исчерпала. И, в нарушение всех общеизвестных норм, примерно в это же время в груди у нее снова появилось молоко — так нескончаемо долго приникал он к ее соскам.

Когда они спустились к обеду, ей казалось, что груди у нее вот-вот лопнут. Они наслаждались жизнерадостным шумом, смехом постояльцев, беготней официантов, искрометностью цыганского оркестра, ароматом блюд; ее переполненные груди, подпрыгивавшие под шелком,

когда она проходила между столов, восторгались всем этим. Атмосфера белого отеля была восстановлена. Время все излечило. Жизнерадостность воскресла. Цыгане обнаружили среди постояльцев итальянского скрипача, игравшего в одном из прославленных оркестров; он был несравненно лучше погибшего собрата по профессии, так что они, хотя и скорбели по своему товарищу, от души радовались великолепным звукам, рождаемым ими, ибо вызов, брошенный им новым музыкантом, заставил их скромное мастерство подняться к новым высотам.

Кое-кто из постояльцев уехал, и метрдотель получил возможность предложить молодым влюбленным новый, более просторный стол. Они сели обедать с мадам Коттен и священником. Те, проведя весь день на солнце и свежем воздухе, пребывали в безмятежном, приподнятом состоянии духа. Краснолицый старик поощряюще и одобрительно взмахнул рукой, когда молодая женщина расстегнула лиф платья, объяснив, что груди у нее переполнены и болят. Он посочувствовал, потому что его мать страдала тем же самым, когда была помоложе. Юноша, салфеткой вытерев с губ красное вино, наклонился, чтобы взять в рот сосок, но прежде, чем он успел это сде-

лать, молоко ударило струей, попав на скатерть. Женщина пунцово покраснела и рассыпалась в извинениях, но отец Марек и мадам Коттен рассмеялись, отвергая их, а официант подбежал и вытер лужицу своим белым полотенцем, оставив лишь крохотное пятнышко. Он спросил, не надо ли заменить скатерть, но все сказали, что в этом нет необходимости — ведь это всего лишь безобидное молоко. Молодая женщина заметила, как задумчиво смотрел священник на ее полную грудь, которую сосал ее любовник. Он поигрывал стоявшим перед ним стаканом с водой, скрытно мечтая о чем-нибудь покрепче. Она спросила его, не согласится ли он взять другую грудь и пососать из нее.

— Вы в самом деле не против? — сказал старый священник, тронутый и польщенный.– Не могу не признать, что это весьма соблазнительно.

Он взглянул на мадам Коттен, которая улыбнулась ему в знак согласия.

— Так оно и есть! Да! И потом, мы так много прошли пешком.

Она осушила бокал вина и налила себе еще один.

— Это пойдет вам на пользу. Вода не напиток для мужчины!

Он все еще был полон смущения и сомнений.

— Я действительно этого хочу, — сказала молодая женщина.– Пожалуйста.

И юноша отнял рот от набухшего соска, чтобы сказать:

— Пожалуйста, соглашайтесь. Честное слово, для меня этого слишком много.

Священнику не потребовалось дальнейших приглашений, и вскоре он, донельзя довольный, усердно сосал другую грудь. Молодая женщина откинулась на спинку стула, не менее довольная и успокоенная, и стала гладить густые кудрявые волосы своего возлюбленного и жиденький пушок на голове у священника. Она заметила, что макушка у него загорела на солнце. Поверх их голов она улыбалась тем, кто сидел за соседним столом, — пекарю, его жене и двоим ребятишкам. Они потягивали воду из стаканов. Пекарь долгие годы копил деньги на эту поездку, но все же не мог позволить себе ничего из ряда вон выходящего. Тем не менее он улыбнулся в ответ обуреваемому жаждой квартету.

— Я их не осуждаю, а вы? — обратился он к жене и детям.– Если вы в состоянии позволить себе это, почему не наслаждаться, пока можете?

Зависть, снедавшая его жену, поугасла благо-

даря аромату жареной утки, блюдо с которой как раз в это мгновение поставили перед ней, и она сдержала едкое замечание, готовое было сорваться у нее с языка, заметив просто:

— Что ж, это прекрасно, когда все вокруг веселы и довольны.

И в самом деле, во всем просторном обеденном зале нельзя было увидеть ни одного печального лица. Казалось, что все одновременно решили, что этот вечер должен возместить им уныние предыдущих обедов. У официантов праздничное настроение выражалось по-своему: они сновали между столов, слегка подпрыгивая в такт музыке и делая вид, что жонглируют подносами. Даже дородный шеф-повар оставил свои печи, чтобы пойти взглянуть, в чем причина всеобщего веселья. Его шумно приветствовали, и он ухмылялся в ответ, утирая пот, струившийся по его круглому лицу. Мадам Коттен встала, прошла через весь зал и вручила ему свой пустой бокач. Она указала ему на друзей, полностью поглощенных своим занятием, и потянула его за рукав, Смущенный и упирающийся, он все же позволил протащить себя через зал, ухмыляясь так широко, что видна была брешь в том месте, где у него отсутствовал зуб. Пока мадам Коттен тянула его к своему столу,

все подбадривали его, крича и топая ногами. Женщина с обнаженной грудью улыбнулась и кивнула застенчиво ухмыляющемуся великану, после чего нежно отстранила любовника от своего соска — священник же продолжал умиротворенно сосать, даже не замечая, какие забавные вещи происходят с ним рядом. Молодой человек, вокруг губ которого осталось белое кольцо, улыбкой выразил свое полное согласие, и шеф-повар, ссутулившись, осторожно захватил набухший сосок между большим и указательным пальцами и стал сцеживать из него молоко, подставив бокал. Когда тот наполнился, он торжественно его поднял и одним большим глотком выпил сладкую жидкость. Под благодарственные замечания по поводу его поваренного искусства он, ухмыляясь, прошествовал обратно на кухню, и вращающаяся дверь запахнулась за ним.

Внимание постояльцев привлек праздничный гомон за большим столом на семью из восьми человек, превзошедший даже шум за столом молодых влюбленных. Там в рекордное время опустошались двухквартовые бутыли шампанского; бились бокалы; хрипло провозглашались пьяные тосты; немузыкальные, но очень воодушевленные голоса орали цыганские песни.

Прошла молва, что глава семьи, престарелый голландец, почти слепой, взобрался на гору за отелем и вернулся с горной паучьей травкой, названной так из-за того, что растет лишь на высокогорье, в скальных трещинах, доступных одним паукам. Старик увлекся ботаникой уже на склоне лет, и сегодняшняя находка была воплощением его самой заветной мечты.

Услышав об этом, мадам Коттен и молодой человек шепотом обменялись несколькими словами и подозвали официанта. Тот подскочил к их столу, весь внимание, а потом столь же проворно бросился к столу голландцев с их приглашением. Едва он успел его изложить, как те сразу же вскочили со стульев и поспешили через зал, чтобы воспользоваться любезным предложением. Когда же они осушили свои бокалы или утолили жажду прямо из ее груди, к очереди присоединились и другие улыбающиеся, веселые постояльцы. Оркестранты тоже потребовали дать им освежиться. И даже Фогель, ни на миг не утратив высокомерного и скучающего выражения, как бы говорящего: что ж, раз уж я здесь, придется присоединиться к вашему стаду, — подошел и немного пососал из груди. Вернувшись к сестре, он с саркастической усмешкой вытер молоко с губ.

Солнце, неожиданно снизившись, как бы намазало маслом деревья, видневшиеся за французскими окнами, и все посерьезнели. Священник, насытившись, оторвался от соска и поблагодарил ее; теперь сердце у него сжималось от боли при воспоминании о матери, при мысли о своей вине перед ней, живущей так далеко, в родной Польше, — и в такой бедности и одиночестве. Он печалился также и тем, что нарушил обет воздержания. Ему надо было приготовиться к поминальной службе по тем, кто погиб при наводнении и пожаре. Он намного больше был расположен вздремнуть, но долг требовал исполнения. Поднявшись, он огляделся в поисках пастора: им предстояло разделить обязанности. Молодая женщина застегнула платье.

Она чувствовала, как под столом ее касается ладонь любовника. Они выпили слишком много, и у нее кружилась голова. Ее любовнику и мадам Коттен пришлось поддерживать ее, когда они медленно выходили из обеденного зала. Она возражала, говоря, что прекрасно доберется сама, а мадам Коттен пусть идет по лестнице первой — ведь ей надо одеться для похорон. Но мадам Коттен сказала, что не пойдет. Она не сможет этого видеть.

В спальне мадам Коттен раздела молодую женщину и осторожно уложила ее на постель. Любовник ухитрился ввести в нее член, еще когда они с трудом ковыляли по лестнице, и теперь мадам Коттен оставила на ней корсет и чулки, чтобы не прерывать их соития. Молодая женщина смутно различала пение плакальщиков, отправлявшихся на кладбище, и мирно лежала, наслаждаясь лаской. Глаза у нее были закрыты, но она почувствовала, как он взял ее руку и, направляя ее, слегка втиснул ее пальцы во влагалище рядом со своим членом. Помимо нежных прикосновений ногтя молодой женщины он ощутил жесткость обручального кольца мадам Коттен. «Оно всегда помогало мне. С ним — хоть в игольное ушко», — шепнула мадам Коттен, и молодая женщина пробормотала, что хорошо ее понимает: ее собственное обручальное кольцо часто выручало ее в горе, и она до сих пор не любит снимать его с пальца.

Тела погибших уложили на телеги, и некоторое время было слышно, как они грохочут среди сосен, а потом стало тихо. Молодая женщина ощутила пустоту в том месте, где была наиболее заполнена, и сонным голосом попросила добавить туда чего-нибудь еще. С трудом разлепив

веки, она стала смотреть, как мадам Коттен и ее любовник страстно целуют друг друга.

Тропа, шедшая вдоль берега к горному кладбищу, была очень длинной, а священник сегодня уже проделал пешком весь этот путь. К тому же он ощущал тяжесть в ногах после еды и обильного питья. Очевидно, детальные чувствовали то же, что и он, и вскоре устали от пения похоронных гимнов. Все молчали, слушая, как колеса телег скрипят по песчаной тропе.

Священник нерешительно вступил в разговор с пастором. Ему впервые приходилось так долго говорить со служителем другой веры; но, думал он, с кем не поведешься в беде. Беседа оказалась интересной: речь шла о доктрине. По крайней мере, они соглашались друг с другом в том, что любовь Божья не поддается анализу. Она простирается сплошным целым, без стыков и швов, пронизывая все, что Он создал. Вскоре от усталости у них начали заплетаться языки — пастор тоже был далеко не молодым человеком, — и они оставили разговор, чтобы поберечь силы. Мысли священника вновь обратились к той груди, которую ему довелось сосать. Он пытался припомнить ее округлость и теплоту. Он думал также о мадам Коттен, которая во время их сего-

дняшнего похода дала ему такой хороший совет относительно томившего его чувства вины.

Освободив пышную плоть мадам Коттен от китового уса, который после обильного обеда глубоко в нее врезался, двое ее юных друзей принялись щекотать ее и пощипывать, а она металась, вскрикивала и смеялась, пытаясь вырваться из их рук. Она сглупа сказала им, что боится щекотки, и теперь они могли делать с ней все что угодно. Она не могла противостоять сильному молодому человеку, даже если не учитывать молодую женщину, тоже навалившуюся на нее. Один или два раза она чуть было не освободилась и не соскочила с кровати, но всякий раз юноша погружал свой большой палец в ее самое нежное место — внизу живота — и ей приходилось покоряться, откинувшись на спину и задыхаясь. Затем, когда она ослабела и утратила контроль над собой, они схватили ее за бедра и широко их раздвинули, а она визжала и опять вырывалась, заходясь от смеха, когда ей щекотали ступни. Юноша оказался у нее между бедер и собственным ртом прервал ее крики, так что ей, чтобы получить возможность дышать, пришлось пообещать быть паинькой и позволить ему это сделать. Она задыхалась и смеялась,

уже более спокойно, а потом смех сменился быстрыми вздохами, и губы ее то нежно улыбались, то соединялись с его губами в кратких, беглых поцелуях.

Не обращая внимания на сильный ветер, треплющий полы его шинели, майор Лайонхарт вспоминал о всех других братских могилах, над которыми ему довелось стоять, и о всех письмах с соболезнованиями, которые пришлось написать. Когда краски на небе стали тускнеть, а свет дня — меркнуть в тени, отбрасываемой горой, ему показалось, что он различил апельсиновую рощу, медленно падавшую в озеро, а затем — розы. Впечатленный увиденным, он решил упомянуть об этом на следующем собрании, которое планировал провести следующим вечером. Розы, которые он видел, до странности походили на ту розу, что привиделась престарелой сиделке. Прежде он не придал особого значения ее словам — она была чересчур близка к старческому слабоумию. Ему было жаль тихую, грустную, очаровательную девушку, которая была на попечении у этой старухи. Но, может быть, она *действительно* видела розу на закате? Горная паучья травка — это тоже непонятно. Отец Марек обратился к цепочке застывших, закоченевших плакальщиков, а майор

стал думать о подтянутом молодом лейтенанте, своем племяннике, — он должен был приехать завтра первым поездом. Они как следует покатаются на лыжах. Там, выше, — его излюбленный лыжный склон.

Вселенная, размышлял Болотников-Лесков, — это революционная ячейка, включающая в себя только одного члена: самое совершенное число для безопасности. Бог, если бы он существовал, стиснул бы зубы под самой жестокой пыткой, но ни одного предательского слова не сорвалось бы с его уст — ему было бы некого предавать, он ничего бы не знал.

Лишь вполуха внимая бормотанию священника, он с достойным удивления бесстрастием смотрел вниз, на крышку гроба, лишавшую возможности видеть наивную молодую женщину, ревностно разделявшую его взгляды; она была настолько преданной делу, что частенько пыталась поговорить с ним о грядущем золотом веке даже в минуты любовных утех.

У кошек, размышлял Энрико Мори, скрипач, нет никого, кто мог бы прочесть над ними слова утешительной лжи. Кошки знают, что нет никакого воскрешения, есть только перевоплощение в мою музыку. Он гладил по голове черную кош-

ку, следовавшую за ними от самого отеля. Сейчас она, мурлыча, возлежала на руках у проститутки, страдавшей от рака. Он знал, что она проститутка, потому что однажды, будучи студентом консерватории в Турине, воспользовался ее услугами. Они узнали друг друга в первый же вечер, и шлюха, вспыхнув, отвела глаза в сторону.

В своем обращении отец Марек говорил о Плащанице Христа, запятнанной Его кровью. Чудотворный лик говорил: уверуйте в Меня, для вас Я вынес тьму и холод могилы. Мори отметил, что пастор, стоящий возле священника, чувствует себя неуютно. Конечно, подумал он, ему не по вкусу эти разговоры об идолах.

Когда пастор, приступив к своей службе, начал читать протестантскую заупокойную молитву, Мори взглянул вниз и направо, туда, где лежал крохотный гробик. Рыдающие родители бросали вниз цветы. Мори знал эту девочку всего несколько минут: она спросила, нельзя ли ей попробовать сыграть на его скрипке. Но за эти несколько минут они подружились, и он был потрясен, узнав, что она умерла от ожогов.

Тем не менее он позабавился, когда черная кошка спрыгнула с рук проститутки и припустила вниз по тропе так, словно за ней гнались

семеро чертей. Вскоре она пропала из виду на тропе, ведущей к отелю. Спешит на вечерню, подумал Мори, — как раз начали звонить колокола церкви, расположенной позади и чуть выше отеля. Звон невнятно доносился с того берега, и одинокий рыбак, удивший посреди озера, принялся стаскивать с себя шляпу. Мать маленькой девочки осела на землю, и, словно по команде, другие женщины в цепочке тоже стали падать в обморок. Вот в чем беда с этими смешанными похоронными службами, подумал Мори: они длятся слишком долго и чересчур напрягают нервы.

Громовый раскат ударил им в уши, и Лайонхарт, взглянув наверх, сразу же понял, что пришел конец. В свое время ему доводилось слышать даже более мощные удары грома — и все же ускользать, оставаясь целым и невредимым; но сейчас пути к спасению не было. Пик горы подтаял, и огромные валуны с грохотом неслись вниз по склону. Плакальщики разразились гимном, и какое-то мгновение казалось, что их пение удерживает валуны в воздухе. Земля разверзалась под ногами.

Молодая женщина видела, как участники похорон один за другим падали в расселину, словно их, одного за другим, поражало невыносимое

горе. Она видела, как они слабо подергивались, а затем земля и обломки скал погребли их под собой. Темнота в этот вечер наступила внезапно, и они улеглись, прислушиваясь к тишине, опять воцарившейся после удара грома. Холодный в тени вершины, воздух вокруг белого отеля был по-прежнему теплым, и они оставили окно открытым. Озеро выпило солнечный свет одним глотком, а луна на место солнца не заступила. Всем хотелось пить, и молодой человек позвонил горничной. Маленькая японка вздрогнула, увидав три головы на одной подушке, а они посмеивались над ее недоумением. Она принесла литровую бутылку вина и три бокала.

Крепкое вино снова их оживило. Опыт, который они проделали, для каждого был внове, и они радостно его обсуждали. Мадам Коттен была счастлива видеть, что привязанность молодых любовников друг к другу не ослабела: они целовались и игриво пощипывались.

Мало того, что их любовь не ослабла, этот опыт ее укрепил; по крайней мере, так считала молодая женщина. Щедрость всегда вознаграждает дающего, и их доброта к одинокой, понесшей тяжелую утрату женщине сблизила их еще больше. Так что она была счастлива. И ее любовник тоже

был счастлив: ему было так уютно лежать между ними — аппетитному куску мяса между двумя ломтиками свежего хлеба. Он выпил, прикурил турецкую сигарету и вручил ее мадам Коттен; прикурил сам, затянулся, с наслаждением выдохнул дым, после чего повернулся, чтобы нежно поцеловать свою любовницу. Мадам Коттен завидовала их крепким молодым телам, памятуя о том, что ей тридцать девять и ее лучшая пора давно миновала. А церковные колокола, звучавшие так, словно звонили в комнате наверху, сделали ее еще печальнее. Возможно, лучшее, на что она может надеяться в дальнейшем, это несколько быстротечных приключений вроде сегодняшнего, но по большей части ее ждет одиночество. Она взяла бутылку, чтобы налить себе еще один бокал, но вино перестало литься, когда бокал был полон лишь наполовину.

— И это все, что здесь есть? — спросила она извиняющимся тоном.

— Это все, о чем мы знаем, — задумчиво сказала молодая женщина.– Это все, в чем мы можем быть уверены. По-настоящему уверены.

Поскольку с вином было покончено, молодой человек принялся ласкать полные, хотя и довольно-таки дряблые груди мадам Коттен. Разъединив

ее бедра, он снова на нее взобрался. Молодая женщина предложила ей свой сосок: вино пошло в молоко, и ее груди опять переполнились и болели. Та благодарно приняла его в рот. В это же время он стал сосать ее собственную грудь, и круг наслаждения почти замкнулся. Молодой человек был очень возбужден, эрекция у него достигла небывалой величины, и он так сильно вонзился в мадам Коттен, что та застонала, сжимая зубы, и прокусила молодой женщине грудь, после чего ей уже пришлось сосать смешанную с молоком кровь. Лишь много позже мадам Коттен оделась и пошла обратно в свою комнату. В отеле было темно и тихо.

Дремавшего портье разбудил звонок среди ночи. За дверью оказались Болотников-Лесков и Фогель; они скользнули внутрь и предстали изнуренными, растрепанными и грязными. Каждый из них заказал себе в номер по полному кофейнику, двойному бренди и тарелке с бутербродами, а на утро — свои обычные газеты. Расставаясь на втором этаже с Фогелем, Болотников-Лесков кратко пожелал ему доброй ночи. Ему никогда не нравился этот субъект, но в жизни они придерживались одних и тех же принципов. К тому же Фогель, как и он сам, принадлежал к тем, кто

выживает, а такие люди стоят тысячи гибнущих праведников.

К исходу следующего дня он не находил себе места и предложил выбраться из постели и походить по горам. Она была утомлена и предпочла бы небольшую прогулку вдоль озера, может быть, вместе с мадам Коттен. Но он имел в виду вылазку более основательную, и только вдвоем.

Он позвонил в колокольчик, призывая горничную принести чай и раздвинуть шторы. Приспособившись к солнечному свету, молодая женщина заметила, что у малышки-японки заплаканные глаза. Она спросила, в чем дело, и горничная рассказала ей о сокрушительной лавине, которая погребла всех, кто участвовал в похоронах. Она была очень расстроена, потому что питала растущую привязанность к майору-англичанину, оказавшемуся в числе жертв. К ее удивлению, выяснилось, что ему приходилось бывать на ее родине и он даже немного говорил по-японски. Он ожидал приезда своего племянника, армейского лейтенанта, а пока жил один и часто приглашал ее на прогулки — в те часы пополудни, когда она бывала свободна. Он очень интересовался ее занятиями и во всем проявил себя как добрый и понимающий друг. Ей будет

недоставать его.

Благодарная молодой женщине за сочувствие, горничная, извинившись, на минутку отлучилась и вернулась, прижимая к сердцу тоненькую книжку, которую, по ее словам, майор вручил ей только вчера, во время их последней прогулки. Молодая женщина взяла книжечку и на незамысловатой обложке прочла: «*Таволга.* Стихотворения Гарольда Лайон-харта». Она быстро пробежала двадцать или около того коротких стихотворений и вернула книжку с сочувственным кивком.

— Это поможет вам помнить о нем.

Горничная, чьи глаза увлажнились от слез, раскрыла книжку на титульной странице и протянула ее обратно. Молодая женщина увидела несколько стихотворных строк, каллиграфически выписанных, и подпись: «С любовью, от майора Гарольда Лайон-харта». Горничная объяснила, что прочла ему несколько маленьких стихотворений, которые учитель велел ей написать во время каникул. И вот вчера, когда она принесла ему утренний чай, он подарил ей эту книгу со своим переводом ее стихов на первой странице! Она была так тронута, что расплакалась. Молодая женщина прочла каллиграфические строчки:

С закатом даже
косточка сливы может
мир сделать алым.

Слива, готовясь
к браку с буком, предвидит
и боль, и радость.

Словно кусаешь
сливу до косточки – страсть
этого часа.

Слива созрела –
лебедь летит. Ты рядом –
И сержце поет.

Тропа, начинавшаяся позади отеля и шедшая в гору, крутая и каменистая, извивалась среди лиственниц и сосен. Сначала они шли, обняв друг друга за талию, но когда тропа сузилась и стала круче, он пропустил ее вперед. Для горного восхождения она была совершенно неподходяще одета, но это было ее единственное платье. Было убийственно жарко, она вспотела, и платье прилипало к ягодицам и бедрам. Время от времени он не мог удержаться от соблазна скользнуть ладонью в щель между ее ног. Они добрались до

прохладной, покрытой травой террасы, где между тисов уютно устроился церковный шпиль. Когда они остановились, чтобы отдышаться, он обвил руками ее талию и повернул ее лицо так, чтобы иметь возможность целовать ее в шею и в губы. Затем потянул ее вниз, на ощипанную траву.

— Кто-нибудь может прийти, — прошептала она, когда он рывком задрал ей платье до талии.

— Неважно, — сказал он.– Я хочу тебя. Пожалуйста. Ну пожалуйста.

Ослик на привязи щипал короткую траву, накручивая веревку на столб ограды и тем самым делая свои владения все меньше и меньше. Он принадлежал ордену монахинь, которые жили и служили Господу в монастыре, пристроенном к церкви. Любовники не знали о том, что старая, сгорбленная монахиня, прихрамывая, вышла из монастыря с корзиной белья для стирки — рядом с тем местом, где они лежали, протекал ручей. Им показалось, что они слышат шум скал, падающих сверху, а оказалось, что это старуха-монахиня колотит грязную одежду крепкой палкой.

Смущенная молодая женщина выскользнула из-под любовника и стала суетливо опускать платье. Старуха на миг перестала колотить белье и обратилась к ним с беззубой улыбкой:

— Не волнуйтесь. Знаете, здесь у нас ни в чем не бывает греха — благодаря этому ручью. Выпейте из него перед уходом. Но только не торопитесь. Жаль, что я вам помешала. Я скоро уйду.

Она пояснила, что монахиням потребовалось свежее белье для заупокойной службы по отцу Мареку и другим католикам, погибшим при сходе лавины. Она набожно перекрестилась.

Любовники вернулись к своим прерванным утехам, снова приостановив их, чтобы улыбкой поблагодарить монахиню, когда та пожелала им удачного дня и уковыляла прочь с тяжелой корзиной влажного белья. Потом они, складывая ладони лодочкой, напились из ручья. Вода была холодна как лед и очень освежала. Очищая одежду от травы, они взглянули на озеро и поразились его цвету — оно было красным, как наисочнейшая из слив.

Тропинка, ведущая вверх, терялась среди валунов и обманчивых снежных участков, так что им приходилось идти очень осторожно. Иногда они были вынуждены карабкаться на четвереньках, а быстро наступавшая темнота делала дорогу еще более трудной.

— Я порвала платье, — сказала она, а он пообещал, что назавтра справится на станции — может

быть, ее чемодан уже прибыл. Если нет, то, пожалуй, они спросят у горничной, есть ли здесь магазин, где можно купить платье.

— И зубную щетку, — сказала она.– Мне нужна еще только зубная щетка.

Целью их восхождения была маленькая обсерватория, когда-то выстроенная на этой горе, но впоследствии заброшенная. Они увидели ее как раз в тот момент, когда солнце зашло за вершину, после чего мгновенно наступила ночь. Было страшно холодно, и молодая женщина пожалела, что не захватила с собой пальто. Они вошли под темный купол. Внутри не было ничего, кроме прорези в крыше, предназначенной для телескопа, который так и не был установлен.

Он сильно ошибся в оценке того, сколько времени потребуется для восхождения. Спуститься вниз ночью не было никакой возможности.

— Я буду тебя согревать, — сказал он и, когда они улеглись на ледяной пол, крепко сжал ее в объятиях. На них падали хлопья снега, залетавшие через прорезь в куполе.

— Прошу тебя, не сделай меня беременной, — прошептала она. Он видел белки ее глаз — они были белее снега. Она размышляла. Вот где это очень легко может произойти. По иронии судьбы

— не в теплой постели, когда по небу пролетают розы и апельсиновые деревья, а морозной ночью, когда звезды, точно снег, падают через узкую щель. Холодная снежинка коснулась ее щеки, и она подумала: это семена Господа. Неистовство его ласк согревало ее. Она различала слабый шум водопадов — не только на этой горе, но и на всех горах, окружавших озеро и белый отель. И водопады пели, потому что ночь и снег позволяют горам встречаться друг с другом; они пели, как киты на рассвете, которых никто не слышал и которых лишь секретарша и сестра Фогеля успели заметить.

Ее согревала также и глубина выпавшего снега, наполовину погребавшего под собой их эскимосское пристанище. Все небо упало за ночь, все звезды и все созвездия. Она слышала самую основу Вселенной, очень нежный, бесконечно длящийся вздох.

К утру они покрылись инеем от мороза и совсем изголодались, но могли только набрать снега — целую россыпь белых звезд — и выпить его, когда он растаял. Пробившись через звездную стену, замуровавшую дверной проем, они аж задохнулись от изумления, увидев, что все внизу стало белым. Даже озеро было покрыто льдом. Только

темная зелень нескольких сосен и елей виднелась сквозь снег и лед. И белый отель потерялся в белизне. Там, где он должен был находиться, не было ничего, кроме глубокого снега.

— Надо попытаться найти дорогу назад, — сказал он безо всякой надежды.

— Ты же знаешь, что это невозможно, — сказала женщина.– Мы не можем вернуться по своим следам; а потом — зачем нам обратно? Вспомни, что говорила монахиня: здесь нет греха.

Молодой человек не ответил; он лишь коснулся своих аккуратных усиков, как бы убеждаясь, что все еще существует, и, с трудом пробираясь сквозь снег, двинулся в путь. Когда взошло солнце и облака быстро рассеялись, они повеселели. Усилия, затраченные на ходьбу по колено в снегу, восстановили кровообращение; от избытка сил и тепла их едва не распирало. Они видели, как лед в озере раскалывается, образуя плавучие льдины, а те исчезают, превращаясь в голубую воду. Посвистывали птицы.

Снег с шелестом осел с церковного шпиля, и они обнаружили, что, ориентируясь на него, не так уж трудно держаться тропы. На полпути между обсерваторией и церковью они наткнулись на площадку для отдыха, там была деревянная

скамейка и телескоп, через который обычно наблюдали за тем, как скалолазы взбираются на отвесную стену одной из гор по ту сторону озера.

Они сели на скамейку и радостно чмокнулись. День обещал быть чудесным: тающий снег сотнями ручейков устремлялся в озеро, а на небе к этому времени не осталось ни облачка. Но они по-прежнему не видели белого отеля.

Молодой человек встал и подошел к телескопу. Он направил его вниз, в сторону отеля, и, когда пласт снега оторвался и упал на веранду, увидел окно их спальни. Он узнал ето, потому что на нем были слова, которые она, предварительно надышав на стекло, вывела пальцем как раз перед их уходом, — это была фраза из Гейне. Он позвал ее подойти и взглянуть. Она с облегчением улыбнулась, когда различила смутно видневшийся интерьер: свои щетки для волос, неубранный чайный поднос и незаправленную постель. Однако ее встревожило то, что она не позаботилась объяснить горничной происхождение пятен крови на простыне. Хотя, должно быть, маленькая японка уже привыкла к хаотическим постелям — этим дневникам человеческой любви.

Она отдала телескоп любовнику, и тот стал вертеть его наобум. Он увидел эдельвейс, качав-

шийся под дуновением ветерка, возможно, милях в десяти от них. Отвернув телескоп от дальней горы и направив его в голубое пространство над озером, он поймал отраженный солнечный свет и вынужден был отвести глаза. Он посмотрел опять, на этот раз осторожнее, и увидел, что это металлическая застежка на подвязке белого корсета. Металл слегка протер эластик, и, полагая, что узнаёт этот корсет, он резко втянул в себя воздух.

— Не мадам Коттен ли это? — сказал он.

Она снова приложилась глазом к окуляру и на фоне слепящей голубизны увидела бледное, полное бедро с уже едва заметным синяком. А потом — слегка сдвинув телескоп вверх — искаженное розовое лицо.

— Да, это Дениз, — сказала она.

Он посмотрел снова и улыбнулся. Рядом с мадам Коттен падали другие люди, но невооруженным глазом ничего не было видно, кроме крошечного вагончика фуникулера, ползущего между двумя горами. Синяк, который он оставил на ее полном бедре, возбудил его так, что он вместе со своей испуганной подругой покатился по короткой и влажной горной траве. Она пыталась крикнуть, что воздух слишком разрежен, но из-за его вне-

запной страсти никак не могла вздохнуть.

Когда вагончик фуникулера сорвался с одного из тросов и люди, визжа, стали вылетать из него через открытый верх, чтобы потом, лишившись опоры, понестись к земле, у сына пекаря хватило присутствия духа крепко прижать к себе черную кошку, которая пробралась туда вслед за ним. Всего лишь из-за того, что он погладил ее на ступеньках у входа в отель, она сопровождала его на протяжении всего подъема к фуникулеру. Теперь кошка громко мяукала и царапалась, но мальчик не отпускал ее.

Он не сосал ее грудь, но быстро ударял по ней вибрирующим языком — подобно ребенку, который поднимает рябь, так запуская в море плоский камушек, чтобы тот едва касался воды.

Юбки у женщин были раздуты, задравшись до талии, и они падали медленнее, чем мужчины. Мадам Коттен, чувствуя, что сердце у нее вот-вот выпрыгнет изо рта, видела, что всего лишь в нескольких футах ниже нее — и так же, как она, вертикально — падает статный молодой голландец, и у нее возникло странное впечатление, что она не летит вниз., к своей смерти, а высоко подброшена его сильными руками. Как-то раз она видела незабываемый танец Павловой; теперь

же, юная и стройная, она сама стала Павловой. Мужчины и мальчики первыми ударились о землю или поверхность озера. Мадам Коттен видела, как сын пекаря, летевший ногами вперед, упал на сосну и как-то ухитрился перевернуться на спину (которая тотчас с хрустом сломалась) — так, чтобы кошке была обеспечена безопасность. Черная кошка вырвалась из его рук и, цепляясь когтями, спустилась вниз по стволу.

Следующими упали женщины и девочки; а в самую последнюю очередь, спустя несколько мгновений, показавшихся вечностью, град лыж, сверкающих в солнечном свете, просыпался на сосны и озеро.

Они опять отдыхали возле ручья (где по-прежнему пасся ослик) и складывали ладони лодочкой, чтобы напиться чистой воды. Зашли в церковь, которая по случаю заупокойной службы была заполнена цветами, а потом забрели на окруженное стеной кладбище, предназначенное для местных жителей. Кладбищенские стены и высокие тисы накапливали жару. Каждая могила была снабжена улыбающейся фотографией умершего, перенесенной на камень, и повсюду было множество стеклянных кувшинов с бессмертниками. Возле одной из могил старуха в черном,

нагнувшись, рассматривала фотографию, и молодой женщине стало стыдно, что ее увидят в разорванном платье.

— Не люблю бессмертники, — сказала она, взяла его под руку и увела с кладбища.

Когда озеро стало ближе, она различила снующих в нем рыб: миллионы золотых или серебряных плавников, бесцельно и непрестанно извивающихся и поворачивающихся. Или это ей так показалось. По правде говоря, эти движения не были бесцельными; она видела, что рыбы добывают себе пищу; их круглые бессмысленные глаза с любопытством уставились на очертания огромных серых существ, медленно опускающихся на дно, чтобы послужить им угощением. Извивающиеся рыбины напомнили ей головастиков в пруду, а потом — сперматозоиды, как они выглядели на той картинке, что показывала ей гувернантка, сперматозоиды, увеличенные в тысячу раз. Они извивались с такой же кажущейся бесцельностью, но были заняты поиском.

Вечером за обедом молодой человек был озадачен ее молчаливостью и подавленным состоянием. Их нельзя было отнести на счет всеобщей подавленности, потому что в целом преобладало веселье. В отель въехала целая тол-

па новых туристов, и, конечно же, нельзя было ожидать, что несчастья, предшествовавшие их приезду, разорвут им сердце. Напротив, они были в прекрасном расположении духа, ведь их отпуск только начинался. Осталось лишь несколько знакомых лиц: Фогель, старики-голландцы (сидевшие за столом в полном молчании), Болотников-Лесков и бледная, печальная, внушающая жалость своей худобой молодая женщина со старухой-сиделкой.

И цыганский оркестр, и официанты старались поддержать атмосферу веселья, чтобы доставить удовольствие вновь прибывшим, хотя и музыканты, и персонал отеля сами понесли тяжелые утраты: аккордеонист уговорил пользовавшуюся всеобщей любовью горничную-японку поучиться кататься на лыжах — в тот день до полудня она была свободна. Услышав об этом от официанта, молодая женщина расстроилась. Она вспомнила одно из маленьких стихотворений горничной, переведенных майором-англичанином, и прочла его своему другу:

Слива, готовясь
к браку с быком,предвидит
и боль и радость.

В отличие от него, она не считала это забавным; она находила стихотворение волнующим, трогательным, даже эротическим. Она представила себя на месте сливы, выделяющей свою росистую влагу и начинающей трепетать на брачном ложе, когда приближается час прихода быка. Она со страхом предвидит разрыв своей девственной плевы, вселяющее ужас проникновение. Это заставляет ее дрожать и покрываться испариной.

Но она знала, что сама она вряд ли бы все это чувствовала. Именно это ее и угнетало; и наконец, когда они ели лимонный шербет, она объяснилась. Ее занимал вопрос, не стала ли она одержима сексом. Она созналась, что думает об этом почти все время. В глубине души ей доставляет удовольствие даже то грязное слово, которым это называют, — оно еще заставило ее покраснеть, когда она услышала, как его произнес майор-англичанин, оцарапанный кошкой. И другие слова, которые раньше ей даже знать было стыдно. Она наслаждается ими, потому что они такие грязные. Никогда и никому больше не говорила она о такой своей испорченности.

Он снисходительно улыбнулся и взял ее руки в свои. Она высвободилась и обвила пальцами свою кофейную чашку, рассеянная и взволно-

ванная.

— Мне не кажется, — сказала она, — что мир вокруг меня сексуален. Будь он таким, это меня в какой-то мере извиняло бы. Если бы рыбы метали миллионы икринок, гроздья пригибали к земле лозу, финики отягощали пальмы, а персики жаждали, чтобы по ночам к ним приходили быки.

Она оторвала взгляд от кофейной чашки в надежде найти в его зеленых глазах поддержку; но он, подпирая щеку указательным пальцем, отвернулся в сторону оркестра. Ее разозлило, что он не желает ей помочь, ведь по большей части это он был виноват в ее одержимости. До встречи с ним она не давала этому такой над собой власти.

— А если я думаю не о сексе, то тогда о смерти, — добавила она с горечью.– Иногда и о том, и о другом сразу.

Она взяла нож с доски для резки сыра и повертела его в напряженных руках.

Она не добавила, что предвидела смерть и мадам Коттен, и студентки-японки, и дамы с одной грудью, и всех остальных; или что она предвидит его смерть — да и свою тоже.

Молодая женщина повеселела после того, как он купил ей в баре ликер и они вышли на террасу понежиться под последними лучами уже не

жаркого солнца. Кое-кто из вновь прибывших очень хотел поговорить с ними, зная о том, что они были живыми свидетелями трагедии, случившейся на подъемнике. На лицах приехавших застыли выражения ужаса и жалости, но под этим скрывались гораздо более сильные чувства — возбуждение от ошеломляющей драмы, которую они упустили, и бесконечное облегчение при мысли о том, что катастрофа произошла сегодня, а не днем позже.

Фогель, стоявший покачиваясь рядом с Болотниковым-Лесковым в одной из ближайших групп новых постояльцев, был сильно пьян. Он громко говорил, что все могло обернуться куда хуже — среди жертв было полно жидов. Он имел в виду мадам Коттен и молодых голландцев.

В присутствии старой голландской четы и больной молодой женщины это замечание прозвучало более чем оскорбительно. Все разом умолкли. Русский, очень смущенный, увел Фогеля прочь. Вернувшись, он извинился перед евреями, слышавшими слова Фогеля. Это непростительно, сказал он; но надо быть милосердными и не забывать о том, что Фогелю от произошедших в отеле несчастий досталось больше всех: при наводнении он потерял кузину, при пожаре

— возлюбленную, при сходе лавины — сестру. Кроме того, он — Болотников-Лесков — и Фогель сами спаслись буквально чудом, так как отправились на подъемник впереди основной группы, собираясь покататься на лыжах, но из-за неустойчивой погоды в последнюю минуту передумали. Они сами вполне могли упасть и разбиться.

Так что, может быть, Фогеля можно извинить за то, что он напился и позволил себе горячечные высказывания. Хотя — он должен сказать об этом прямо — Фогель отнюдь не самый легкий в общении человек и при более благоприятных обстоятельствах.

Один из вновь приехавших, врач-бельгиец, спросил, не может ли лопнувший трос являться актом политического терроризма. Болотников-Лесков сказал, что это вполне вероятно. Если так, то он это осуждает; хотя, по его мнению, подобные акты отчаяния неизбежно будут повторяться, пока в мире будет существовать несправедливость и насилие над людьми.

Новым постояльцам стало не по себе от разговоров о терроризме и насилии, и беседа на террасе постепенно обратилась к более приятным вещам — например, к тому, каковы их шансы на то, что завтра будет твердый наст и безветрие.

Молодые любовники ушли и легли в постель, где их не беспокоило что-либо более зловещее, нежели слабые, но частые телефонные звонки, раздававшиеся в глубине отеля. Почти все из звонивших хотели заказать себе номер — белый отель был на редкость популярен, и, будь то зима или лето, заказов было больше, чем свободных номеров. Если смотреть только с этой точки зрения, катастрофы, случившиеся в последние несколько дней, были ниспосланы свыше; но даже этот необычайно быстрый товарооборот не мог угнаться за спросом, и многим приходилось отказывать. Персонал отеля творил чудеса, стараясь разместить как можно больше желающих. В тот самый день, когда погибла мадам Коттен, молодые любовники слышали, как в соседнюю дверь вносят раскладушку — так нашлась комната для молодой супружеской пары и их ребенка.

Нашлось место и для другой молодой четы, ребенок у которой должен был вот-вот появиться. Номера как такового не было, но женщина так рыдала, была настолько безутешной, что в конце концов для них освободили багажную комнату. Ночью любовники проснулись от криков роженицы, после чего слышали, как неутомимый персонал сновал с полотенцами, горячей водой

и другими необходимыми принадлежностями родовспоможения.

Эта ночь опять была морозной и снежной, и просто счастье, что для бедной молодой женщины удалось найти кров. Хотя с их стороны было крайне глупо приезжать, не забронировав заранее номер, на таком позднем сроке беременности.

К чести переутомленных работников отеля, никто из них не роптал. Они были просто восхитительны — эта мысль, по-разному выраженная, вновь и вновь повторялась в книге отзывов: «Прекрасное питание и никаких недоразумений. До встречи в следующем году»; «Здесь все наилучшего качества. Нас обслуживали, словно членов королевской семьи»; «Благодарим за прием. Отличный сервис и размещение. Обязательно приедем снова»; «Получил сполна за свои деньги»; «Нигде нет ничего подобного. Наслаждалась каждой минутой».

Весь штат отеля, от чистильщика обуви до управляющего, в свободное время помогал ремонтировать крыло, поврежденное пожаром, чтобы поскорее можно было сдавать все комнаты. Даже шеф-повар, дородный, сияющий улыбкой шеф-повар принял участие в ремонте —

и весьма примечательное: однажды любовники услышали, что кто-то скребется в окно, и, повернувшись, увидели, что к ним, лучась улыбкой, заглядывает веселый шеф-повар, держа в руке малярную кисть. Молодой человек овладевал ею сзади, и она, порозовев от стыда, попыталась сделать вид, что встала на колени, чтобы помолиться. Но они уже зашли настолько далеко, а он так весело им подмигнул, что они решили: не будет большой беды в том, чтобы позвать его и пригласить присоединиться. И надо сказать, что он оказался способным не только на приготовление бифштексов, — закрыв глаза и зарывшись лицом в подушку, она не могла бы сказать, кто из них сейчас в ней, было одинаково вкусно, нежно и сочно. Она была счастлива, что часть ее тела отдана кому-то другому. Весь дух белого отеля восставал против эгоизма.

Порой она чувствовала себя стесненной, связанной, но если предлагала выйти из номера, он опять заключал ее в объятия и говорил, что у них слишком мало времени. Грустно было не видеть снаружи знакомого пекаря, закидывающего свои сети посреди озера. Сына пекаря, запускающего воздушного змея. Старого священника, читающего в шезлонге. Мадам Коттен, смеющуюся чему-то

вместе с нахальным молодым официантом. Но между горными вершинами парили лебеди, то скользя вниз, к озеру, то взмывая ввысь. Их перья были настолько белы, что ослепительные вершины казались по сравнению с ними серыми.

ЧАСТЬ 3
фрау анна г.

Осенью 1919 года один из моих знакомых врачей попросил меня обследовать молодую женщину, которая на протяжении последних четырех лет страдала от сильных болей в левой груди и области таза, а также от хронического расстройства дыхания. Изложив свою просьбу, он добавил, что, по его мнению, это случай истерии, хотя определенные указания на обратное побудили его очень тщательно обследовать ее на предмет возможности какого-либо органического заболевания. Молодая женщина была замужем, но жила отдельно от мужа, в доме своей тети. Многообещающую музыкальную карьеру нашей пациентки прервала болезнь.

Первый мой осмотр этой молодой женщины двадцати девяти лет от роду не помог добиться большого успеха в понимании ее случая, а также не выявил ни единого признака ее внутренней живости, которой, как меня заверили, она обладала. Ее лицо, наиболее выразительной чертой которого были глаза, носило на себе печать жесто-

кого физического страдания; однако случались мгновения, когда на нем ничего не отражалось, и тогда оно напоминало мне лица тех, кто стал жертвой военной травмы, — обследовать их было моей печальной обязанностью. Из-за ее хриплого и быстрого дыхания мне часто бывало трудно расслышать, что она говорит. Вследствие испытываемых ею болей она ходила неуклюжей походкой, перегибаясь в талии, и к тому же отличалась крайней худобой, даже по меркам того злосчастного года, когда мало у кого в Вене имелось достаточно пропитания. Я заподозрил у нее, в довершение всех ее бед, *anorexia nervosa*[6]. Она говорила, что самая мысль о еде делает ее больной и она живет на апельсинах и воде.

Обследовав ее, я понял, почему мой коллега не захотел отказаться от поиска органического субстрата ее симптомов. Я был поражен определенностью, с какой моя пациентка описывала характер своих болей: такого рода ответов мы привыкли ожидать от пациента, страдающего от органического заболевания — если только он вдобавок не неврастеник. Истерик склонен описывать свою боль неопределенно и отзывается на

---

6 notes: 6

* Отсутствие аппетита на нервной почве (лат.). (Примеч. пер.)

стимуляцию болезненной области скорее выражением удовольствия, нежели страдания. Фрау Анна, напротив, спокойно и точно указывала, что у нее болит: левая грудь и левый яичник; она вздрагивала и отклонялась при осмотре.

Сама она была убеждена, что ее симптомы носят органический характер, и была разочарована тем, что я не мог установить их причину и вылечить ее. Моя собственная растущая убежденность в том, что я, несмотря на видимость обратного, имею дело с истерией, укрепилась, когда она призналась, что страдает также и галлюцинациями беспорядочного и пугающего характера. Она боялась рассказывать об этих «бурях в голове», так как ей казалось, что это равносильно признанию в том, что она сумасшедшая и должна быть изолирована от общества. Я сумел уверить ее в том, что галлюцинации, равно как боли и затрудненное дыхание, ни в коей мере не являются признаком слабоумия; что, учитывая непокорную природу реальности, даже самый здоровый разум может стать жертвой истерических симптомов. После этого она стала держаться немного раскрепощеннее и рассказала мне кое-что об истории своей болезни и о своей жизни вообще.

Она была вторым ребенком и единственной

дочерью родителей среднего достатка. Ее отец происходил из семьи российских евреев купеческого сословия, а мать — из культурной польской католической семьи, обосновавшейся на Украине. Поженившись вопреки расовым и религиозным барьерам, родители фрау Анны отстояли свои собственные либеральные идеалы, но вследствие этого брака оба они оказались отсеченными от своих семей. Единственным близким родственником, не отвернувшимся от них, была тетя пациентки (с которой она теперь жила), сестра-близнец ее матери. Эта женщина вышла замуж за преподавателя языков из Вены, тоже католика, с которым познакомилась во время его пребывания на конференции в Киеве, родном городе сестер. Таким образом, сестры были вынуждены жить вдали друг от друга, но их тесная связь не ослабевала.

Из-за преданности сестре тетя фрау Анны также стала все больше отчуждаться от своей семьи, за исключением отца, который переехал к ней жить, когда состарился. У пациентки было такое чувство, что ее жизнь обеднена этим семейным расколом. Родственников ее собственного поколения, которые могли бы это возместить, у нее тоже было немного. Мать ее родила сына вскоре

после того, как вышла замуж, а Анна появилась на свет пятью годами позже. Тетя, к ее огорчению, оставалась бездетной.

Пациентка сохранила самые теплые воспоминания о матери. Та была красива, склонна к творчеству (писала недурные акварели) и импульсивной веселости. Она была добра именно по-матерински. Если у нее и случалось плохое настроение, обычно вызванное осенней или зимней погодой, то, избавившись от него, она еще больше баловала своих детей. Вместе с отцом Анны они составляли превосходную пару. Отец также обладал огромной энергией и обаянием, и девочка его очень любила, хотя и жалела, что он так часто бывает занят. Лишенный родительской поддержки, он работал с неимоверным усердием, чтобы укрепить свое дело. Вскоре после рождения Анны он перевез семью в Одессу, где стал владельцем фирмы по экспорту зерна. Пожалуй, единственным занятием, способным отвлечь его от работы, был парусный спорт: он был счастливым обладателем превосходной яхты.

Каждое лето к ним, в их прекрасный портовый город, приезжали дядя и тетя пациентки. Девочка с нетерпением ждала этих визитов, которые, благодаря обыкновенным для Вены долгим лет-

ним отпускам, длились по нескольку недель. В присутствии гостей, да еще если погода благоприятствовала прогулкам на яхте, ее отец позволял себе на несколько дней оторваться от работы, становясь общительнее и доступнее; а мать буквально расцветала с одновременным появлением своей любимой сестры и солнца. Естественно, что ее сестра, сама бездетная, была очень привязана к своей маленькой племяннице. У тети был спокойный, уравновешенный характер. Одаренная пианистка, она предпочитала безмятежность музыкальной гостиной столкновению с буйством стихий, возможному на яхте. Дядя Анны не был таким домоседом, он был добродушен и весел, как и полагается дядям. Пациентка вспоминала о его склонности к шуткам: например, отправляясь на прогулку на яхте, он надевал белую офицерскую фуражку. Дядя и тетя значили для Анны очень много, будучи единственной ее «семьей», если не считать родителей и брата, — а между нею и братом не было сильной привязанности.

Если бы я не знал о склонности взрослых идеализировать начало жизни, я поверил бы, что раннее детство пациентки не было отягощено ничем утомительным или неприятным, что все оно сводилось к строительству песчаных замков

на пляже да скольжению на отцовой яхте — под голубым небом, мимо утесов черноморского побережья; и что это счастливое состояние длилось вечно. На самом деле эти счастливые и яркие воспоминания простирались лишь до пятого ее лета; потому что над ней уже нависала тень события, которое повлекло за собой безжалостное и неожиданное изгнание из рая, — смерть матери.

Мать ее имела привычку разнообразить зимнюю скуку, время от времени совершая поездки в Москву, — походить по магазинам, посетить галереи, побывать в театрах. Что касается Анны, то у нее в этих случаях было два утешения: отец оставался целиком в ее распоряжении, а мать всегда возвращалась нагруженная подарками. В тот год, как раз накануне Рождества, она не вернулась с долгожданными дарами. Вместо этого пришла телеграмма, сообщавшая, что отель, в котором она остановилась, уничтожен пожаром. Для незрелого ума Анны это означало лишь то, что матери не будет еще несколько дней. Но когда ее раздевали перед сном, няня расстроила ее своим плачем. Она долго не могла уснуть, думая, где же может быть ее мать, и слушая бурю, разразившуюся той ночью. Две из навязчивых галлюцинаций, преследовавших ее во взрослой

жизни, — буря на море и пожар в отеле — явно связаны с этим трагическим событием.

Ее убитый горем отец теперь почти все свое время отдавал деловым операциям; в любом случае, он предпочитал общество своего сына, в то время уже достаточно большого для поддержания осмысленного разговора. Анна была оставлена на попечение няни и гувернантки. Тетя и дядя больше не приезжали, так как по печальному совпадению дядя спустя несколько месяцев тоже умер — от сердечного приступа. Доходы его как преподавателя были невелики, и его все еще молодая вдова была вынуждена продать дом, снять дешевую квартиру и зарабатывать себе на скудное пропитание уроками игры на фортепиано. Если не считать писем и присылаемых время от времени маленьких подарков, несчастная и обремененная заботами женщина перестала соприкасаться с детьми своей сестры. Ни она, ни отец пациентки не вступили в повторный брак.

Легко можно вообразить себе одиночество и страдания девочки, столь жестоко лишенной матери, покинутой (как, должно быть, ей это казалось) тетей и дядей и безразличной отцу. К счастью, о ней заботились здравомыслящие и преданные слуги, особенно ее гувернантка. В

возрасте двенадцати или тринадцати лет Анна говорила на трех языках, не считая родного украинского, была знакома с хорошей литературой и выказывала недюжинные способности к музыке. Она очень любила танцевать и была принята в балетные классы при лицее. Это дало ей возможность заводить дружеские связи, и она, по ее собственному мнению, стала очень общительна и пользовалась всеобщей любовью. Таким образом, в целом она пережила утрату матери лучше, чем многие (если не большинство) из детей в подобных обстоятельствах.

Когда ей было пятнадцать, произошел неприятный случай, оставивший на ней свою отметину. Это был год политических волнений, восстания на флоте, беспорядков и уличных шествий. Пациентка вместе с двумя подругами опрометчиво отправилась в район доков, чтобы понаблюдать за происходящим. Из-за своей изысканной одежды и внешности они подверглись угрозам и оскорблениям со стороны группы повстанцев. Девочкам не причинили физического ущерба, но они были сильно напуганы. Еще больше пациентку задело отношение отца, когда она вернулась домой. Вместо того чтобы утешить ее, он стал холодно выговаривать ей за то, что она подвергла

себя опасности. Возможно, он лишь скрывал свое огорчение и был на самом деле очень расстроен смертельным риском, испытанным его дочерью; но для девушки его враждебный вид стал окончательным доказательством того, что он ее ни во что не ставит. С той поры она отвечала молчанием на молчание, холодностью на холодность. Через некоторое время после этого эпизода она впервые столкнулась с дыхательной недостаточностью, которую стали лечить как астму, но безуспешно. Через несколько месяцев та исчезла сама по себе.

Вскоре после того как ей исполнилось семнадцать, она покинула Одессу и отцовский дом, отправившись в Санкт-Петербург с одной лишь перспективой — выдержать конкурсный просмотр в балетной школе. У нее не было знакомых в столице, не было и никаких средств, кроме небольшого наследства, оставленного матерью, на которое она, будучи уже достаточно взрослой, могла заявить права. Просмотр для нее оказался успешным, и она сняла комнату в бедном квартале и стала жить, экономя во всем. Она завела отношения с молодым человеком, жившим в том же доме, студентом А., активно участвовавшим в движении за политические реформы. Он предста-

вил ее кругу своих друзей той же ориентации.

Интерес, который она питала к политической борьбе, был целиком обусловлен ее увлеченностью А. Она отдавала первой любви весь чистый и щедрый пыл своих чувств; их отношения были *affair de coeur*[7], а не плотскою связью. Но через некоторое время он покинул ее ради более важных забот — приближавшегося большого пожара. Почти в это же время от нее отвернулась и избранная ею профессия: не потому, что ей недоставало способностей или прилежания, но лишь в силу того, что она становилась женщиной и набирала вес, который не могла сбросить, даже если почти ничего не ела. Ей пришлось заключить, что природа не намеревалась сделать из нее прима-балерину. К счастью, в это горестное время одна из преподавательниц балетной школы, молодая вдова, жившая в одиночестве, подружилась с ней и пригласила располагать ее домом, пока не решит, что делать дальше. Мадам Р. стала не только ее подругой, но и наставницей. Они вместе ходили на концерты и в театры, а днем, когда мадам Р. была в балетной школе, Анна читала книги из ее богатой библиотеки

---

7 notes: 7

* Сердечной близостью (фр.). (Примеч. пер.)

или же гуляла по городу в свое удовольствие. Это был спокойный и счастливый период в ее жизни, помогший ей восстановить равновесие духа.

Это взаимоудобное жизнеустройство кончилось, когда мадам Р. неожиданно решилась повторно выйти замуж. Соискатель ее руки, морской офицер в отставке, давно стал им обеим близким по духу другом, и Анна не подозревала о существовании какой-то особой привязанности, которая могла бы угрожать ее собственному безмятежному существованию. Тем не менее она не могла не радоваться счастью своей подруги, вполне ею заслуженному. Мадам Р. и ее новый муж умоляли Анну оставаться с ними и дальше, но она не хотела вмешиваться в их жизнь. Она не имела отчетливого представления, куда ей поехать; но в самый ответственный момент судьба, непривычно добрая, подтолкнула молодую женщину к новой стране и новой профессии. Ее тетушка написала ей из Вены о том, что ее отец (дед Анны), живший с нею несколько лет, скончался и она опять осталась одна. Она спрашивала Анну, не согласится ли та пожить с нею хотя бы несколько месяцев. Молодая женщина без колебаний приняла приглашение и, после грустного прощания с мадам Р. и ее мужем, отправилась

в Вену.

Встретившись лицом к лицу со своей тетей, впервые с тех пор, как была жива ее мать, она была охвачена одновременно и грустью, и радостью. Ее первым впечатлением было то, что ее приветствует мать, ставшая, по милости Божьей, женщиной средних лет[8]. Тетушка, в свою очередь, несомненно нашла в этой чувствительной и интеллигентной двадцатилетней молодой женщине немало черт, живо напомнивших ей ее сестру. У тети и племянницы сразу же завязались теплые отношения, и фрау Анна никогда не находила причин сожалеть о том, что покинула родную страну.

Как это часто случается, перемена обстановки вызвала перемены и в самой фрау Анне. Няня воспитала ее так, что она веровала, хотя и не всем сердцем, в католическую религию — вероисповедание с материнской стороны семьи. В годы юности она отошла от этого, но теперь, под влиянием тети, сделалась ревностной католичкой. Что касается более практических вопросов, то, опять-таки вследствие того, что она оказалась в теткином музыкальном окружении,

---

8 notes: 8

* Почти в буквальном смысле, так как они были однояйцовыми близнецами.

у нее обнаружились склонности и способности, обещавшие заполнить брешь, оставленную неудачной попыткой стать танцовщицей. Под руководством близкой тетиной подруги молодая женщина научилась играть на виолончели, и, к большому ее изумлению, открылось, что она очень одарена музыкально. Она делала такие успехи и схватывала все с такой быстротой, что ее преподавательница предсказывала, что через несколько месяцев она сможет стать виртуозной исполнительницей.

Через три года после приезда в Вену она играла в профессиональном оркестре, а также была помолвлена. Ее женихом был молодой адвокат из хорошей семьи, страстно увлекавшийся музыкой; он познакомился с нею на вечере в консерватории. Молодой человек обладал хорошими манерами, он был скромен и довольно застенчив (ее привлекало это сочетание качеств), и их привязанность друг к другу очень скоро окрепла. Тетя всецело одобряла его кандидатуру, и Анна хорошо ладила с его родителями. Он сделал ей предложение, и — после очень непродолжительной борьбы между стремлением к семейному счастью и мечтами о профессиональной музыкальной карьере — она его приняла.

Медовый месяц они провели в Швейцарии, а потом поселились в очень уютном доме. Тетя, их частая и желанная гостья, была счастлива при мысли о том, что появление внучатого племянника или племянницы скоро утешит ее во вновь обретенном одиночестве, — ей было известно, как сильно Анна хочет ребенка.

Единственной тучей на горизонте молодой четы были слухи о войне. Когда начались военные действия, ее мужа призвали на службу в армейский департамент юстиции. Их прощание было грустным, но утешало то, что он оставался вне зоны боевых действий и достаточно близко, чтобы часто наезжать домой. Они каждый день писали друг другу; кроме того, в городе, изголодавшемся по последним остаткам цивилизованной культуры, пациентка имела возможность плодотворно продолжать свою музыкальную карьеру. Надо сказать, что ее исполнительское искусство совершенствовалось с опытом и успех у публики становился все больше. Она общалась со своей тетей и множеством знакомых. В общем, если не учитывать основной невзгоды — разлуки с мужем, — она была при деле и довольна жизнью.

Как раз в то время, когда ее муж впервые должен был приехать домой в отпуск, у нее случился

рецидив задыхания, от которого она страдала в Одессе, а также появились боли в груди и брюшной полости, сделавшие профессиональную деятельность невозможной. Она потеряла всякое желание есть, и ей пришлось прекратить заниматься музыкой. Сообщив мужу о том, что заболела и теперь никогда не сможет сделать его счастливым, она вернулась в дом тети. Ее муж, исхлопотав отпуск по семейным обстоятельствам, явился умолять ее остаться с ним, но она была непреклонна. Сознавая, что он никогда не сумеет простить ей ту боль, которую она ему причиняла, она все же просила забыть о себе. Муж не оставлял попыток отвоевать ее обратно и лишь несколько месяцев назад согласился на официальный развод. На протяжении последних четырех лет фрау Анна жила почти в полном уединении. Тетя показывала ее многим врачам, но ни один из них не смог найти причину ее нездоровья или добиться какого-либо улучшения.

Такова была история, поведанная мне несчастной молодой женщиной. Она не проливала света на причину ее истерии. Правда, почва для развития невроза была очень богатой, особенно ранняя утрата матери и пренебрежение со стороны отца. Но если бы преждевременная смерть одного из

родителей и неисполнение родительского долга другим являлись достаточным основанием для развития истерии, таких случаев были бы многие тысячи. Что же в случае Анны было скрытым фактором, определившим возникновение ее невроза?

То, что имелось в ее сознании, было лишь тайной, но не чужеродным телом. Она и знала, и не знала. В некотором смысле ее разум пытался сообщить, нам, что именно у нее не в порядке, ибо подавляемая идея создает для своего выражения собственный символ. Душа истерика подобна ребенку, обладающему тайной, которой никто не должен знать, но о которой все должны догадаться. И он облегчает это, там и сям разбрасывая ключи к разгадке. Ребенок во фрау Анне явно призывал нас обратить внимание на ее грудь и яичник, причем именно на левую грудь и левый яичник, потому что бессознательное — это очень точный, даже педантичный символист.

Несколько месяцев я не мог добиться каких-либо ощутимых успехов в своих попытках помочь ей. Частично виной тому были обстоятельства, в которых приходилось работать: стояла зима, а создать доверительную атмосферу в нетопленой комнате, когда и пациент, и врач вынуждены

оставаться в пальто и перчатках, очень трудно[9]. Кроме того, анализ часто приходилось прерывать: ее боли порой становились настолько мучительными, что приковывали ее к постели. Удалось, однако, добиться некоторого улучшения аппетита; я сумел убедить ее питаться более основательно — в той мере, в какой высококалорийная пища была тогда доступна в городе.

Гораздо более решающим фактором, замедляющим наше продвижение к цели, было ее сильное сопротивление. Хотя и не настолько стыдливая, как большинство моих пациенток, она делалась скрытной до полного умолчания, если в ходе нашего обсуждения затрагивались ее сексуальные переживания и поведение. Самый невинный вопрос, например о детской мастурбации (феномен почти всеобщий), встречался полным отрицанием. Можно было подумать, что я обратился с этим вопросом к Святой Деве. Я обнаружил серьезные основания усомниться в некоторых неправдоподобных воспоминаниях, на которые она ссылалась и которые не предвещали успеха дальнейшему расследованию.

Она была ненадежной, уклончивой собесед-

---

9 notes: 9

* [После войны топлива для обогрева и освещения поставлялось отчаянно мало.– Ред.]

ницей, и я стал сердиться из-за пустой траты своего времени. Чтобы быть справедливым к ней, должен добавить, что довольно быстро научился отличать, когда она говорит правду, а когда не вполне искренна: пытаясь что-то утаить, она теребила свой крестик, как будто прося у Господа прощения. Таким образом, у нее была *склонность* говорить правду, пускай даже и основанная на предрассудке, и это заставляло меня упорно пытаться помочь ей[10]. Чтобы добиться от нее правды, приходилось расставлять ловушки, высказывая разного рода провокационные предположения. С переменным успехом мне удавалось заставить ее заглотить наживку, так что она или отказывалась от прежних своих слов, или излагала их в другой редакции.

Так было с ее рассказом о связи с А., студентом, в которого она была влюблена в Петербурге. Вначале она сообщила мне о нем лишь самые обыденные факты: например, что он учился на философском факультете, происходил из обеспеченной консервативной семьи, был на несколько лет старше ее и т. п. Она настаивала на том, что

10 notes: 10

* Однажды она сказала, что распятие досталось ей в наследство от матери. Итак, религиозное благоговение было усилено дочерней жалостью.

у них были «белые» отношения. Меня поразило использованное ею прилагательное, и я спросил, что у нее ассоциируется со словом «белый». Паруса яхты, сказала она; казалось, были все основания предположить, что имеется в виду яхта отца. Но в психоанализе никогда не следует спешить с умозаключениями: она вспомнила, как однажды она и другие члены их политического кружка в Петербурге — включая, конечно, и А. — отправились на прогулку по Финскому заливу. Стояла прекрасная летняя погода, и для нее было большим облегчением снова оказаться в море и передохнуть от «серьезных» разговоров, которые начинали ее утомлять и даже пугать. Она никогда раньше не чувствовала такой любви к А., а тот, как и всегда, был нежен и обходителен с нею. Им пришлось спать в одной каюте, но А. даже не попытался дотронуться до нее; их совесть осталась белой, как паруса яхты или белые ночи[11].

Тем не менее она теребила свой крестик, а на лице у нее было печальное выражение. Я резко сказал ей, что она говорит неправду и что я знаю, что они имели половую связь. Фрау Анна созналась, что несколько раз спала с ним, ближе

11 notes: 11

* Так называют долгие летние ночи на дальнем севере, когда дни разделяются лишь краткими периодами сумерек.

к концу их отношений; что он без конца молил ее об этом, пока наконец она не «пала» — по большей мере от усталости. Она употребила английский глагол («fall»); наш разговор шел по-немецки, но Анна довольно часто вставляла в речь иностранные выражения. Я давно приучился со вниманием относиться к их возможной значимости.

Я решил, как говорится, «выстрелить наудачу».

— Рад, что вы честны со мной, — сказал я ей.– Здесь нет ничего постыдного. Но почему, говоря об этом, вы не признаетесь, что понесли от него ребенка, которого потеряли, упав с лестницы?

Бедняжка боролась с собой, но затем признала мою правоту; только упала она не с лестницы, а во время занятий в танцевальной студии. Никто, кроме мадам Р., не знал и даже не подозревал об этом, и она была поражена тем, что я раскрыл ее тайну. Она спросила, как мне это удалось.

Я ответил:

— Ваш рассказ о том, что вы стали прибавлять в весе, звучал неправдоподобно. Полагаю, вам в любом возрасте оказалось бы трудно прибавить в весе, хотя это и пошло бы вам на пользу. Вы явно рассказывали мне о том, что случилось, пускай и косвенным образом, — потому что на самом

деле хотели, чтобы я знал об этом. Наверное, в вашем положении вы слишком долго продолжали заниматься танцами; вас очень тревожило это *прибавление в весе,* и вы не знали, что делать в такой неразрешимой ситуации.

Молчание молодой женщины свидетельствовало о том, что я попал в точку, и я радовался, что не довел свое истолкование до логического конца, — до того, что, продолжая усердно упражняться, она втайне от себя надеялась на такие последствия, более того — провоцировала их. Она была достаточно огорчена уже и тем, что грех ее юности оказался выставленным на свет.

С той поры, однако, она стала немного оживленнее и откровеннее, как будто, избавившись от бремени выдуманного совершенства, испытала облегчение. Вскоре после этого она даже позволила себе слегка пошутить. Когда она описывала мне одну из своих навязчивых галлюцинаций — о падении с высоты навстречу гибели, — ее глаза на мгновение сверкнули, и она заметила: «Но ребеночка у меня нет!»[12]

Однажды она рассказала мне свой сон. Обыкновенно спала она плохо и снов видела мало, что

12 notes: 12

* [В тексте обыгрывается немецкое слово «niederkommen», имеющее значения «падать» и «разрешаться от бремени».]

само по себе было одним из аспектов ее сопротивления анализу. Поэтому полное сновидение было долгожданной удачей, и я затратил немало усилий, чтобы понять его смысл. Вот этот сон в том виде, как его изложила фрау Анна:

Я ехала в поезде, сидя напротив читающего мужчины. Он втянул меня в разговор, и мне показалось, что он чересчур фамильярен. Поезд остановился на станции посреди пустынной местности, и я решила выйти, чтобы избавиться от него. Я удивилась, что там сошло еще много народу, – станция была крошечной и совершенно безжизненной. Но на платформе была надпись «Будапешт», и это все объясняло. Я проскользнула мимо билетного контролера, не желая показывать ему билет, потому что должна была ехать дальше. Перейдя через мост, я оказалась рядом с домом номер 29. Я попробовала открыть дверь своим ключом, но к моему удивлению, дверь не поддавалась, и я пошла дальше и пришла к номеру 34. Хотя ключ никак не поворачивался, дверь открылась сама собой.

Это был маленький частный отель. В прихожей сушился серебристый зонтик, и я подумала, что там остановилась моя мать. Наконец вышел пожилой господин и сказал: «В доме никого нет». Я достала из кармана пальто телеграмму и вручила ее ему. Мне было его жаль, потому что я знала, о чем там говорится. Он страшным голосом произнес: «Моя дочь умерла». Он был так потрясен и несчастен, что я почувствовала, что больше для него не существую.

Впервые услышав этот сон, я встревожился, потому что он говорил о том, что сновидица вполне способна положить конец своим невзгодам, совершив самоубийство. Поездки в поезде сами по себе являются сновидениями о смерти, а в данном случае все усугублялось тем, что она сошла «до своей остановки» и «посреди пустынной местности». То, что она проскользнула мимо контролера, явно было намеком на порицание самоубийства; мост был еще одним символом смерти. В определенном смысле, сон фрау Анны не мог быть яснее; но я также чувствовал, что в нем содержалось множество подробностей

более личного характера. Поэтому я попросил ее разбить свой сон на мелкие эпизоды и рассказать мне, что происходило с ней в жизни в связи с тем или иным из них. Она имела некоторый опыт в толковании сновидений, так как ей уже приходилось анализировать несколько незначительных примеров; более того, поскольку она была на редкость понятливой, я поощрял ее желание ознакомиться с некоторыми из моих предыдущих случаев.

— Кое-что происходило, — сказала она, — но не может иметь отношения к этому сну, — все было очень давно и, по правде говоря, ничего важного для моей жизни не представляло.

— Не имеет значения, — сказал я.– Выкладывайте!

— Что ж, ладно. Мне кажется, что мужчина в поезде напомнил мне одного попутчика, докучавшего мне, когда я ехала из Одессы в Петербург, чтобы попытаться жить самостоятельно. Это было — сколько? — двенадцать лет назад, и я обо всем совершенно забыла. Я не особенно испугалась, потому что вокруг было много народу. Он наклонился ко мне и говорил без умолку, причем довольно недвусмысленно: расспрашивал, что я собираюсь делать по приезде в Петербург, и

предлагал свои услуги в поисках жилья. Я просто разозлилась и в конце концов перешла в другое купе.

Я спросил, не случилось ли с ней недавно что-то такое, что могло бы навеять сновидение о том эпизоде; посоветовал припомнить некоторые подробности, например какую книгу читал ее попутчик во сне.

— Ну, собственно говоря, я вспоминаю, что молодой человек в петербургском поезде так докучал мне, потому что лез с разговорами, когда *я сама* пыталась углубиться в книгу. Это был Данте, и мне надо было сосредоточиться, чтобы понимать, о чем речь, — я тогда не очень хорошо читала по-итальянски. Теперь, когда вы об этом упомянули, мне кажется, что сон имеет какое-то отношение к моему брату.

Здесь я прервусь, чтобы сказать о том, что фрау Анна незадолго до этого пережила довольно волнующее событие. Ее брат вместе со своей женой и двумя детьми решил покинуть Россию, ввергнутую в революционный хаос, и эмигрировать в Соединенные Штаты; по пути туда они остановились в Вене, чтобы, по сути, поздороваться и снова распрощаться с Анной и ее тетей. Пациентка несколько лет не виделась с братом, а теперь они

могли никогда больше не встретиться. Вопреки тому или даже в силу того, что они никогда не были очень близки между собой, воссоединение и новая разлука удручали Анну еще сильнее.

— Когда мы прощались на вокзале, брат, чтобы скрыть неловкость, стал подбирать себе в дорогу книги. Помню, я подумала о том, что «Новая Жизнь» Данте оказалась бы очень кстати, только мой брат не интересуется классикой, он весьма практичен. Он купил себе несколько триллеров. Да и все равно, нелепо было думать, что в вокзальном киоске можно купить Данте.

Я начинал понимать, по какому руслу шло ее сновидение. Напомнив о номерах на домах, я спросил, что, по ее мнению, они могли означать.

Она усиленно размышляла, но призналась, что зашла в тупик.

— Может быть, дело в том, что вам самой двадцать девять лет? — предположил я.– А ваш брат — на сколько он старше? На пять лет?

Фрау Анна согласилась, удивленная математической логикой сна.

— Вначале вы остановились у двери своего собственного дома. Ключ должен был подойти, но не подошел. Вместо этого вы сумели войти в номер 34 — так сказать, в жилище своего брата. Там вы

были лишь гостьей, поэтому вам оно предстало как частный отель.– Я спросил, узнала ли она человека, который вошел в комнату, и напомнил ей его слова: «В доме никого нет».

Спустя какое-то время она сумела разобраться в своих ассоциациях. Ее брат довольно бестактно заметил о том, как был расстроен их отъездом отец, — ведь он участвовал в его деле и, женившись, продолжал жить вместе с ним. Фрау Анна вспомнила, что тогда она с горечью подумала, насколько одиноким будет *теперь* чувствовать себя отец в опустевшем доме; в то же время он никогда не выражал ни сожаления по поводу ее отъезда, которое выходило бы за рамки общепринятых условностей, ни острого желания вновь с ней увидеться.

К этому моменту у меня сложилось совершенно отчетливое понимание ее сновидения. То, что ее брат вместе с женой и детьми уезжал по направлению к *новой жизни,* контрастировало с ее собственным ощущением достигнутого тупика или, точнее, отсутствия цели в ее путешествии. Брат всегда мог быть уверен в том, что он отцовский любимец, и знал, куда едет, в отличие от Анны, чья детская поездка в далекий город явно была последней отчаянной попыткой заставить

отца заметить ее существование. Он оказался совсем не прочь позволить своей невинной дочери сражаться с физическими и моральными опасностями — будучи преследуемой настойчивым молодым человеком в поезде.

Я предположил, что в ее сне перемешались две фантазии. Если бы отец получил телеграмму о ее смерти, он, может быть, пожалел бы наконец о ней. Но бок о бок с этим желанием, не столько противореча ему, сколько усиливая его трагизм, было желание никогда не рождаться — как девушке, как Анне. Если бы только она могла оказаться на месте брата! Она окончила путешествие на поезде, которое символизировало ее собственную судьбу, чтобы вступить в невозможное бытие в качестве своего брата. Белая комната в частном отеле означала чрево ее матери, которая лишь ожидала прихода отца Анны, чтобы зачать ребенка мужского пола. Зонтик, сохший в прихожей, символизировал исполнивший свои обязанности мужской орган. Отец приносил новую жизнь, потому что *без сына* «в доме никого нет». Анна умерла — покончив с собою или в результате мер, предупреждающих зачатие, не имело значения, из-за чего именно, — и его это не волновало. Его потрясение и горе были только

воплощением ее желания. Ее сон знал об этом тоже: она для него «не существовала».

Молодая женщина была поражена своим печальным видением и не намеревалась обсуждать мое толкование более подробно — за исключением одного обстоятельства прискорбного характера, о котором у нее не хватило духу рассказать мне сразу и о котором я сам умолчу до более подходящего времени. Во всяком случае, оно не меняло общего значения, которое было вполне очевидным.

Когда я в процессе обсуждения стал расспрашивать ее о характере чересчур фамильярных знаков внимания, оказывавшихся ей молодым человеком в поезде, она вспомнила забытый отрывок. Она не думала, чтобы новый материал представлял какую-то важность, но я знаю из опыта, что элементы сновидений, которые сначала забываются, а потом вспоминаются снова, относятся к числу наиболее существенных. Так оказалось и в этом случае, хотя значение фрагмента прояснилось лишь на гораздо более поздней стадии анализа.

Я сказала молодому человеку, что еду в Москву навестить Т-вых, а он ответил,

что они не смогут поселить меня в доме и ночевать мне придется в беседке. Он добавил, что там очень жарко и я буду вынуждена снять с себя всю одежду.

Т-вы, объяснила она, были ее дальними родственниками со стороны матери, жившими в Москве. Ее мать и тетя в юности проводили вместе с ними каникулы, а после того, как мать Анны вышла замуж, между ними сохранились близкие отношения. Фрау Анна не была с ними знакома, но, судя по словам тети, это была сердечная и гостеприимная пара. Собственно, тетя упомянула о них как раз накануне: она с грустью вспоминала о проведенных там каникулах и жалела, что не может познакомить с ними Анну, так как была уверена, что смена обстановки была бы для ее племянницы крайне полезна. Но теперь они уже состарились, а возможно, даже не пережили всех невзгод.

На мой взгляд, этот фрагмент сновидения выражал страстное желание молодой женщины освободиться от печальных оков своей теперешней жизни и вновь обрести потерянный рай тех лет, что она прожила с матерью, то есть снова скинуть с себя платье в беседке– домике, предна-

значенном для блаженно жарких летних дней и ночей. Она не возражала против такого толкования, а заодно вспомнила о тех далеких днях, думать о которых казалось ей теперь и забавным, и трогательным.

Их дом в Одессе располагался среди многих акров субтропических деревьев и кустарников, сбегавших вниз к самому берегу моря. Там был крохотный частный пляж. Беседка находилась посреди небольшой рощицы в отдаленной части сада. Прежние владельцы допустили, чтобы она разрушилась, и в итоге ею почти не пользовались. В один из дней, отмеченных палящим зноем, все разбрелись по саду и дому. Отец Анны был, скорее всего, на работе, а брат, как ей казалось, на весь день куда-то уехал с друзьями. Анне было жарко и скучно, она вяло играла на пляже, где ее мать стояла возле мольберта, а это означало, что ее нельзя беспокоить. В такие моменты Анну не раз ругали за болтовню, поэтому она решила найти тетю и дядю. Она побрела через сад и в конце концов вышла к беседке. Она обрадовалась, увидев внутри дядю и тетю, но они вели себя непонятно; плечи тети были обнажены (хотя обычно она прикрывала их от солнца), а дядя обнимал ее. Объятие все не кончалось, они

были настолько поглощены друг другом, что не заметили, как Анна вышла из-за деревьев. Она скользнула обратно и вернулась на пляж, чтобы рассказать матери о странном происшествии, но мать оставила мольберт и улеглась на плоской скале; она, казалось, спала. Девочка знала, при каких обстоятельствах ей ни в коем случае не следует беспокоить мать: когда та рисует, а пуще того — когда спит. Поэтому, разочарованная, она побрела обратно в дом, чтобы выпить лимонаду.

Что мог я сделать с этим воспоминанием? Оно в большой степени было окрашено взглядом взрослой женщины, но это не доказывало, что мы имели дело с фантазией. Я сомневаюсь, что мы когда-либо имеем дело с воспоминаниями *детства;* воспоминания, *связанные с детством,* — вот, пожалуй, единственное, чем мы располагаем. В наших детских воспоминаниях юные годы предстают не такими, какими они были, а такими, какими видятся нам в более поздний период жизни, когда вызываются из памяти. Молодую женщину позабавило явившееся ей воспоминание о впервые увиденном проявлении взрослой сексуальности; в то же время она была тронута, узнав как бы впервые о нежной близости между тетей и дядей в праздничной атмосфере летнего

отдыха в Одессе, тем более что теперь тете больно было говорить о тех временах.

Я, однако, счел необходимым спросить ее, не явилась ли она свидетельницей чего-то большего, чем то, что ей вспомнилось. Если да, значит, память не давала ей продвинуться дальше; все же казалось крайне маловероятным, чтобы молодая супружеская чета, которая вполне могла укрыться у себя в комнате, стала подвергать себя риску оказаться в столь неловком положении. Как бы то ни было, проявление этого воспоминания в сновидении фрау Анны указывало на его важность. Было не исключено, что оно имело отношение к ее истерии; ведь те, кто окаменел от взгляда Медузы, всегда видели ее прежде, чем могли узнать ее имя.

Последующие дни и недели не принесли особого прояснения. Виной тому были, по всей вероятности, и пациент, и врач. Что касается фрау Анны, она полностью укрылась за своими оборонительными сооружениями, порой используя обострение своих симптомов в качестве предлога не являться ко мне на прием. Справедливости ради надо сказать, что боли ее были невыносимыми. Она умоляла меня устроить операцию, чтобы ей удалили грудь и яичник. Я, со своей

стороны, должен признать, что все сильнее раздражался тем, как мало получал от нее помощи. Более того, я заразился ее безразличием. Рассказывая однажды о том, как она бросила кусок мяса собаке на улице, а та оказалась слишком слабой и истощенной, чтобы к нему подползти, фрау Анна заметила, что и сама чувствует себя очень похоже. Я обнаружил, что порой вообще избегаю заниматься анализом и лишь просто убеждаю ее не помышлять о самоубийстве. Я подчеркивал, что самоубийство — это только замаскированная форма убийства; но это будет бесполезной попыткой, которая вряд ли окажет какое-либо воздействие на предполагаемую жертву — ее отца. Фрау Анна сказала, что лишь невыразимые боли порой заставляют ее помышлять о том, чтобы покончить с ними таким способом. При этом она была вполне разумна и рассудительна. Если бы не ее изнурительные боли, никто не принял бы ее за истеричку. В этом крылось что-то непроницаемое, что усиливало мое раздражение. Я подумывал использовать ее скрытность в качестве предлога прекратить лечение; и все же не мог заставить себя так поступить, поскольку, несмотря ни на что, эта молодая женщина обладала характером, сообразительностью и

внутренней правдивостью.

Затем произошло прискорбное событие, предоставившее мне превосходный повод прервать лечение: внезапная, совершенно неожиданная смерть одной из моих дочерей[13]. Возможно, подавленное настроение, в котором я находился на протяжении нескольких предшествовавших недель, было подготовкой к этой трагедии. О таких событиях не следует слишком много размышлять; впрочем, человек, склонный к мистицизму, вполне мог бы спросить, какая тайная травма в сознании Создателя преобразовалась в симптомы боли, повсюду нас окружающей. Поскольку такой склонности у меня нет, я мог назвать это только Роком и Ананке[14]. Вернувшись к своим обязанностям, я обнаружил письмо от фрау Анны. Помимо соболезнований по поводу моей утраты и сообщения о том, что они с тетей ненадолго отправляются в Бадгастайн[15], в ее

13 notes: 13

* [Имеется в виду вторая дочь Фрейда, двадцатишестилетняя Софи, умершая в Гамбурге 25 января 1920 года. После нее осталось двое детей, одному из которых было только тринадцать месяцев.]

14 notes: 14

* Ананке (Ананка) — в греческой мифологии богиня необходимости. (Примеч. пер.)

15 notes: 15

* [Популярный курорт в Австрийских Альпах.]

письме упоминался тот самый сон, что снился ей за несколько недель перед этим. «Меня очень встревожил элемент предсказания в моем сновидении. Я не стала бы об этом упоминать, если бы не была уверена, что он не ускользнул и от Вашего внимания. В то время я была почти убеждена, что человеком, получившим телеграмму, были Вы (по крайней мере, отчасти), но не хотела понапрасну Вас огорчать, зная, с какой нежностью относитесь Вы к своим дочерям. Я давно уже подозреваю, что, помимо всех прочих невзгод, на мне лежит проклятие того, что называют вторым зрением. Я предвидела, что двое моих друзей погибнут на войне. Скорее всего, я унаследовала это со стороны матери, по-видимому, сказывается примесь цыганской крови; но этот дар не доставляет мне радости — совсем наоборот. Надеюсь, это не огорчит Вас еще больше». Я никак не мог прокомментировать «предсказание» фрау Анны, разве что заметить, что печальные известия часто (хотя и не всегда) доставляются телеграфом. Казалось правдоподобным, что чувствительный разум пациентки разглядел мою обеспокоенность, скрытую глубоко в подсознании, судьбой дочери, живущей с маленькими детьми вдали от меня в то время, когда повсюду так много

эпидемий.

То, что произошло по возвращении Анны из Гас-тайна, было совершенно неожиданно и нелогично. Настолько, что если бы я был романистом, а не ученым, то не решился бы оскорбить художественный вкус своих читателей описанием следующей стадии нашей терапии.

Она опоздала на пять минут и влетела с таким беззаботным видом, как будто просто хотела поздороваться, чтобы тут же отправиться с подругой в театр или по магазинам. Она говорила без умолку, твердым, отчетливым голосом безо всяких признаков одышки. Она поправилась килограммов на восемь и, таким образом, обрела — или вернула — все атрибуты женской привлекательности. На щеках у нее был румянец, в глазах — искорки. На ней было новое, весьма вызывающее платье, а новая прическа была ей очень к лицу. Коротко говоря, передо мной предстала не болезненно истощенная и подавленная женщина, какую я ожидал увидеть, но привлекательная, слегка кокетливая молодая дама, пышущая энергией и здоровьем. Ей даже не понадобилось сообщать мне о том, что все ее симптомы исчезли.

Я часто проводил отпуска в Гастайне, но нико-

гда не видел, чтобы его термальные источники вызывали столь чудодейственные преображения. Именно это я и сказал, сухо добавив, что мне, пожалуй, следует отказаться от своей практики и вместо этого содержать там отель. Она буквально зашлась от смеха; затем, вспомнив о постигшей меня утрате, приняла покаянное выражение, сожалея о своей бездумной веселости. Я заверил, что ее хорошее настроение для меня как бальзам. Однако скоро стало очевидно, что она не избавилась от истерии, — та просто изменила свою направленность[16]. Если до этого болезнь истощала ее телесные силы жестокими болями, оставляя разум нетронутым, то теперь она отпустила ее тело, но захватила разум. Ее безудержная разговорчивость вскоре дала мне знать об овладевшей ею дикой иррациональности. Ее веселость была отчаянным юмором солдат, шутящих в окопах; попытки же участвовать в более или менее пространных обсуждениях приводили ее к сновидческим монологам, почти к гипнотическому трансу. Прежде она была несчастна и разумна, теперь стала счастливой и помешанной.

---

16 notes: 16

* В действительности территория была очищена от противника. То, что мы видели, было отчаянными попытками истерии вернуть ранее захваченное.

Речь ее изобиловала плодами воображения и галлюцинаций; временами это была не столько речь, сколько оперный речитатив, приподнятый и лирико-драматический. Следует добавить, что, устроившись в оркестр одного из наших ведущих оперных театров, она целиком посвящала себя искусству[17].

Казалось, фрау Анна не отдавала себе отчета, какое она производит впечатление, и оставалась счастливо убежденной в своем полном выздоровлении. Не сумев ничего понять из ее рассказа о пребывании в Гастайне, я предложил ей изложить свои впечатления на бумаге. Прежде она не раз охотно принимала подобные предложения, поскольку имела вкус к литературе и обожала писать — была, к примеру, заядлой сочинительницей писем. Тем не менее я оказался совсем не готов к новому литературному произведению Анны, с которым она явилась на следующий день. Видно было, что она колеблется, стоит ли вручать мне принесенную с собой книгу в мягкой обложке. Это оказалась партитура моцартовско-

17 notes: 17

* [Собственно говоря, героиня «фрау Анны Г.» была оперной певицей, а не инструменталисткой. Замена была продиктована желанием Фрейда сохранить ее инкогнито, хотя он всегда сожалел, если бывал вынужден отступать от фактов, даже от самых обыденных подробностей.]

го «Дон Жуана». Как я обнаружил, она вписала свои «впечатления» от Гастайна между нотными линейками — как некий вариант либретто; и даже попыталась выдержать ритм и некоторое подобие рифмы, так что ее рукопись читалась как неуклюжие вирши. Но если бы версия Моцарта, предложенная фрау Анной, была исполнена в одном из наших оперных театров, управляющий был бы привлечен к ответственности за оскорбление общественной нравственности, — она была порнографической и лишенной всякого смысла. Она употребляла выражения, которые можно услышать лишь в трущобах, бараках и мужских клубах. Я недоумевал, где она научилась таким словам, поскольку не считал ее завсегдатаем тех мест, где их произносят.

На первый взгляд, мало что можно было почерпнуть из ее творения; очевидными были лишь некоторые ссылки на ее галлюцинации и откровенное признание в перенесении[18]. В ее фантазии место Дон Жуана занял один из моих сыновей — вряд ли есть необходимость пояснять, что она не была с ним знакома. Было достаточно

18 notes: 18

* Перенос пациентом на психоаналитика чувств, испытываемых им к другим людям, как правило, к родителям, т. е. проекция раннедетских установок и желаний в отношении родителей на другое лицо.

ясно, что она выражает желание занять место одной из моих дочерей — путем замужества. Когда я поставил ее перед этим выводом, Анна довольно смущенно сказала, что это была лишь шутка, «чтобы немного меня развеселить».

Находя слишком затруднительным иметь дело с потоком иррациональных образов, я попросил ее пойти и попытаться самой отстраненно и трезво проанализировать на бумаге свой материал. Она не без оснований восприняла мою просьбу как укор, и мне пришлось заверить ее в том, что ее «либретто» показалось мне очень интересным. Через несколько дней она вручила мне школьную тетрадку, исписанную ее размашистым почерком. Затаив дыхание (в буквальном смысле, поскольку испытывала легкий рецидив астматических симптомов), она ждала, пока я бегло просмотрю несколько страниц. Я увидел, что вместо того, чтобы написать истолкование, как я ее просил, она предпочла расширить свою первоначальную фантазию, расцвечивая каждое второе слово, так что я, казалось, не получил ничего, кроме достойной Геракла задачи прочесть еще более объемный и неразборчивый документ. Хотя она в какой-то мере смягчила грубость сексуальных описаний, здесь по-преж-

нему властвовал эротический поток, *наводнение* иррационального и чувственного; волны не были столь же высокими, но покрывали гораздо более обширное пространство. Итак, я имел дело с воспламененным воображением, не знавшим границ, наподобие инфляции в те месяцы — когда чемодана банкнот не хватало и на буханку хлеба. Целый час прошел совершенно бесплодно, после чего я пообещал внимательно прочесть ее труд на досуге. Когда я это сделал, то начал различать смысл, скрытый под кричаще расцвеченной маской. Многое было чистейшим воплощением желаний, безвкусным, если не отвратительным; но наряду с этим то тут, то там встречались отрывки, написанные не без печати одаренности и настоящего чувства: описания природы «океанического» толка, перемешанные с эротическими фантазиями. Нельзя было не вспомнить слова поэта:

Влюбленные, безумцы и поэты –
Все из фантазий созданы одних...[19]

К этому времени я уже бережно хранил эту тетрадку, которая, как я убежден, могла бы научить

---

19 notes: 19

* [Шекспир. Сон в летнюю ночь.]

нас очень многому, если бы мы только были в состоянии все в ней правильно истолковать.

Существует шутливая поговорка: «Любовь — это тоска по дому»; и когда человеку грезится местность или страна и он говорит себе, все еще грезя: «Мне эти места знакомы, я бывал здесь прежде», — его ощущения могут быть истолкованы как память о гениталиях или теле своей матери. Все, кто до сих пор имел возможность в познавательных целях ознакомиться с дневником фрау Анны, испытывали именно это чувство: «белый отель» им знаком, это тело их матери. Это место, где нет греха, лишенное нашего бремени раскаяния, — ведь пациентка сообщает нам, что потеряла по пути чемодан и приехала даже без зубной щетки. Отель говорит языком цветов, запахов, вкусовых ощущений. Нет необходимости пытаться применить к его символам жесткую классификацию, как пытались это делать некоторые из моих учеников: утверждать, к примеру, что вестибюль — это полость рта, лестница — пищевод (или, по мнению других, половой акт), балкон — грудь, окружающие ели — волосы на лобке, и так далее; гораздо существеннее общее настроение белого отеля, его искренняя готовность к оральным действиям —

сосать, кусать, есть, жадно глотать, вбирать в себя — со всем блаженным нарциссизмом младенца, приложенного к груди. Здесь присутствует океаническое одиночество первых лет человеческой жизни, аутоэротический парадиз, карта первой нашей страны любви — набросанная со всей *belle indifference*[20] истерии.

Как мне казалось, это свидетельствовало о глубочайшей идентификации Анной себя со своей матерью, что предшествует Эдипову комплексу. В такой идентификации для меня не было ничего особенно удивительного, за исключением степени ее интенсивности в данном случае. Грудь — это первый объект любви; ребенок, сосущий материнскую грудь, стал прототипом любой любовной связи. Нахождение объекта любви на пубертатной стадии есть не что иное, как повторное его обретение. У матери, добродушной и любящей удовольствия, Анна унаследовала пожизненный аутоэротизм[21], и потому ее днев-

20 notes: 20

* Блаженной безразличностью (фр.). (Примеч. пер.)

21 notes: 21

* Имеются также свидетельства того, что минимумом подавления мать помогала дочери и на более поздних стадиях. Отрывки в дневнике намекают на то, что Анна обладала здоровым и скромным пониманием того, что генитальный аппарат остается по соседству с клоакой и (если процитировать Лу-Анд-реа Саломе) «у женщины даже только позаимствован у нее».

ник представляет собой попытку вернуться в то время, когда оральный эротизм главенствовал над всем остальным, а связь между матерью и ребенком была нерушимой. Таким образом, в «белом отеле» нет разделения между Анной и внешним миром; все поглощается им целиком. Вновь рожденное либидо превосходит все потенциальные опасности, как описанная ею черная кошка, головокружительно ускользающая от смерти. «Хорошая» сторона белого отеля в его щедрости и радушии.

Но ни на миг нельзя пренебрегать тенью разрушительности, и менее всего — в моменты наивысшего наслаждения. Всеблагая мать собиралась поехать в обреченный отель.

Теперь мне казалось смехотворным, что я совершенно ничего не знал об Анне, за исключением того, что она страдает истерией. Возник и второй парадокс: чем больше я убеждался в том, что «Гастайнский дневник» является замечательно отважным документом, тем стыднее становилось Анне за то, что она написала столь отвратительное сочинение. Она понятия не имела, где ей приходилось слышать столь грубые выражения, равно как и то, почему она сочла возможным их употребить. Анна умоляла меня

уничтожить ее писания, потому что это были только дьявольские обрывки, порожденные «бурей в голове» — которая сама по себе была вызвана радостью освобождения от боли. Я сказал ей, что меня интересует лишь проникновение к истинам, которые, как я был уверен, содержались в ее замечательном документе, и добавил, что очень рад тому, что ей удалось ускользнуть от цензора[22], от кондуктора, по пути к белому отелю!

Лишь с очень большой неохотой молодая женщина согласилась пройтись вместе со мной по своему повествованию, останавливаясь там, где у нее возникали какие-либо ассоциации. Ее легкий рецидив одышки миновал, она была уверена, что полностью излечилась, и не понимала, почему я настаивал на продолжении анализа. К счастью, эффект перенесения заставлял ее с неохотой думать и о прекращении своих визитов ко мне.

— Белый отель — это место, где мы остановились, — начала она.– Я люблю бывать в горах, это такое облегчение после венской неприглядности; но мне хотелось, чтобы было еще и озеро, боль-

---

22 notes: 22

** В психоанализе — образное представление тех сил, которые стремятся не допустить в сознание бессознательные мысли и желания. (Примеч. пер.)

шое, — возле воды я себя свободнее чувствую. В отеле был зеленый плавательный бассейн, вот я и дала ему разрастись в озеро! Большинство персонажей — постояльцы отеля. Там была невообразимая смесь — люди, после войны пытающиеся восстановить свои привычки, так я полагаю. Например, там *был* английский офицер, с очень прямой спиной, очень обходительный, он был контужен снарядом во Франции. Он писал стихи и показал мне одну свою книжку. Меня это очень удивило, хотя стихи оказались не особенно хороши, насколько я могу судить об английском. Он все время упоминал о своем племяннике, который тоже должен был приехать, чтобы покататься на лыжах. Но я слышала, как кто-то говорил, что его племянник погиб в окопах. Однажды этот майор созвал нас на собрание и сказал, что мы под угрозой нападения. Я подумала, что смогу сочинить из этого забавную сцену — потому что, в конце концов, вокруг нас столько всего непонятного, например осенние листья или падающие звезды.

Я перебил ее, спросив, не было ли в ее детстве чего-то такого, из-за чего она так часто сравнивает падающие звезды с цветами.

— Что вы имеете в виду?

— Я помню, вы как-то говорили, что медузы под водой похожи на голубые звезды.

— Ах да! Я обычно первым делом бегала по утрам на пляж, посмотреть, сколько медуз[23] наплыло к нам за ночь. Да, конечно, с этим связано очень многое из моего прошлого. У нас в Одессе горничной была маленькая японка; когда она вытирала пыль или полировала мебель, то часто рассказывала мне хокку — это такие маленькие стихотворения. Мне как-то подумалось, что было бы замечательно, если бы она подружилась с майором-англичанином из Гастайна, ведь они оба были одиноки и любили стихи. Майор был таким грустным, когда просил кого-нибудь сыграть с ним в бильярд. Это все смесь прошлого и настоящего, как и я сама. Например, русский — это мой друг из Петербурга, как я себе его сейчас представляю. Он далеко пошел, я видела его имя в газетах.

Я заметил, что портрет его вышел весьма сатирическим.

— Понимаете, он меня оставил. А если точнее, он оставил себя самого, потому что, когда мы

---

23 notes: 23

* Фрау Анна употребила здесь русское слово; это еще один пример случающихся время от времени вкраплений в ее речь иностранных слов, что необходимо особо отметить.

познакомились, в нем было очень много хорошего: он мог быть влюбленным и нежным, даже застенчивым. Вот почему я его любила.

Фрау Анна остановилась, чтобы перевести дыхание, затем продолжала:

— В отеле было полно эгоистов. Они и вправду продолжали бы пописывать свои веселенькие открыточки, если бы отель сгорел, конечно, не попади *они сами* в огонь.

(Здесь имеется в виду часть ее дневника, написанная в форме тех открыток банального рода, какие так часто отправляют знакомым, находясь на отдыхе.)

— Там был цыганский оркестр и бледный, как сыворотка, пастор-лютеранин, а еще чудесный человечек, над которым все смеялись, потому что он был всего лишь владельцем пекарни и говорил по-простонародному; еще была большая семья из Голландии. Только старый голландец не был ботаником. Горная паучья травка — это небольшой подарок для вас– Она покраснела, улыбаясь.– Я знаю, как вы любите разные редкие штучки, вот и полистала книгу о горных растениях, и это показалось мне самым редким.

— А как насчет отставной проститутки? — спросил я.– Она тоже была в отеле?

— Нет. Или, скорее, да. Это я.

— Как это понимать?

Помедлив, она сказала:

— Я не могла совладать со своими мыслями.

Я заметил, что если неумение совладать с мыслями является безнравственным, то все мои пациентки, все самые уважаемые венские дамы в той же мере являются проститутками. Я добавил, что с большим уважением отношусь к откровенности ее признания, которое требует большого мужества.

Через две или три недели после того, как мы возобновили анализ, симптомы фрау Анны вернулись в полной силе. Это оказалось для нее тяжелым ударом. Я сказал ей, что не удивлен и что она не должна отчаиваться. Как я и предупреждал, ремиссии случаются довольно часто, но симптомы будут возвращаться снова и снова, если мы не доберемся до истоков ее истерии. С большей уверенностью, чем чувствовал сам, я убеждал ее, что мы все ближе продвигаемся к свету в конце тоннеля.

Перечитывая ее дневник, я вновь был поражен буйной и бесстыдной энергией сексуальности. Я спросил ее, были ли у нее отношения с кем-нибудь еще, помимо студента А. в Петербурге и

ее мужа, и она ответила подчеркнуто отрицательно.

В таком случае ее половая жизнь ограничивалась краткой связью в восемнадцать лет и несколькими месяцами в начале ее замужества. Я не мог не заподозрить, что эта женщина, безусловно очень страстная и способная к сильным чувствам, не могла одержать победу над своими сексуальными потребностями без жестокой борьбы и ее попытки подавить этот самый мощный изо всех инстинктов привели ее к серьезному умственному истощению.

Пора было решительно браться за центральную нарциссическую страсть, описанную в ее дневнике. Потому что, используя аналогию с ее любимым видом искусства, можно было сказать: в пределах театра материнского тела только два значительных персонажа пели на сцене свой любовный дуэт, как бы много вспомогательных фигур ни было между ними. Так, по крайней мере, мне это представлялось.

О своем муже, с которым она давно не поддерживала никаких отношений, фрау Анна всегда говорила так, что с уверенностью можно было заключить: она его по-прежнему любит. Она ни в малейшей степени не обвиняла его в том, что

они расстались; он для нее во всех отношениях был замечательным: верным, предупредительным, великодушным и мягким. Ответственность за разрыв целиком лежала на ней, но причина, которую она постоянно выдвигала, была явной отговоркой: она, дескать, больше всего на свете хотела рожать ему детей, но пришла к убеждению, что, если у нее когда-либо будет ребенок, это не принесет ничего, кроме горя. Хотя она чувствовала угрызения совести за то, что сделала своего мужа несчастным, было бы намного хуже отказывать ему в его праве на потомство. Хорошо еще, говорила она, что они по ее настоянию практиковали *coitus interruptus*[24]*;* это значит, что он может аннулировать свой брак и жениться на ком-нибудь, кто принесет ему счастье. Она не хотела или не могла рассказать обо всем подробнее, и нет нужды говорить, что я нисколько не был удовлетворен ее объяснением.

Считая, что нарциссические фантазии дневника Анны могут быть очень тесно связаны с ее замужеством, я однажды спросил ее, кого она подразумевала под изображенными ею любовниками.

---

24 notes: 24

* Прерванное соитие (лат.). (Примеч. пер.)

— Помимо того, что молодой человек был моим сыном! — добавил я.

Но ее оборона была все еще прочна. Она настаивала на том, что моделью для ее любовников послужила чета новобрачных, которые приехали провести медовый месяц в Гастайне. Нескромно ведя себя на людях, они стали притчей во языцех. Горничные жаловались, что они по утрам очень долго спят; на экскурсии же они вели себя совершенно скандально, причем прямо под носом у Анны и ее тети, хотя надо признать, что не настолько скандально, как любовники в ее дневнике. Их поведение ее и потрясло, и позабавило; но молодая пара еще и тронула ее до глубины души, потому что ее дар Кассандры подсказал ей, что молодому мужу жить осталось недолго.

— А *вас* в юной даме нет вовсе? — спросил я с иронией.

— Естественно, есть! Я же вам говорила.

— Со своим мужем.

— Не совсем. В основном я думала о тех новобрачных.

Она теребила свой крестик.

— Ну конечно! Дальше вы мне скажете, что ваши новобрачные подружились с корсетницей и пригласили ее к себе в постель!

— Нет, конечно же, нет! Скорее всего, это была мадам Р.

Это не явилось неожиданностью — она всегда с исключительной теплотой говорила о своей петербургской подруге и наставнице. Я спросил ее, почему она сделала мадам Р. корсетницей.

— Потому что она всегда подчеркивала значение дисциплины, если вы хотите чего-нибудь добиться в балете. Самодисциплина, доходящая до боли.

— Так белый отель...

— Это просто моя жизнь, понимаете! — перебила она несколько раздраженно, как бы желая вместе с Шарко сказать: «Ja n'empeche pas d'exister »[25].

— А ваша подруга была склонна к легкомысленным приключениям? — спросил я.

— Ни в коем случае! Ведь она еврейка, обращенная в православие, а вы знаете, что более ревностных христиан не бывает!

Фрау Анна добавила, что много думала о замужестве своей подруги (надеясь, что они здоровы и счастливы в эти мрачные времена) и о мисти-

---

25 notes: 25

* [Одна из любимых цитат Фрейда. Полностью высказывание Шарко звучит так: «La theorie c'est bon, mais 5a n'empeche pas d'exister» (Теория хороша, но не мешает существованию вещей).]

ческой образности Песни Песней.

— Из них получилась идеальная пара. Счастье, что она нашла себе такого замечательного мужа. Он уже, конечно, немолод, но некоторые мужчины к старости делаются привлекательнее.

Возбужденная, она умолкла, и я спросил ее, не могло ли между ней и мадам Р. появиться какое-либо соперничество. Когда она отрицала это предположение, ее хрипота и одышка усилились, а рука непроизвольно прижалась к груди. Я напомнил, что их сближение очень ее удивило.

— Вы никогда не думали, что его интерес направлен на вас, фрау Анна?

Она не ответила, но покачала головой, пытаясь вздохнуть.

— Но разве вас не оттолкнула в сторону эта дама, в вашем дневнике? — настаивал я.– В вашу постель вторглась соперница, разве не так?

— Ничего подобного! — ответила она со страданием в голосе. Вслед за этим, находясь в болезненном состоянии, она допустила удивительное признание: — Если хотите знать, это написано о нашем с мужем медовом месяце. Здесь вы правы. По крайней мере, эта часть. Две женщины на самом деле одна. Понимаете, я думала, что, если бы только обладала живостью и оптимизмом,

присущими моей подруге несмотря на все, через что ей пришлось пройти, я не испытывала бы такого чудовищного напряжения.

— Почему вы были в напряжении, фрау Анна?

— Боялась, что не смогу оправдать его ожиданий.

— Понимаю. Он, естественно, полагал, что вы девственница, и вы опасались, что все откроется?

— Да.– Она опять дотронулась до крестика.

Я сказал, что она транжирит мое время; что больше не могу выносить ее постоянную ложь; что если она не будет со мной полностью откровенна, в продолжении анализа нет никакого смысла. Наконец, с помощью подобных угроз, мне удалось вытянуть из нее правду о ее замужестве. Его интимная сторона оказалась не разочарованием, а совершенным бедствием — кошмаром, по крайней мере с ее точки зрения. В этом были виноваты галлюцинации — она никогда не была полностью от них свободна, но в тот период они мучили ее постоянно. Они вставали перед глазами, когда бы ни происходило сношение, и были такого же навязчивого характера, как описано в ее дневнике, отличаясь только в деталях. Наводнение и пожар в отеле можно связать с гибелью

ее матери, но две остальные галлюцинации, о падении с большой высоты и о похоронной процессии, погребаемой лавиной, были для нее необъяснимы; последняя была наиболее частой и самой ужасающей, потому что она страдала клаустрофобией.

Она не думала, чтобы муж о чем-то таком подозревал. Разве вы не можете представить, говорила она, какая это была пытка — видеть перед глазами эти сцены, притворяясь в то же время, что находишься на вершине блаженства? И разве не правда, что продление такого брака причинило бы мужу великое зло?

Она объясняла свое нежелание признаться во всем этом раньше тем, что не хотела показаться в чем-то обвиняющей своего мужа. И была непоколебимо уверена, что никакой его вины не было. Он был нежен, терпелив и искусен; она любила все интимные ласки, ведущие к соитию; точнее — любила до тех пор, пока знание о неизбежности галлюцинаций не заставило ее ненавидеть даже прелюдию к акту. Впрочем, сказала она, его поведение в постели не могло играть никакой роли, — она уверена, что галлюцинации возникали только как предупреждение о том, что ей ни в коем случае нельзя понести ребенка, как она уже

говорила мне раньше. Даже прерванные половые акты содержат элемент риска.

В Гастайне она примирилась со своей бездетностью, почему к ней и вернулось здоровье. Она чувствовала себя способной сублимировать свои желания и потребности; но в венском зловонии они опять начали ее мучить, и поэтому ее симптомы возобновились.

Вряд ли теперь можно не согласиться, сухо сказала она в заключение, что блаженство, описанное в ее дневнике, никак нельзя соотнести с ее собственным браком; «автобиографическими» были только катастрофы. Она заметила также, что если в *ком-либо* и намеревалась изобразить своего мужа, так это в немце-адвокате, которому она дала имя Фогель[26]. Я выразил недоумение, и фрау Анна сказала, что сама не знает, почему представила его в таком черном цвете, и готова на все, чтобы это исправить. Да, ее муж и его родственники порой выражали умеренно-антисемитские взгляды; но реже и не столь явно, как большинство других ее знакомых. Между ними никогда не было никаких неприятностей — по той простой причине, что она не чувство-

---

26 notes: 26

* Vogel (нем.).– птица. (Примеч. пер.)

вала необходимости рассказывать мужу об этом незначительном аспекте своего происхождения[27]. Ее очень огорчала злобная карикатура на превосходного молодого человека. Я заверил ее, что это совершенно понятно: она вынуждена была причинить ему страдание, что для нее самой было очень болезненным; за эту-то боль она ему и мстила.

Вскоре после того, как вскрылись сексуальные проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться во время своего замужества, мне удалось вызвать из ее прошлого еще одно неприятное воспоминание. Я дал ей ознакомиться с опубликованной незадолго до этого историей болезни[28], и она настойчиво хотела обсудить со мной одержимость этого пациента коитусом *morefemrum*[29](обыкно-

---

27 notes: 27

* Отец Анны полностью отверг свою еврейскую родословную, и вследствие этого сама она ни в малейшей степени не ощущала себя еврейкой. Однажды она назвала себя «среднеевропейской христианкой».

28 notes: 28

* «Из истории детских неврозов» («Человек-Волк») (1918). Фрау Анна не знала, что в их прошлом было удивительно много черт сходства. Кроме того, однажды она должна была столкнуться с этим пациентом на лестнице, после того как долгое время обсуждала со мной различные аспекты этого случая.

29 notes: 29

* По обычаю дикарей (лат.); имеется в виду интромиссия сзади. (Примеч. пер.)

венно со служанками и женщинами из простонародья). Это, казалось, чрезмерно ее интересовало, что, конечно, напомнило мне эпизод в конце ее дневника. Я заметил по данному поводу, что нахожу странным ее знакомство со способом полового акта, не являющимся общепринятым в образованных кругах общества. Пациентка явно расстроилась, ей было трудно говорить; но когда она совладала с собой, то поведала мне о случае, связанном с А. из Петербурга, отцом ее нерожденного ребенка.

Это случилось как раз в то время, о котором она прежде говорила как о единственном радостном воспоминании, касающемся его, — когда они совершали прогулку на яхте по Финскому заливу. Они встречались уже около трех месяцев, и между ними возникла очень романтическая привязанность — но все еще «белая», если использовать терминологию фрау Анны. На яхте было около десяти молодых людей. Все началось превосходно. Они блаженствовали, мешая серьезные разговоры с неимоверными дозами спиртного, предоставленного состоятельным отцом А. Позже, на второй день, Анна серьезно поссорилась со своим другом. Это в основном касалось мадам Р., которая имела обыкновение приглашать Анну

и еще нескольких учениц к себе домой для более свободного общения и культурных развлечений. А. обвинял Анну в том, что она продала свою душу эстетизму. Их ссора обострялась тем фактом, что он и его друзья начинали склоняться к необходимости политического насилия, а покойный муж мадам Р. был убит бомбой, предназначавшейся для государственного чиновника. Анна, на примере горя и одиночества своей наставницы воочию видевшая последствия актов насилия, заявила А, что выходит из их группы.

Пьяный и разъяренный, А. совсем перестал походить на молодого человека, которого она любила. Блаженная прогулка на яхте обернулась для нее зловещим кошмаром, приобрела тональность «Бесов» Достоевского. Ее друг подпалил ей сигарой волосы и позволил себе еще несколько выходок подобного рода. Она сказала ему, что между ними все кончено, и отправилась к себе в каюту, где долго плакала и наконец заснула. Спустя некоторое время ее потревожили, она проснулась и увидела омерзительное и ужасающее зрелище: А. и другая молодая женщина совершали половой акт на койке напротив[30]. Нис-

30 notes: 30

* Очевидно, в упомянутой выше позиции.

колько не стыдясь своего поведения, он отпускал в адрес Анны грубые, глумливые замечания и, по всей видимости, нарочно хотел ее разбудить. Анна не стала дожидаться окончания прогулки — с детства будучи отличной пловчихой, она прыгнула в море и поплыла к берегу.

К ее огорчению, несколько недель спустя она позволила ему убедить себя, что он раскаялся и по-прежнему ее любит. Он во всем обвинял алкоголь, перевозбужденную атмосферу времени и их сексуальное воздержание. Она приняла его обратно и на короткое время стала его любовницей. Как и позже, с мужем, у нее появлялись болезненные галлюцинации. Она переехала к нему на квартиру. Забеременела. Затем выяснилось, что он уехал на юг в сопровождении той самой молодой дамы с яхты. В это ужасное время жизнь ее была спасена дружеским отношением мадам Р., ибо Анна начала уже бродить по берегам Невы, раздумывая, а не покончить ли со всеми своими невзгодами разом; она была убеждена, что после того, как с ней случился выкидыш, она бы так и поступила, если бы не доверилась своей наставнице и не была принята желанной гостьей в ее доме.

Воскрешение в памяти образов того периода

жизни было настолько болезненным для пациентки, что я долго не мог собраться с духом, чтобы спросить, почему несколько недель назад она рассказывала мне об этой прогулке на яхте в таких радужных тонах. Когда наконец я задал ей этот вопрос, она притворилась, что я перепутал две разные прогулки.

Ее боли оставались по-прежнему сильными; она плохо спала и, опять усадив себя на диету из апельсинов и воды, потеряла весь тот вес, который было вернула. Как-то раз она мне сказала:

— Вы говорите, что моя болезнь, вероятно, связана с какими-то событиями в раннем детстве, о которых я забыла. Но даже если это и так, вы не можете изменить того, что произошло. Как же вы думаете помочь мне в таком случае?

Я ответил:

Несомненно, судьбе было бы легче избавить вас от страданий, чем мне. Но мы достигнем многого, если сумеем добиться, чтобы истерия сменилась обычным неблагополучием.

* * *

Именно в этот период болезненно долгого распутывания таинственного недомогания моей пациентки я начал связывать ее беды с моей

теорией инстинкта смерти. Туманные идеи моей наполовину написанной статьи «По ту сторону принципа удовольствия»[31] начали почти неощутимо приобретать конкретные очертания по мере того, как я размышлял о трагических парадоксах, управлявших судьбой фрау Анны. Она жаждала удовлетворять требования своего либидо, но в то же время существовала некая сила, природы которой я не понимал, заставлявшая ее отравлять родник своего наслаждения у самого истока. У нее, по ее собственному признанию, был необычайно сильный инстинкт материнства, но над нею довлел не подлежащий обжалованию указ некоего самодержца, которого я не мог назвать, запрещающий иметь детей. Она любила вкусно поесть, но не могла этого делать.

Странным также (хотя многие годы занятий психоанализом почти разучили меня видеть в этом что-то странное) было побуждение ее души повторно переживать ночь шторма, когда она узнала о смерти матери в охваченном пожаром отеле. Я уже говорил, что в некоторые мгновения выражение лица фрау Анны напоминало мне лица жертв военных неврозов. Нам до сих пор

---

31 notes: 31
* 1920 г.

неясно, почему эти несчастные заставляют себя снова и снова переживать во сне те события, которые привели к получению травмы. Но дело также и в том, что все люди, не только невротики, выказывают признаки иррациональной склонности к повторению. Я наблюдал, например, за игрой своего старшего внука: он снова и снова выполнял действия, которые никак не могли быть ему приятными, — действия, связанные с отсутствием его матери. Кроме того, некоторые люди на протяжении всей жизни склонны поступать во вред самим себе. Я начал рассматривать фрау Анну не как женщину, отделенную от остальных своей болезнью, а как человека, в котором истерия усилила и высветила *повсеместную* борьбу между инстинктом жизни и инстинктом смерти.

Не присутствует ли в наших жизнях «демон» повторения? И не в том ли он коренится, что все наши человеческие инстинкты совершенно консервативны? И если это соответствует истине, не может ли быть так, что все живые существа тоскуют по неорганическому состоянию, из которого они возникли по воле случая? Зачем еще, размышлял я, существует смерть? Ибо смерть не может рассматриваться как абсолютная необходимость, основанная на самой природе жизни.

Смерть — это скорее вопрос целесообразности. Так развивался спор в моем сознании.

Фрау Анна, по существу, просто была на переднем крае, а ее дневник был самым последним донесением. Но гражданское население, если можно так назвать здоровых, было тоже слишком хорошо знакомо с постоянной борьбой между инстинктом жизни (или либидо) и инстинктом смерти. Дети, да и военные, строят башни (из кубиков или кирпичей) лишь для того, чтобы затем сшибить их наземь. Совершенно нормальные любовники знают, что час победы есть также и час поражения, и поэтому смешивают похоронные венки с лаврами победителей, называя завоеванную ими землю *la petite mort*[32]. Не в меньшей степени и поэты знакомы с этим утомительным раздором:

Ach, ich bin des Treibens mude!

32 notes: 32

* Маленькой смертью (фр.). (Примеч. пер.)

Was soil all der Schmerz und Lust?[33]

Размышляя таким образом об универсальном аспекте случая фрау Анны, о битве Эроса и Танатоса, я случайно нашел причину ее заболевания. До этого момента я не мог установить никакого конкретного события, которое могло бы спустить с привязи ее истерию. Боли в груди и яичнике начались, когда она была в гуще дел, радовалась успешно возобновленной карьере и с нетерпением ожидала первого отпуска своего мужа, уверенная, что отныне все будет хорошо. Она не могла припомнить ни одного неприятного эпизода, который мог бы послужить причиной ее болезни. Однажды вечером она легла спать — совершенно счастливая, написав мужу необычайно нежное письмо, в котором намекала, что

---

33 notes: 33

* [«Ах, к чему вся скорбь и радость? Истомил меня мой путь!» (нем.) — Гете, «Ночная песнь путника», пер. А. Фета. Цитата была весьма уместна, если учесть, при каких обстоятельствах писалась «Фрау Анна Г.». В 1930 году Фрейд был удостоен литературной премии имени Гете. Блестяще написанный благодарственный адрес (зачитанный во Франкфурте Анной Фрейд) так впечатлил городской совет, что его попросили написать работу по психоанализу, которую предполагалось напечатать ограниченным тиражом в изысканном издании, приуроченном к столетию со дня смерти Гете (1832) и сороковой годовщине выхода в свет «Исследований истерии» Фрейда и Брейера. Фрейд, приняв предложение, решил описать случай фрау Анны. В Комитете по юбилею сначала охотно пошли навстречу его пожеланию, чтобы сочинения пациентки были опубликованы в виде приложения к статье, но, как и следовало ожидать, испугались, ознакомившись с этими

материалами. Фрейд не соглашался на какую-либо цензуру и лишь неприличные слова разрешил заменять звездочками. Публикация статьи была отложена. С приходом к власти национал-социалистов от нее отказались вообще, а в 1933 году все работы Фрейда были сожжены на костре в Берлине.]

была бы не прочь забеременеть во время его предстоящего отпуска, — и той же ночью ее разбудили начавшиеся боли.

Однажды она пришла ко мне на прием в необычно веселом расположении духа. Она объяснила, что получила письмо от своей старой подруги из Петербурга, с прекрасными вестями: и она, и муж живы-здоровы, хотя и находятся в очень стесненных обстоятельствах, и Господь благословил их сыном. Хотя ему было уже три года, она напоминала фрау Анне в ее обещании быть крестной матерью, если когда-либо предоставится счастливая возможность. Это было первое известие о подруге, полученное Анной за почти четыре года; причем с тех пор, как началась война, она впервые получила его *от нее самой.* Поэтому нетрудно было понять ее радость.

Однако, пока она восторгалась тем, что у нее будет маленький крестник, боли ее, до тех пор умеренные, резко усилились. Они были такими жестокими, что она умоляла разрешить ей пойти домой. Я не хотел отпускать ее, не попытавшись установить причину внезапного ухудшения, и спросил, не испытывает ли она ревности к счастью мадам Р. Бедняжка, плача от муки, решительно отрицала любую подобную мысль как

недостойную.

— Это было бы совсем не удивительно и не опорочило бы вас, фрау Анна, — сказал я.– В конце концов, если бы вы не оставили своего мужа, Господь, несомненно, в равной мере благословил бы и вас.

Всхлипывая, она продолжала отрицать какую-либо ревность, но созналась в правде, начав теребить крестик. Я почувствовал, что пришло время сказать ей, каким «даром Божьим» является для меня порой ее распятие; но прежде чем я успел объяснить причину, она взволнованно сказала, что теперь подробнее вспомнила, как начались ее боли.

Прежде чем написать той ночью письмо мужу, она спокойно пообедала с тетей после вечернего концерта. Она вспомнила теперь, что это было в тот самый день, когда она получила последнюю весть о мадам Р. Эта весть достигла ее благодаря счастливой случайности. Ее муж писал, что допрашивал офицера из русской столицы и в минуту меньшей официальности обнаружилось, что их жизни связывает тонкая нить совпадения. Офицер был знаком с подругой Анны и сообщал, что та пребывает в добром здравии и (по его мнению) ожидает ребенка. Эту волнующую

новость фрау Анна обсуждала со своей тетей. Может ли это быть правдой? Разве не опасно обзаводиться ребенком уже в пожилом возрасте? Какой подарок на крестины послать ей, когда позволят обстоятельства? Тетя предложила подарить крестик, и Анна согласилась. Это все, что она помнила о том разговоре. Она пошла к себе, написала счастливое любовное письмо и ночью проснулась уже больной.

Во время своего рассказа молодая женщина, чьи боли несколько ослабли от взволновавшего ее воспоминания, поглаживала свой крестик, и я принялся объяснять ей, почему эти ее невольные жесты так важны для меня. Мои объяснения привели к тому, что жестокая боль вернулась к ней в полной мере, но они же заставили ее вспомнить множество забытых подробностей того вечера и тем самым помогли развязать узел ее истерии. Ясно без слов, что это произошло для нее далеко небезболезненно и что она постаралась применить все свои увертки. Суть ее рассказа сводилась к следующему.

Новость из Петербурга ее столь же обеспокоила, сколь и обрадовала. Она призналась, что это было связано с пониманием того, что, если бы она позволяла мужу полное сношение, она сама

к тому времени вполне могла бы забеременеть. Но она отбросила это легкое беспокойство, начав обсуждать вопрос о подарке на крестины. Тете случилось упомянуть, что ее собственный крестик был ей подарен при рождении и она носит его не снимая со времени первого причастия. При этих словах она с гордостью коснулась своего серебряного крестика. Как он уже износился, заметила она, — в отличие от креста Анны; по той простой причине, добавила она, что мать Анны сорвала его с груди в день свадьбы и никогда больше не надевала. Этот жест был продиктован злостью, вызванной враждебностью ее родителей. С того дня она вообще прекратила соблюдать религиозные обряды. Ее крест лежал нетронутым в шкатулке с драгоценностями, пока наконец не попал к Анне.

Затем тетя позволила себе несколько бестактное замечание о суетности и эгоистичности своей сестры, но тут же раскаялась, принялась хвалить ее и весело говорить о тех далеких днях. Она редко говорила о прошлом, так как находила это слишком болезненным, и фрау Анна была очень рада поговорить о матери, которой почти не знала. Тетя вспоминала о красоте своей сестры — а значит, и о своей тоже, ибо в ту пору, когда

она еще не стала старой и морщинистой, они, без сомнения, были очень похожи. В подтверждение своих слов она достала фотоальбом и с улыбкой вспомнила, как все обычно говорили, что их можно различить, лишь увидев, у кого из них есть крест на груди! Анна, глядя на двух прелестных молодых дам, тоже улыбнулась, смутно припоминая, что действительно слышала нечто такое. Затем в ее сознании вспыхнуло совершенно забытое воспоминание: случай в беседке. То, как оно ей тогда явилось — и как она мне его теперь изложила, — в одном отношении существенно отличалось от того, что мне уже приходилось слышать раньше.

Девочке было скучно и жарко, она сердилась на мать за то, что та так поглощена своей картиной. Все остальные после полдника исчезли вообще. Анна решила вернуться в прохладу дома и немного поизводить свою няню. Она забыла, что у няни был короткий день, так что вместо этого выпила лимонаду и в одиночестве поиграла с куклами в детской. Когда она снова вышла на воздух, было уже не так жарко. Она пошла на разведку в парк и набрела на сцену в беседке. Увидев непривычно обнаженные плечи и грудь тети, испугалась и скрылась обратно в кусты. Затем спустилась на

пляж, чтобы попросить мать объяснить, почему тетя и дядя ведут себя так странно, но к этому времени мать дремала на скале. Анна знала строгое правило не беспокоить взрослых, когда они отдыхают, так что вернулась в дом и снова стала играть в куклы. В глубине души она была рада, что мать спит на скале, — потому что, конечно же, знала, что там лежит вовсе не ее мать. Не считая сотни тайных признаков, по которым ребенок отличает от других свою мать, она, без сомнения, видела там тетино платье с высоким воротником и серебристым отблеском на груди, которые так резко контрастировали с ослепительной наготой женщины в беседке.

Но что, в таком случае, ее мать и весельчак-дядя делали в беседке? Это ее беспокоило и озадачивало, но за игрой она обо всем позабыла. Взрослая Анна, когда это воспоминание — со всеми преувеличениями опытности — снова вспыхнуло у нее в сознании, немедленно предположила самое худшее; и, так же, как и девочка, нашла это невыносимым. Ее хрупкое чувство собственного достоинства поддерживал ось верой в материнское благочестие. Достаточно одной трещины, чтобы вера эта разбилась вдребезги, раздавив под собой и молодую женщину. Итак, единственное

объятие превратилось в бесконечное кровосмешение под сенью бесчисленных беседок и неисчислимых летних вечеров. Она не носила распятия, потому что была его недостойна: так шли мысли Анны, несмотря на то что она продолжата слушать воспоминания тети. Затем неожиданно пришла еще одна мысль: она, Анна, также недостойна его носить; ей тоже следует сорвать его с шеи[34].

Но по какой причине? Она не знала. Она исполняла свои религиозные обязанности и вела безупречную жизнь. Чуть ли не слишком безупречную! Не ревновала ли она, в каком-нибудь смысле, к матери? Сколь испорченной та ни была бы, но какое же наслаждение, наверно, она испытывала, если была готова бросаться к нему в объятия при малейшей возможности, несмотря на любой риск! Всякий раз, когда она оставляла Анну с няней и возвращалась много дней спустя, она, конечно, ездила к нему. Во мне, должно быть, не хватает чего-то очень важного, думала она; потому что *я не могу* помыслить о поездках за сотни верст — чтобы потом гореть в адском

34 notes: 34

* Рассказ тети об импульсивном поступке своей сестры оказал на пациентку болезненное воздействие, и она очень часто возвращалась к мысли об этом.

пламени! Что же со мной не так? Ясно, что ее яд все еще бежит во мне, но совсем, совсем в ином направлении. И я даже не могу разделить свое бремя с другим человеком, как было дано моей матери. Я совершенно одна. Правда о себе, которую молодая женщина не признавала, нежданно прожгла ее изнутри, как молния прожигает мрак: я проехала бы сотни верст — прямо сейчас, будь это возможно, — чтобы повидать свою подругу! Но она сейчас вынашивает ребенка, я еще более одинока, чем когда-либо!

Теперь все было ясно. Я слушал ее взволнованные слова с растущей уверенностью в том, что все разрешилось; это ни в коей мере не противоречило определенным подозрениям, которые у меня возникли еще раньше. Но прояснение истины оказало на бедняжку оглушающее воздействие. Она металась, она рыдала в голос, когда я ей сухо обрисовал ситуацию:

— Итак, вам не нужен ребенок *вообще,* вам нужен ребенок от мадам Р.– если бы только природа сделала подобное возможным.

Она жаловалась на самые чудовищные боли, делала отчаянные попытки отвергнуть объяснение: это неправда, я ее заговорил, она была неспособна на такие чувства, она никогда бы

их себе не простила, она имела в виду только то, что сейчас ее подруга еще меньше, чем прежде, окажется способна посочувствовать ее неестественному ужасу перед беременностью. Я опровергал ее с помощью непреложных фактов. Разве не существенно то, что она страдала от своих изнурительных галлюцинаций во время единственной сексуальной активности, разрешенной ей ее сознанием? Что все долговременные и плодотворные отношения имели у нее место только с женщинами? Что у нее были сильнейшие материнские инстинкты, однако, когда дошло до дела, она совершенно изменила свое отношение к постоянным домашним узам, которые влечет за собой материнство? Что в ее дневнике мадам Р. (в образе «мадам Коттен») обрисована куда более живо, нежели молодой человек? Разве не ничтожество он по сравнению с мадам Коттен?

Бедная молодая женщина все еще противилась принять объяснение. Некоторое время ее симптомы оставались очень сильными. Степень страдания и сила ее сопротивления не ослабевали до тех пор, пока я не сказал ей в утешение, что, во-первых, мы не несем ответственности за свои чувства, а во-вторых, ее поведение и сам факт

того, что она в этих обстоятельствах заболела, в достаточной мере свидетельствуют о ее нравственности. Ибо за все приходится платить, и ценой избавления от невыносимого знания явилась истерия. К тому времени, как она пришла той ночью к себе, она уже настолько погребла знание о своей гомосексуальности, что смогла написать своему мужу необычайно страстное письмо. Несколькими часами позже начались ее боли. Отвергнутая Медуза потребовала плату. Но плата стоила того, чтобы ею пожертвовать, потому что альтернатива была бы еще хуже.

Когда я объяснил ей это, ее сопротивление ослабло, хотя и не исчезло полностью. Точнее сказать, она в одно и то же время и принимала, и отвергала мое объяснение, стремясь перевести разговор на менее устрашающее открытие, касающееся поведения ее матери. Поделившись своим детским воспоминанием, она испытала ощутимое облегчение; когда же мы приступили к его обсуждению, ее состояние стало заметно улучшаться.

Я не мог не восхититься, каким экономным способом ее сознание сделало это воспоминание безвредным, обрезав его, словно единым взмахом ножниц, так, что в нем не осталось ничего более

вопиющего, нежели нежное супружеское объятие. Но, однако, я все еще не был уверен в том, *что именно* она видела. Если под этим не скрывалось какое-нибудь еще более опустошительное открытие, то речь шла всего лишь об объятии между ее склонной к порывам чувствительности матерью и дядей; любому, кто мог бы забрести в тот уголок сада, оно показалось бы сравнительно невинным. Она соглашалась с этим — теоретически; но тем не менее была убеждена, что мать и дядя были любовниками, — она каким-то образом чувствовала это даже в четыре или пять лет. В качестве улики она указала на то, какой взволнованной и сверх обычного ласковой делалась ее мать, когда приближались приезды ее зятя. Она напомнила о депрессиях, в которые мать впадала с приходом осени, о ее поездках в Москву и о щедрых подарках, с которыми она возвращалась домой, — как будто хотела загладить свою вину. Анна вообще не верила, что мать ездила в Москву: скорее всего, в какое-нибудь укромное место между Одессой и Веной — возможно, в Будапешт — на свидания со своим любовником. (Будучи преподавателем языков, он, несомненно, посещал множество конференций...) Она вспоминала сконфуженное молчание и до, и после того,

как ее мать привезли домой хоронить; нежелание говорить об умершей ни тогда, ни позже; тот факт, что тетя не приехала на похороны, никогда больше у них не появлялась и теперь почти никогда не упоминает о том периоде своей жизни. Когда я возразил, что для всего этого существуют превосходные и более правдоподобные объяснения, она рассердилась, словно ей *нужно* было утвердиться в греховности своей матери. С подозрительной внезапностью она вспомнила о том, что матросы, оскорбившие ее, когда ей было пятнадцать, позволяли себе непристойные замечания о ее матери — дескать, все знают, что она погибла с любовником в Будапеште. В грубых выражениях они предполагали, что обугленные тела невозможно было разъединить.

Теперь она, конечно, утверждала, что ее дядя скончался не от сердечного приступа в Вене через несколько месяцев после смерти ее матери, а умер в том же пожаре в отеле. Отец и тетя придумали ложную версию, чтобы положить конец сплетням, но, как это обычно бывает в таких случаях, все в Одессе, вероятно, знали, что было на самом деле, за исключением Анны и ее брата. Когда я спросил, не стоит ли ей обратиться с этими подозрениями к тете, она ответила, что не хочет

бередить старые раны. Я все же настаивал, чтобы она сделала это или, по крайней мере, полистала подшивки газет, так как был уверен, что все это дикие фантазии. Теперь ей было настолько лучше, что она сама стала отправляться на прогулки по городу. И однажды, вихрем ворвавшись в мой кабинет, она с торжествующим видом протянула мне две фотографии. На одной, помятой и пожелтевшей, была запечатлена могила ее матери, на другой, недавно сделанной, — могила дяди. Она сказала, что лишь после долгих поисков нашла место его захоронения, — ведь тетя его не посещает. По фотографии было видно, что могила сильно запущена. К моему удивлению, даты смерти на обеих могилах, слабые, но различимые, были одинаковыми. Мне оставалось только признать, что под грузом такого свидетельства чаша весов склонилась в сторону ее версии событий. Она улыбнулась, наслаждаясь победой[35].

---

35 notes: 35

* Как представляется, ее сновидение (изложенное на с. 119) готовило почву для раскрытия травмы. Она выходит на станции с вывеской «Будапешт», хотя там «совершенно пустынно». Мужчина в поезде предупреждает, что Т-вы в Москве не смогут разместить ее в доме и ей придется спать голой в беседке. В период абреакции фрау Анна истолковала это как скрытое понимание того, что было бы крайне маловероятным, чтобы ее мать остановилась в отеле, будь она действительно в Москве; она почти наверняка остановилась бы у Т-вых, своих гостеприимных родственников.

Пора подытожить все, что мы знаем о случае этой несчастной молодой женщины. Обстоятельства ее детских лет сложились так, что она была обременена тяжким чувством вины. Каждая девочка, достигая стадии Эдипова комплекса, начинает лелеять деструктивные импульсы, направленные против матери. Анна не была исключением. Она хотела, чтобы мать «умерла», и — как будто она потерла волшебную лампу — мать умерла *на самом деле.* Благодаря змею, объявившемуся в ее раю (пенису дяди), поле для Анны было расчищено, и она могла сделать то, к чему стремится каждая маленькая девочка, — родить своему отцу ребенка. Но вместо того, чтобы принести счастье, смерть матери заставила ее испытать страдания. Она узнала, что умереть означает навсегда остаться в холодной земле, а не задержаться в отъезде на несколько дней дольше. Ее матереубийство не было вознаграждено любовью отца — напротив, он стал холоднее и отчужденнее, по всей видимости, наказывая ее за чудовищное преступление. Анна сама испытала изгнание из рая.

Охраняемая любовью заместительниц матери, нянь и гувернанток, она была наказана — и опять мужчинами, — когда ее напугала и оскорбила

толпа матросов. От них она узнала, что мать ее, возможно, заслужила смерть, ибо была дурной женщиной. Но к этому времени холодность отца по отношению к ней заставила ее безмерно превознести мать; слова матросов, ничем не подкрепленные, были погребены в подсознании, как и память об увиденном в беседке. Как раз в это время у нее появились симптомы одышки и астмы — возможно, в качестве мнемонического символа удушливого чада пожара, — а отношение отца доказало ей раз и навсегда, что он совершенно равнодушен к ее благополучию, и она вычеркнула его из своего сердца, решив начать новую, самостоятельную жизнь.

В столице она имела несчастье сойтись с недостойным ее человеком, обладавшим садистскими и довольно зловещими чертами характера. Следовало, однако, предполагать, что она выберет себе любовника именно такого типа, потому что к семнадцати годам у нее уже сформировался стереотип отношений с мужчинами. Также следовало предполагать, что сексуальный контакт с А. обернется неудачей, равно как и то, что с нею подружится женщина и спасет ее, но не прежде, чем случится еще худшее. В доме мадам Р. ее самооценка была восстановлена, а материнская

привязанность вдовствующей подруги помогла укрепить идеализированное представление о материнской любви — подлинной *первой любви.* Во фрау Анне начали формироваться чувства гомосексуальной природы, хотя она не могла сознаться в них самой себе, не говоря уже о мадам Р. К счастью, она смогла пережить повторный брак своей подруги, благодаря тому, что в ее жизнь снова вошла тетя — женщина, чьи материнские чувства не находили выхода и которая, в сущности, была сверхъестественным образом ее матери. Соблазнительно расценить открывшийся в это время у Анны музыкальный талант (особенно если учесть, что он нашел выражение в богатых тонах выбранного ею инструмента) как непроизвольный «расцвет», обусловленный восстановленным чувством собственной значимости.

Подстегиваемая желанием доказать самой себе, что способна на нормальные половые отношения, она нашла себе мужа. Можно было предсказать, что их отношения не сложатся, но она не хотела признать неудачу. Должно быть, она втайне испытывала облегчение, когда их разлучила разразившаяся война. Однако потребовалось серьезное душевное расстройство,

чтобы она положила конец своему замужеству, объясняя это (себе и другим) тем, что будет не в состоянии справиться с детьми.

Новостей от мадам Р. и случайного замечания тети оказалось достаточно для того, чтобы возникла угроза опрокинуть все, чего она с таким трудом добилась. Ее брак был лицемерием; ее музыка, по крайней мере отчасти, — сублимацией подлинных желаний. Невыносимую идею нужно было подавить любой ценой, и ценой этой стала истерия. Симптомы, как это всегда бывает с бессознательным, соответствовали причине: боли в груди и яичнике возникли из-за неосознаваемой враждебности по отношению к своей искаженной женственности, а отсутствие аппетита — из-за всеохватывающей ненависти к себе, желания исчезнуть с лица земли. Вследствие же того, что ей открылись подлинные обстоятельства смерти матери, у нее возобновилась одышка, мучившая ее в пубертатный период. Остается неясным, почему боли избрали левую сторону ее тела. Истерия нередко закрепляет свои позиции в тех частях тела, где имеются физические изъяны в конституции, при условии, что они соответствуют ее первичному символизму; поэтому возможно, что пациентка была предрасположена

к заболеваниям левой груди и яичника, которые проявили бы себя позже. С другой стороны, не исключено, что левосторонний характер болей был обусловлен воспоминанием, которое так и не всплыло на поверхность. Никакой анализ не может быть исчерпывающим — у истерии причин больше, чем корней у дерева. Так, уже на довольно поздней стадии анализа у пациентки проявилась легкая фобия, касающаяся лицезрения себя в зеркале; она утверждала, что от этого у нее возникает нервная дрожь. Эта фобия, к счастью краткосрочная, так и не нашла удовлетворительного объяснения.

Анализ случая фрау Анны оказался менее завершенным, чем большинство других. Поскольку она чувствовала себя практически выздоровевшей, ей не терпелось возобновить занятия музыкой. Между нами стали возникать разногласия, которые мне были по-своему приятны, — они означали, что она вновь обретает независимость. Большинство из них касались моей оценки ее привязанности к мадам Р.; временами она по-прежнему не желала признать присутствия в себе гомосексуального начала. Мы оба чувствовали, что нам пора прекратить наши встречи, и расстались друзьями.

Я сказал ей, что она вылечилась ото всего, кроме жизни (если так можно выразиться). Она этого не оспаривала. Она ушла от меня с хорошо продуманным руководством по выживанию, памятуя о том, что ее существование всегда будет нелегким и очень часто — одиноким. Ближе к концу наших встреч она сказала, что теперь понимает, как томилась ее мать по влюбленности и новизне после того, как первые восторги ее замужества поугасли. Итак, она научилась принимать прошлое, которого не дано изменить, и это во многом обязано безмятежности Гастайна и последующему написанию «дневника»: любопытный пример того, как бессознательное готовит психику к окончательному освобождению, отпечатывая в сознании свои идеи.

Выше я сравнивал ее дневник со сценой — но эта сцена весьма существенно отличается от обычной. Дело в том, что все персонажи ее драмы взаимозаменяемы. Так, молодой человек в зависимости от времени (или даже в одно и то же время) является отцом Анны, братом, дядей[36],

---

36 notes: 36

* Хотя по большей части ее дядя — это «шеф-повар» («chef»), благодаря той белой флотской фуражке, которую он имел обыкновение надевать в шутку, именуя себя «старшим помощником» («chief»), обращаясь к ее отцу-«капитану»; а также благодаря своему безмерному аппетиту, врезавшемуся ей в память.

ее любовником А., ее мужем — и даже «незначительным» молодым человеком в поезде, шедшем из Одессы в Петербург. Сама Анна (временами) — оперная певица, но также и проститутка без груди, бледная и истощенная женщина с вырезанной маткой, мертвая любовница в общей могиле. Иногда «голоса» звучат отчетливо, но чаще смешиваются, растворяются друг в друге: «Весь дух белого отеля восставал против эгоизма». При скромной помощи со стороны врача дневник фрау Анны вернул ей психическое здоровье — через принятие ею таинственной индивидуальности своей матери. Корсетница символизирует еще одно понятие, о котором пациентка не упоминала: лицемерие. Ее мать была не такой, какой казалась, далеко не столь строгой — по отношению к себе. Она была Медузой — но также и Венерой. Когда представлялось, что она вся в любви к своему ребенку, ее мысли могли блуждать где угодно. Но много ниже сознательного слоя пациентка училась прощать своей матери ее лживость, а заодно (что весьма существенно)

— и себе свою собственную[37].

Таким образом, я был совершенно не прав, полагая, что центральными персонажами являются «мужчина, женщина; женщина, мужчина»[38]. Что бы ни говорило об обратном, роль мужчины, отца, в частном театре пациентки была подчиненной; перед нами предстали две «героини» — пациентка и ее мать. Документ фрау Анны выражает глубочайшее ее желание вернуться на небеса безмятежности, в изначальный белый отель — мы все там останавливались, — в чрево своей матери[39].

Год спустя я совершенно случайно снова встретился с фрау Анной. По забавному совпадению, это произошло в Бадгастайне, где я отдыхал с одной из своих родственниц. Мы вышли прогу-

---

37 notes: 37

* [Необычное для Фрейда подчеркивание роли матери, возможно, связано с тем, что незадолго до этого, 12 сентября 1930 года, умерла его собственная мать. Ср. его письмо к Джонсу: «Ее значение для меня трудно переоценить... Ни боли, ни горя, что, видимо, объясняется обстоятельствами — преклонным возрастом и тем, что покончено с жалостью, которую вызывала в нас ее беспомощность. И вместе с этим чувство освобождения, избавления, причину которого, как мне кажется, я понимаю. Мне нельзя было умереть, пока она оставалась жива, а теперь — можно. На глубинных слоях каким-то образом изменяются все жизненные ценности».]

38 notes: 38

* Г. фон Страссбург. Тристан.

39 notes: 39

* [В рукописи 1931 года после этого следует абзац: «Дата, отмечаемая ныне, делает вполне уместным представить этот случай, в котором разум и воображение могут рассматриваться как партнеры в поисках истины, как это было в сознании и сердце гения, которого мы сегодня чествуем. Каким бы беспорядочным и чувственным ни казался дневник фрау Анны, я уверен, что сам Гете увидел бы в нем больше чистоты, чем грубости; он не удивился бы, узнав о том, что в царстве либидо тесно сплетается самое высокое и самое низкое и при этом одно некоторым образом зависит от другого: „...от неба через мир в преисподнюю“. Долго смогут еще поэзия и психоанализ продолжать высвечивать, со своих разных точек зрения, человеческое лицо во всем его благородстве и страдании».]

ляться, и я увидел знакомое лицо. Выяснилось, что она играет в оркестре небольшой гастролирующей труппы, и я был счастлив видеть, что она прекрасно выглядит; по правде сказать, тела у нее было скорее в избытке, чем в недостатке. Казалось, она рада меня встретить. Она шла на репетицию и выразила надежду, что мы придем на вечернее представление. Опера, в которой ей предстояло играть, была современным, довольно-таки туманным сочинением, и я отклонил приглашение, сославшись на то, что мало ценю современную музыку, — и добавил, что непременно пришел бы, если бы она играла в «Дон Жуане»! Она уловила мой лукавый намек и улыбнулась. Я поинтересовался, знает ли она язык, на котором исполняется эта опера (партитура которой была у нее в руках), и она ответила, что да, чешский теперь тоже в ее репертуаре. Моя спутница выразила восхищение тем, что фрау Анна умеет читать на стольких языках, и та ответила с печальной улыбкой, обращаясь скорее ко мне, что иногда сама удивляется, от кого бы она могла унаследовать эту способность. Почти наверняка она спрашивала себя, не порождена ли та холодность, с которой отец относился к ней после смерти матери, подозрением, что она не

его дочь.

Фрау Анна сказала, что время от времени продолжает испытывать легкие рецидивы своих симптомов, но не в такой степени, чтобы это могло помешать ее игре. Она опасалась, однако, что запоздалое начало и длительный перерыв, вызванный болезнью, не позволят ей достигнуть вершин своей профессии. Я счастлив сказать, что до сих пор продолжаю слышать о ней как о талантливой исполнительнице, она успешно продолжает в Вене свою музыкальную карьеру, а живет по-прежнему в обществе тети.

ЧАСТЬ 4
санаторий
1

Весной 1929 года фрау Элизабет Эрдман ехала из Вены в Милан. Она позволила себе роскошь вагона первого класса, чтобы сохранить свежесть до конца поездки; большую часть пути она оставалась в купе одна, наслаждаясь пейзажем за окном и время от времени читая журнал или с закрытыми глазами повторяя про себя партию, которую ее пригласили петь. Поезд был почти пуст, и она завтракала в одиночестве в большом, прекрасно обставленном вагоне-ресторане. Внимание множества официантов нервировало ее, поэтому она наспех проглотила все, что ей принесли, и вернулась в свое купе.

Поезд остановился у маленькой тирольской деревушки — станция была чуть больше платформы, — и фрау Эрдман подумала сперва, что с ними едет некая знаменитость, поскольку перрон кишел народом. Но потом она с досадой поняла, что это пассажиры, — нагруженные рюкзаками и чемоданами, они забирались в поезд.

Для вагонов второго класса их было слишком много; их поток захлестнул даже первый класс. Пятеро мужчин и женщин с рюкзаками пробились в ее купе, и ей пришлось торопливо переложить свои вещи на полку. Люди стояли даже в коридоре, прислонившись к окнам и дверям. После суеты размещения рюкзаки и лыжи свисали с полки над головой фрау Эрдман, и она чувствовала себя зажатой в углу плотными телами своих попутчиков. На них так много одежды, что они — даже трое мужчин — походили на беременных; они громко разговаривали и грубовато, по-панибратски хохотали: было ясно, что отпуск они провели вместе и поэтому на любого незнакомца смотрят как на досадную помеху. Фрау Эрдман начала испытывать легкие симптомы клаустрофобии, подобно купальщице, оказавшейся среди кишащего скопища медуз: именно это слово и этот образ пришли ей на ум. Она встала, извинившись, переступила через их ноги и направилась к двери.

Ко всему прочему, совершенно некстати, она как раз в этот момент почувствовала необходимость пройти в туалет. Но, глянув в обе стороны коридора, она поняла, что для этого пришлось бы вести отчаянную борьбу, пробираясь сквозь

толпу людей, многие из которых сидели, взгромоздясь на свои рюкзаки и чемоданы. Какой-то молодой человек в нескольких шагах от нее, заметив ее встревоженный взгляд, вежливым жестом показал ей, что она может пройти. Она, вымученно улыбнувшись, покачала головой, как бы говоря: «Не стоит, я могу подождать!» — и он улыбнулся в ответ, поняв ее послание и найдя его забавным. Фрау Эрдман увидела, что он стоит на «островке» возле открытого окна, протолкалась к нему, встала рядом и, высунув голову в окно, жадно глотнула свежего воздуха.

Почувствовав себя гораздо лучше, она прислонилась спиной к застекленной двери купе напротив. Молодой человек спросил, не возражает ли она, если он закурит, и, когда она сказала, что ничего не имеет против, предложил ей сигарету из своего портсигара. Она отказалась, после чего он заметил, что теперь стало значительно больше дам, курящих сигареты; неужели у нее никогда не было соблазна попробовать? Да, сказала она, в молодости ей это нравилось, но потом от курения пришлось отказаться, чтобы не испортить голос. Она сразу же пожалела о сказанном — могли последовать любопытные вопросы, ответы на которые заставили бы его думать, что

она выставляет напоказ свои таланты. Вопросы действительно последовали, и пришлось признаться, что она профессиональная певица и едет в Милан, чтобы петь там в опере. Да, это довольно важная партия.

Молодой человек был впечатлен. Он рассматривал ее обычное, чуть тронутое морщинами лицо — но у нее были выразительные глаза и губы, — стараясь припомнить, не попадались ли ему в газетах ее фотографии. Затем сказал, что, будучи студентом геологического факультета, в музыке смыслит мало, но о миланском «Ла Скала» слышал каждый, и, должно быть, она — одна из «звезд». Женщина рассмеялась — став при этом почти привлекательной — и решительно потрясла головой.

— Боюсь, совсем нет! — сказала она.– Я — всего лишь замена. Вы, наверное, слышали о Серебряковой? — Молодой человек покачал головой.– Вот она — великая певица. Она пела эту партию, но упала на лестнице и сломала руку. Ее дублерша оказалась не готова, и они попали в трудное положение. Дело в том, что опера на русском, а в мире не так уж много сопрано, умеющих петь по-русски и не занятых на много месяцев вперед. Я оказалась единственной, о ком они смогли

вспомнить!

Она звонко рассмеялась, и у нее собрались морщинки возле глаз. Собственная скромность, вполне искренняя, доставляла ей удовольствие; в свободе от мании величия таилось счастье.

Молодой человек пытался было возражать, но она подтвердила:

— Это правда! Я получила роль только по этой причине. Но меня это не волнует. Считаю, что мне повезло. Вряд ли я достигну чего-то большего — ведь мне почти сорок. Выступлю в «Ла Скала», в хорошей роли. Будет что вспомнить!

Она поежилась от удовольствия — и перевела разговор на молодого человека. Он сказал, что этим летом сдает выпускные экзамены, а затем надеется найти в Риме работу учителя и жениться там на своей подруге. Сейчас он ехал повидаться с ней после отдыха, в котором так нуждался. В течение целой недели он взбирался на горы, катался на лыжах, спал под звездами и теперь чувствовал себя заново родившимся. Заинтересовавшись, она стала расспрашивать его о пребывании в горах, но, к ее разочарованию, он оказался весьма косноязычным, когда речь зашла о духовном аспекте скалолазания. Он сказал,

что главная его цель — взобраться на Юнгфрау[40]. Фрау Эрдман эти слова почему-то показались забавными, но она скрыла улыбку, серьезно кивая головой, пока он описывал, как это будет трудно.

После ярких озер и плодородных долин Тироля поезд ворвался в тоннель, оборвав их беседу. Они ехали под землей достаточно долго, чтобы убедиться, что у них нет ничего общего и разговор продолжать не стоит; поэтому, вырвавшись на свет, они продолжали молчать, пока фрау Эрдман не сказала, что она, пожалуй, предпримет рискованное путешествие, чтобы помыть руки. Пробираясь обратно, она проскользнула мимо молодого человека, и они распрощались, пожелав друг другу удачи. Втиснувшись на свое место, она стала смотреть в окно, точнее, на стекла — по ним хлестал сильный ливень.

К счастью, на следующей станции, за итальянской границей, были прицеплены дополнительные вагоны, и проводник обошел все купе, приказывая пассажирам второго класса перейти в них, освободив места в первом. Фрау Эрдман с облегчением вздохнула и села посвободнее. Она подумала, что стоит повторить всю партитуру

---

40 notes: 40

* Jungfrau (нем.) — дева, девица.

— времени было еще много; но самый первый хор, в котором усталые крестьяне возвращаются с тучных полей, навеял на нее дремоту, и она не стала читать дальше. Когда поезд въехал на окраины Милана, фрау Эрдман занервничала и ей с трудом удалось восстановить дыхание. Она встала перед зеркалом, чтобы причесаться и подкрасить губы. Ее тревожило, как бы они там вдруг сразу не заметили, что она слишком стара для роли, — так и представлялись вытянутые лица встречающих.

Но если у тех, кто приветствовал ее на перроне, и были подобные мысли, им хорошо удалось их скрыть. Вперед с поклоном выступил высокий, сутулый, лысеющий мужчина; он представился: синьор Фонтини, директор и художественный руководитель. Его невысокая, полная, вычурно одетая жена присела в реверансе; фрау Эрдман совершила четыре или пять рукопожатий, слишком смущенная, чтобы запомнить имена. Затем ее ослепили вспышки фотоаппаратов, и синьор Фонтини и другие едва ли не пронесли ее на руках сквозь крикливую толпу репортеров с блокнотами наготове, засыпавших ее вопросами. В волнении и суете приезда несколько ее чемоданов забыли в поезде, и одному из помощников

директора пришлось за ними сбегать. Наконец они вышли из вокзала, над ней раскрыли зонт, заботливо защищая от дождя, проводили к лимузину и увезли. В отеле, в центре города, ее ждала еще одна группа встречающих, в руки ей сунули огромный букет цветов. Но синьор Фонтини, опасаясь, как бы его дублирующая звезда не переутомилась, расчистил ей дорогу к лифту и лично проводил ее в отведенные ей комнаты на четвертом этаже. Посыльный и портье шли за ними с ее багажом. Синьор Фонтини поцеловал ей руку, сказав, что теперь она должна несколько часов отдохнуть, а в половине девятого он пригласит ее к обеду. Оставшись одна в роскошном номере, она растянулась на софе. Просторная, с высокими потолками гостиная вполне сошла бы и за королевские покои. Повсюду стояли вазы с цветами. Она разделась, наполнила ванну и, лежа в ней, почувствовала себя необыкновенно разнеженной и ублаженной. Ее беспокоила лишь мысль о том, что ее выступление никогда не оправдает такого приема.

Одевшись к обеду, она села за письменный стол, обращенный к окну на оживленную улицу, и написала открытку своей тете в Вену. «Дорогая тетя, — писала она, — на улице идет дождь, а мои

апартаменты полны цветов. Да, апартаменты! Поражаюсь, какой важной персоной они меня считают. Дело совсем не в цветах! Меня пугает даже предстоящий обед, не говоря уже о завтрашней репетиции — и о настоящем представлении! Собираюсь свалиться с лестницы и сломать себе ногу. С любовью, Лиза».

А там, за обеденным столом, ломившимся от цветов, серебра и хрусталя, царила великая Серебрякова, стройная, красивая и изящная, несмотря на то что рука у нее была на перевязи. Одна из величайших сопрано в мире, и ей лишь слегка за тридцать. Она должна была отправиться обратно в Советский Союз еще вчера, но решила задержаться, чтобы пожелать удачи своей преемнице. Лиза была покорена тем, что прославленная звезда отнеслась к ней с такой добротой. Мадам Серебрякова даже заявила, что она горячая поклонница голоса фрау Эрдман: слышала как-то ее в Вене, в «Травиате». Она тогда впервые была на гастролях за границей, и саму ее никто еще не знал.

Ее любезность и добродушие успокоили Лизу. С большим юмором рассказывала она о том, как упала со ступенек в «Ла Скала», и о своих попытках продолжить выступления. «Я поняла, что

это бесполезно, — бесстрастным тоном говорила она, — когда зрители стали покатываться со смеху». Они не могли «принять» романтическую юную героиню, Татьяну, с рукой на перевязи на протяжении всей оперы, особенно учитывая то, что действие охватывает несколько лет. Восхищаясь мужеством Серебряковой, один из ведущих критиков выразил озабоченность низким уровнем хирургии в царской России.

— И мы попробовали дублершу, — сказал синьор Фонтини, со вздохом разводя руками.– Ужасно. Через три вечера мы играли перед пустым залом. Но могу обещать, что завтра вечером такого не будет. Ваш приезд привлек огромное внимание.

Он так много распространялся на эту тему, что могло сложиться впечатление, будто Серебрякова — звезда второй величины *и на самом деле* отборочная комиссия все время с нетерпением ждала фрау Эрдман. Лиза приняла эту лесть со скептической улыбкой, но, как ни странно, почувствовала, что *сможет* спеть Татьяну не хуже Серебряковой. Она перестала тревожиться и о своем возрасте, ибо четвертый ее сотрапезник, русский баритон, которого она ранее знала лишь по почитаемому имени, оказался намного стар-

ше, чем она представляла. Виктор Беренштейн был совершенно сед, и ему явно было порядком за пятьдесят. Склонный к полноте, с нездоровым цветом лица, он смотрел на нее сквозь очки в роговой оправе, дружелюбно изучая свою новую партнершу. Лиза тоже разглядывала его, полагая счастьем то, что ей придется быть лишь посредницей для музыки Чайковского и стихов Пушкина, ибо в реальной жизни она не могла представить себя влюбленной в этого человека, каким бы славным и очаровательным он ни был. Самой привлекательной его чертой — помимо голоса, естественно, — были руки. Они были тоньше всего остального, мужественные, но нежные и выразительные. Эти нежность и выразительность сохранялись в длинных стройных пальцах даже при разрезании бифштекса.

Вслед за Серебряковой он выразил глубокое восхищение ее голосом и восторг по поводу того, что она смогла сразу же принять приглашение на роль. На какой-то запиленной пластинке он слышал ее исполнение Шуберта. Но поскольку Лиза никогда не записывалась, о чем ему и сказала, он сконфузился, покраснел и полностью переключился на борьбу с жестким куском мяса.

И он, и Серебрякова (Виктор и Вера, они наста-

ивали на таком обращении) работали в Киевской опере, и Лиза быстро перевела разговор на этот прекрасный город, в котором, кстати, и родилась. Оживление, вызванное упоминанием этого факта, не отраженного в ее биографической заметке, позволило Виктору вновь обрести душевное равновесие. Ее увезли оттуда, когда ей был всего годик, объясняла Лиза, поэтому она его толком и не видела, если не считать того, что пару раз бывала там проездом. То, что она успела увидеть, очень ей понравилось. Оба ее русских сотрапезника наперебой восхищались своим городом. Конечно, до недавнего времени условия жизни там были кошмарными, но постепенно все налаживается. Их пребывание в Милане тоже было показателем прогресса: все предыдущие поездки за рубеж проходили в составе строго укомплектованных групп.

— Вам никогда не хотелось вернуться? — спросила Вера.– Вы не чувствуете тоски по родине?

Лиза покачала головой:

— Я даже не могу точно сказать, где моя родина. Родилась на Украине, а мать у меня полячка. Говорят, в роду у нас есть даже цыгане! Почти двадцать лет прожила в Вене. Вот и скажите-ка, где *моя* родина!

Они покивали в ответ: да, им самим почти так же трудно определиться. Вера была родом из Ленинграда, а Виктор — из Грузии, и оба, конечно, евреи.

— По нации, не по религии, — поспешно добавила Вера.

Очевидно, думая, что синьор Фонтини может почувствовать себя обделенным вниманием, она спросила, что он считает *своей* родиной.

— «Ла Скала», — последовал ответ. Все рассмеялись, и Виктор предложил тост за родину их хозяина, за прекрасный театр «Ла Скала».

После этого было много смеха. Вера произносила шутки невозмутимым тоном, а Лиза, к собственному и всеобщему удивлению, блистала остроумием. Ее глаза искрились от вина и нервного возбуждения, и она доводила сотрапезников до колик, рассказывая нелепые — но совершенно правдивые — истории. Виктор Беренштейн ужасно закашлялся, когда, посреди одного из рассказов фрау Эрдман, вино попало у него не в то горло.

Серебрякова попросила его не пить слишком много, чтобы на утренней репетиции не мучиться похмельем.

— Он способен опьянеть даже от молока, —

объясняла она Лизе, а он утверждал, что все это чепуха — он ни разу в жизни не был пьяным. Вера закатила глаза к небу.

— Ты права! — вздохнул он, отодвигая от себя стакан, еще наполовину полный, и Серебрякова одобрительно похлопала его по руке. В ответ он взял ее руку в свои и погладил. Довольно долго они смотрели в глаза друг другуг влюбленно улыбаясь. Лиза уже успела заключить, что они близки между собой. Сначала она приняла их отношения за обычную дружбу, товарищество, порожденное несколькими годами работы в одном оперном театре и укрепившееся совместным пребыванием за рубежом. И конечно, не удивляло то, что они обращались друг к другу на «ты», когда переходили на русский, чтобы подыскать нужное итальянское слово. Но шло время, Виктор слегка захмелел, и Лизе стало понятно, что перед нею двое влюбленных. Она была поражена тем, что Серебрякова, с ее безупречным овалом лица, сияющими зелеными глазами и длинными светлыми волосами (такими же серебряными, как и ее фамилия), могла влюбиться в человека с такой нерасполагающей внешностью, к тому же намного старше ее самой. Но о вкусах не спорят. Открытие огорчило ее, хотя она сама не могла

бы сказать почему. Дело было ни в коей мере не в излишней щепетильности, хотя она знала, что Серебрякова замужем, да и у Беренштейна налицо были все приметы женатого человека. Возможно, виновата была открытость их поведения. Например, после того как они распрощались с синьором Фонтини и вошли в гостиничный лифт, Вера закрыла глаза и положила голову Виктору на плечо, одна лишь неуклюжая перевязь была помехой для еще более тесного прикосновения. Он обхватил ее рукою за плечи и стал гладить по волосам. Когда они вышли на третьем этаже, пожелав Лизе спокойной ночи, он все еще обнимал ее за плечи.

В своем тихом номере, среди бессмысленных цветов, Лиза почувствовала себя одиноко и грустно. Готовясь ко сну, заметила у себя на лице еще одну морщину. Спала мало и спустилась к завтраку еще до того, как начали накрывать. Уже допивая кофе, увидела Виктора и Веру — они пришли завтракать вместе.

Когда синьор Фонтини заехал за Лизой, чтобы отвезти ее в оперу, он указал на груду чемоданов и шляпных коробок, лежавших в вестибюле.

— Все — нашей примадонны, — сказал он.– Путешествует, как видите, налегке!

Серебрякова уезжала дневным поездом, сразу после репетиции, на которую она упросила Лизу разрешить ей прийти. Лиза, задыхаясь от волнения, улыбнулась замечанию синьора Фонтини, сделанному совершенно серьезным тоном. Затем они вышли на теплый весенний воздух и сели в лимузин, который, проехав два квартала, доставил их в оперу. Она забыла начальные фразы партии Татьяны, и ей пришлось просмотреть партитуру, чтобы освежить их в памяти.

В гримерной оказалось еще больше цветов, чем в отеле. Лизу провели прямо в примерочную, где на протяжении следующего часа ее подгоняли под платье Веры — так, во всяком случае, ей показалось. Ее настолько изумляло непривычное «звездное» обхождение, что она не могла произнести ни слова и лишь, как пчелиная матка, позволяла, чтобы ее переводили с места на место и, тормоша, наряжали. Платья были прекрасны, но их требовалось укоротить и кое-где сделать посвободнее. Затем ее потащили в гримерную, чтобы ее морщины сгладились, скрывшись под свежей кожей молодой девушки, а портнихи тем временем на скорую руку вносили последние изменения в костюмы. Пока она пила кофе, ее саму поглотило платье. Гримерши были недовольны

ее длинными, тусклыми волосами, в которых начинала пробиваться седина. Крайне недовольны. К вечеру ей подыщут парик. Они причитали и по поводу ее излишне жирной кожи — она начала обильно потеть. Смущенная, она призналась в склонности к полноте и потливости, особенно когда нервничает.

Затем она оказалась на сцене. Ей зааплодировали оркестранты, хористы, рабочие сцены и несколько зрителей, свободно рассевшихся в партере (среди них была и Серебрякова). Ленский, статный молодой итальянец, обреченный в очередной раз пасть на дуэли с Онегиным, поцеловал ей руку, его примеру последовал ее старый любящий муж из последнего акта, князь — бородатый румын средних лет. Кроме того, синьор Фонтини представил ее дирижеру с осиной талией — человеку, своей неиссякаемой энергией и безупречным мастерством внушавшему ей благоговение. Хотя ему самому было за шестьдесят, он держал себя так, что слышался безмолвный вопрос: «Почему мне докучают разные уроды и старухи?» На ломаном немецком (по причине, известной только ему самому) он выдал ей несколько кратких советов. Лиза прошла через сцену и обменялась рукопожатием с

первой скрипкой.

Онегин смотрел на нее лучезарно. Она кивнула в знак того, что готова начать. Все, кроме ее сестры Ольги и мадам Лариной, поспешили со сцены. Дирижер взмахнул своей палочкой.

Позже, когда, постучав ею по пульту, он остановил музыку, чтобы обратить внимание на ошибки, резкие слова прозвучали лишь в адрес духовых инструментов. Лизе он пробормотал пару лестных фраз, а Серебрякова, подняв большой палец, одобрительно покивала ей из партера. Репетиция шла превосходно. Конечно, в ее исполнении случались огрехи, но она исправляла их сразу же, как только ей на них указывали. Кроме того, было ясно, что ей нужно добиться, чтобы ее жесты и перемещения по сцене соответствовали движениям других исполнителей.

— Это придет очень скоро, — сказал ей Виктор в конце утренней репетиции.– Все видят, что вы — прирожденная актриса. Вы двигаетесь, как балерина. Ну да, вы же *едва не стали* балериной! Это дает себя знать. Но самое главное — вы умеете *петь!* Слава богу, что вы приехали!

А Вера взбежала на сцену и порывисто обняла ее здоровой рукой.

— Чудно! — повторяла она.– Великолепно! —

Она призналась, что во время сцены с письмом у нее навернулись слезы на глаза.– Такое я слышала впервые!

Ее великодушная похвала так тронула Лизу, что у нее не нашлось даже сил на слова благодарности. Она все еще не полностью оправилась от того момента в финале, когда *у нее самой* на глазах появились слезы. Это случилось, когда она должна была сказать полному раскаяния Онегину, что все еще любит его, но его ответ опоздал: нарушить брачный обет для нее невозможно. При фразе; «Счастье было так возможно, так близко!» — она вспомнила студента из Петербурга, которого любила всей своей пылкой душой, как Татьяна — Онегина. И, как Онегин, юноша отверг ее любовь, этот щедрый дар, и подавил собственные благородные порывы ради мечты, ради иллюзии свободы. Даже когда Лиза запела, ее переполняли эти нечасто приходящие воспоминания. Какое-то время они даже угрожали помешать пению. Она разозлилась на себя. Чтобы заставить слушателей плакать, певица должна оставаться хладнокровной и с сухими глазами.

Но когда она успешно справилась с этим затруднением, то снова почувствовала себя счастливой. Дирижер удовлетворенно кивнул ей; синьор Фон-

тини сказал: «Браво!», хотя и несколько траурным голосом, а М. Моро, первая скрипка, выразил одобрение, постучав по своему инструменту смычком. Несколько оркестрантов похлопали, затем все разошлись, чтобы чего-нибудь выпить. После обеда должна была состояться еще одна репетиция. Вера и Виктор пригласили ее с собой в свою излюбленную маленькую тратторию в переулке неподалеку, там быстро обслуживали и кормили вкусно и недорого. Вера сказала, что и раньше не хотела уезжать дневным поездом, а теперь, когда услышала, как поет Лиза, даже дикие кобылицы не уволокут ее из Милана, пока она не увидит вечернего представления. Виктор от души обрадовался перемене ее планов: на виду у множества рабочих сцены он обнял ее и крепко поцеловал в губы.

За легкой трапезой Лиза спросила у них совета, и они выдали несколько предложений, показавшихся ей великолепными; она даже удивилась, почему не додумалась до всего этого сама.

Их оживленную беседу прервало появление у стола изможденного и оборванного мальчишки. Он протянул руку, прося милостыни. Лицо у него было обезображено какой-то болезнью. Пока официанты не выгнали его, Лиза настояла,

чтобы он взял всю мелочь, что нашлась у нее в кошельке. Из всех страданий менее всего могла она выносить страдания детей. Ее новые друзья печально с ней согласились, а Виктор сказал, что *именно это* заставляет с надеждой смотреть на Советский Союз:

— Нельзя уснуть, а наутро проснуться при всеобщем благоденствии. Да, у нас пока еще остаются чудовищные примеры неравенства. Но, в конце концов, мы идем в нужном направлении.

Вера соглашалась, и Лиза, слушая их, была покорена их взвешенным оптимизмом. Они снова говорили то о музыке, то о политике — но в основном о музыке, — пока не настало время возвращаться в театр на дневную репетицию. Вера, извинившись, сказала, что пойдет в отель отдохнуть. Между Онегиным и бывшей Татьяной произошла любовная ссора, смутившая Лизу настолько, что она отвернулась.

Когда поднялся занавес на ее премьере, она обнаружила, что совершенно спокойна; никакие личные чувства не мешали ей, когда она пела: «Счастье было так возможно, так близко». Напротив, она заметила, что все непринужденнее и с большим удовольствием отвечает драматическому голосу и жестам Беренштейна. Когда они

кланялись, их встретили горячие, даже бурные аплодисменты. За кулисами все бросились ее поздравлять, но больше всего она оценила молчаливый жест Онегина, соединившего большой и средний пальцы в кольцо, как бы говоря: «Годится. Теперь все в порядке». Она искренне сказала ему, что он пел прекрасно. На репетициях она не могла в полной мере оценить, насколько хорош его голос, но во время спектакля он ее просто очаровал. Конечно, был он уже в своей осенней поре, и Беренштейн сам наверняка это знал, но удручающий физический закат, казалось, шел на пользу духовному богатству. Он отклонил ее похвалу, неудовлетворенно пожав плечами.

— Все уже позади, — сказал он.– Я не могу больше брать верхние ноты. Это моя лебединая песня.

Но Серебрякова, крепко сжав его руку, сказала:

— Чепуха!

Наклонившись, он прошептал Лизе на ухо:

— Мы устраиваем небольшую вечеринку у нас в номере. В честь вашей премьеры и Вериного отъезда. Непременно приходите.

У нас в номере! Лизу покоробило такое бесстыдство. Она предпочитала, чтобы подобные отношения поддерживались с определенной

долей осторожности. Но приглашение приняла с благодарностью, внезапно (так сказать, с трехчасовым опозданием) почувствовав, в каком напряжении была все это время. Будет неплохо немного выпить, расслабиться. Итак, переодевшись, они расселись по машинам и помчались в отель. «Их номер» на третьем этаже оказался еще более просторным и элегантным, чем ее, и в нем было еще больше цветов. Он быстро наполнялся людьми, и скоро стало тесно; воздух загустел от сигаретного дыма и гула голосов; между гостями сновали официанты с подносами, уставленными бутылками.

Выпив пару бокалов, Лиза рассказала Виктору, как она боялась, что окажется слишком стара для этой роли. Он долго смеялся, а потом сказал, что его последнюю Татьяну, в Киеве, доставляли на сцену в кресле на колесиках! Но вот *он*, без сомнения, был самым старым Онегиным в мире!

— Ваш возраст — это самое то. Сколько вам? Тридцать пять, тридцать шесть? Ну, в тридцать девять вам далеко даже до расцвета, куда как далеко! Вам за восемнадцатилетнюю девушку сойти очень просто. Да, да, я считаю именно так! Но вот когда пятидесятисемилетний старик, совершенно седой к тому же, изображает, что ему

двадцать восемь, — в это действительно трудно поверить! Хорошо, что итальянцы вырастают с верой в чудеса! — И он снова расхохотался.

Подошла Вера, и Лиза пересказала ей шутку.

— Да вы еще желторотый птенчик, дорогая Лиза! — сказала Вера.– Правда, голос ваш стал намного лучше с тех пор, как я слышала вас в Вене, — а он мне понравился еще *тогда.* Вы просто *обязаны* приехать в Киев, правда, Виктор? Как только буду дома, расскажу о вас директору. Конечно, он уже наслышан о вас и, я уверена, будет на седьмом небе, если вы согласитесь петь у него. Остановитесь у нас. Мы обязательно вас приютим, даже при том, — ее зеленые глаза вспыхнули, — что я жду ребенка! Да, только это тайна. Знаете о ней только вы и Виктор, поэтому, пожалуйста, никому не говорите. Вот почему я еду домой — отдохнуть, — хотя терпеть не могу оставлять Виктора одного. Присмотрите за ним, ладно? Для нас это большое счастье. Я чуть ли не рада, что упала и сломала руку, хотя, — ее улыбка мгновенно угасла, — все могло быть куда серьезнее. Видите ли, я все равно не смогла бы выступать весь сезон! Прежде я думала, что нелегко будет оставить сцену, даже на время, но теперь оказалось — ничего подобного. Я в жизни

не чувствовала себя такой счастливой! В общем, когда вы приедете, у меня уже будет малыш.

Ее радость заразила и Лизу, а Виктор только застенчиво улыбался. Моральная сторона — не ее дело, думала Лиза; она знала лишь, что они к ней очень добры и великодушны, они ей оба очень нравились. Она сжала Верины руки в своих и сказала, что рада за нее, что с удовольствием приедет, даже если ей не доведется петь в Опере. Но они были уверены, что с этим все будет в порядке: ее примут с распростертыми объятиями. Тут Лизу перехватил синьор Фонтини: он хотел ее представить двум богатым меценаткам — престарелым дамам, иссохшим, как прошлогодние листья. Они смутили ее шумным изъявлением восторга, и Лиза почувствовала облегчение, когда директор призвал к ти-даине. Шум постепенно стих, и он начал неразборчивую речь, в которой приветствовал блистательную фрау Эрдман и выражал сожаление по поводу отъезда прекрасной Серебряковой. Были наполнены бокалы, провозглашены тосты, и осоподобный дирижер попросил примадонну спеть на прощание. Просьба была встречена шумным одобрением, еще более усилившимся, когда Серебрякова попыталась отказаться подойти к фортепиано, где

Делоренци, дирижер, уже с нетерпением ее ждал. (Рояль входил в обстановку номера; у Лизы тоже был рояль.)

Наконец прекрасная оперная звезда — белизна повязки почти элегантно контрастировала со сплошной чернотой ее шелкового платья — позволила провести себя через комнату, улыбаясь кутерьме, устроенной ее друзьями и почитателями, и что-то сказала Делоренци. Тот начал играть спокойное, хорошо знакомое вступление к шубертовскому «An die Musik», а потом вступило сопрано. Ей не позволили отделаться одной только короткой песней, и она спела им — Виктор вручил Делоренци потрепанные ноты — печальную украинскую балладу. Кольца в цепи мелодии повторялись, но сочетались всякий раз по-новому; каждая фраза была отчетлива, прозрачна как хрусталь и исполнена тоски по щедрой родной земле. Слушатели были околдованы.

Можно было поклясться, что, когда отзвучали последние слова, голос ее все еще пел в сердце каждого. Все были слишком тронуты, чтобы аплодировать. Директор поднялся со стула, привстал на цыпочки—он был очень маленького роста — и расцеловал ее в обе щеки.

Лиза испытывала муку. Тяжело было оставать-

ся в этой комнате, пока пела Вера, — у нее начался сильный приступ удушья. Ей казалось, что она умирает. Это не имело никакого отношения к словам одного из оркестрантов, сказанным им своему соседу после исполнения Шуберта и случайно услышанным ею: «Вот это — *настоящий* голос». Она не ревновала; она знала, что никогда не сможет дотянуться до этого голоса, столь близкого к совершенству, как только можно вообразить; казалось, он звучит рядом с вратами рая, если не по ту сторону. Она не просто почитала Серебрякову, она была от нее в восторге — возможно, даже немного влюбилась в нее, всего лишь за день.

Конечно, отчасти виноваты были жара, табачный дым, гомон и столпотворение. Но в большей степени это было как-то связано с сообщением Веры о том, что она ждет ребенка; Лиза начала задыхаться как раз в .то время, когда та раскрывала ей полную восторга тайну. Почему-то это сильно ее взволновало. Как только Вера закончила народную песню, Лиза подошла к ней и задыхающимся голосом поблагодарила за прекрасное пение и за вечер, но, извинившись, сказала, что должна пойти к себе: дым начинает сказываться на ее горле.

— Как, вы не хотите дождаться газет? — разочарованно спросила Вера.

Укрывшись у себя в номере, куда снизу доносился лишь слабый, приглушенный ковром рокот разговоров, Лиза распахнула окно и глотнула прохладного ночного воздуха. Ей стало легче. Может, это я просто злюсь, как старая дева, сама того не зная? — подумала она, начиная раздеваться. Опять она спала очень плохо — металась, вертелась с боку на бок. Когда между штор замерцал рассвет, она заснула; ей снилось, что она стоит над глубокой траншеей, полной множества гробов. Прямо под собой она видела Веру: ее вытянутое обнаженное тело виднелось сквозь стеклянную крышку фоба. Оплакивая ее, стоя в ряд с другими скорбящими, она услышала какой-то шум сверху и поняла, что вот-вот обрушится лавина и всех их погребет под собой. Прежде, чем это случилось, ее разбудил звонок телефона. Это была Вера — она спросила, все ли с ней в порядке, ведь накануне у нее сбивалось дыхание и она казалась расстроенной. Лиза объяснила Вере, что та разбудила ее посреди дурного сна, за что ее и поблагодарила.

— Ну, забудьте о плохом сне — нам только что доставили газеты. Отзывы *великолепны/Честное*

слово! Не хуже, чем вы заслуживаете. Мы сейчас спускаемся завтракать — через час мой поезд. Поторопитесь и присоединяйтесь к нам. Мы возьмем с собой газеты. Виктор хочет поздороваться.

После небольшой паузы Лиза услышала глубокий голос Виктора, произнесшего: «Добрый день!» — после чего они повесили трубку. Значительно повеселев, она вскочила с кровати, побежала в ванную и быстро оделась. Она спустилась к завтраку едва ли не раньше своих друзей. Ей вручили кипу газет, раскрытых на отзывах. Но прежде чем она начала читать, Вера накрыла ее руку своей и сказала:

— Только помните, что критики здесь — настоящие циники. Поверьте мне, это *хорошие* отзывы — лучше, чем были у меня, — правда, Виктор?

Виктор, чуть помедлив, кивнул.

Лизе же они совсем не показались хорошими. «С грустью приходится отметить, что Серебрякова даже с одной рукой лучше, чем Эрдман — с двумя», — писал один из критиков. Другой утверждал, что голос у нее «сырой и провинциальный» и что в ее пении больше показных эмоций, нежели подлинных чувств. Нельзя было не признать, что встречались и более взвешенные замечания: «компетентна», «отважная попытка», «в сцене

письма Татьяна сыграна и спета очень трогательно», «большой запас выразительности».

— Поверьте мне, для миланских критиков это весьма высокая оценка, — настаивала Вера, в подтверждение своих слов снова крепко сжимая ей руку; они видели, что она расстроена.

Но расстроили ее вовсе не отзывы. Они и в самом деле были неплохими. Ее предупреждали насчет миланской критики, и она знала, что в словах Веры есть доля истины. Нет, она просто была как громом поражена и теперь злилась на себя, на свою глупость. Один из критиков писал: «Совершенно исключительная согласованность дуэта Беренштейн—Серебрякова, как в музыкальном, так и в драматическом плане, без сомнения, обусловлена продолжительной совместной работой в Киевской опере, а также — что само собой разумеется — тем, что они состоят в браке». Теперь Лиза вспомнила, где она в последний раз видела имя Виктора — в статье о Серебряковой. Серебрякова, конечно, лишь сценический псевдоним. Теперь это казалось таким очевидным. Почему же она пришла к неправильному заключению? Как выяснилось позже, обо всем черным по белому говорилось и в программке, врученной ей синьором Фонтини в день приезда, но это

каким-то образом ускользнуло от ее глаз.

Вера, торопливо допив кофе, вскочила и, наклонившись к Лизе, крепко обняла ее и расцеловала. Пока муж закутывал ее в красную накидку с застежкой у шеи, она сказала Лизе, что на следующий год ожидает увидеть ее в Киеве.

— Провожать меня не ходите. Заканчивайте завтрак. Ну, удачи! Не будем терять друг друга!

В свой первый выходной Лиза пошла на мессу в Кафедральный собор, но огромное здание подействовало на нее угнетающе, и она решила больше туда не ходить. Оно было слишком казенным. Ей больше нравилось бывать в небольших церквушках на окраинах: там легче было верить. В Вене тоже хватало католиков, но все же постоянное присутствие Церкви ощущалось там не так сильно, как здесь. Она не могла верить во что-то общепринятое и непогрешимо определенное. Даже «Тайная вечеря» Леонардо, смотреть которую она ходила в монастырь неподалеку, оставила в ней холодок: она была чересчур симметричной, люди так не едят.

Возможно, чем ближе к Богу, тем труднее в Него верить. Вот почему Иуда предал Его — и Петр тоже, под петушиные крики. Возвращаясь от «Тайной вечери», Лизе пришлось миновать одну

из тех вонючих жестяных кабинок, где мочатся мужчины. Шла она быстро и отвернувшись, но мельком успела заметить двоих, с обветренными оливковыми лицами, возвышающихся над писсуаром и погруженных в беседу. Не успев остановить богохульную мысль, она вообразила, что это Иисус и Иуда, подобрав одеяния и переговариваясь, стоят бок о бок после тайной вечери. Должно быть, трудно было Иуде, находясь так близко, воспринимать Его как Сына Божьего. А может, еще труднее было Марии, ближайшей к Нему на небесах. А значит, это невозможно и для Него самого. Сидя там, как Борис Годунов,

Он, должно быть, испытывает отвращение ко всему этому священному лицедейству.

Богохульное мгновение миновало, но оставило у нее чувство подавленности. Прежде чем написать открытку тете, она внимательно рассмотрела ее: это была плохая репродукция Святой Плащаницы, хранящейся в Турине. Она не впервые видела ее на репродукциях, гадая, действительно ли это Плащаница Христа; но в этот раз все было значительнее — ведь Плащаница находилась совсем близко. Она подумала, что, может быть, снова почувствует себя возвышеннее духом, если съездит посмотреть на нее.

Поэтому в ближайший выходной она села на поезд, идущий в Турин.

Она поехала с Лючией — своей дублершей. Это была девушка-хористка, чей катастрофический провал послужил причиной срочной телеграммы Лизе. Ломбардка с иссиня-черными волосами, с полными алыми губами и темными глазами, сияющими из-под длинных ресниц, она стяжала свое назначение скорее внешностью, чем голосом. Никто не предполагал, что Серебрякова, всегда пышущая здоровьем, пропустит хоть одно представление. Но Лючии выпала редкая возможность, а она с треском провалилась. И гордые ею родители, и шестеро сестер и братьев были на том спектакле, когда ее освистали. Лиза знала, какой ужасный удар был нанесен этой молодой женщине, и потому старалась сойтись с ней поближе, чтобы попытаться как-то возместить причиненный ей моральный ущерб. Боясь показаться снисходительной, она поначалу взяла официальный, чисто деловой тон, заявив, что некоторые арии хотела бы проштудировать с нею вместе. По вполне понятной причине девушка вела себя сдержанно и слегка отчужденно, но она страстно любила музыку, а занятия у Лизы в номере, состоявшие в изучении партитуры и

совместных упражнениях, показались ей такими интересными и поучительными, что вскоре ее недружелюбие рассеялось. Лиза, со своей стороны, обнаружила, что ей нравится помогать девушке избавиться от некоторых погрешностей в технике; у нее действительно был подающий надежды голос, и под Лизиным руководством она делала заметные успехи. Если бы ей снова пришлось выступать, она бы теперь справилась намного лучше.

Это имело значение и для Лизы, так как приступ удушья тем вечером — по счастью, кратковременный — поставил ее перед угрозой того, что в один прекрасный день она не сможет продолжать выступления. Поэтому, помимо сострадания, у нее были и вполне профессиональные мотивы для оказания помощи своей дублерше.

К этому времени они стали близкими подругами. Со стороны Лючии к дружеским чувствам примешивалось обожание, а со стороны Лизы — привязанность, близкая к материнской, — ведь ее воспитаннице не было и двадцати. Истово верующая и хорошо знающая Турин, Лючия с радостью приняла Лизино приглашение сопровождать ее в «паломничестве».

И вот они стоят на коленях в Туринском соборе,

глядя не на саму Плащаницу — та хранится под замком, скрытая от людских глаз, — а на точную ее копию, висящую на стене музея, и видят следы гвоздей, бича, самые черты Христа. Эти отметины и черты предстали перед ними не так, как на репродукциях, а в негативе. У монахини, стоявшей рядом с ними, по щекам лились слезы, и она снова и снова крестилась и бормотала: «Ужасно! Ужасно! Ужасно! Какая жестокость! Ох, какие злодеи!» Лиза тоже была очень взволнована. Лицо было изможденным, измученным, но тем не менее в нем чувствовалось достоинство, как и во всем теле; руки подобающим образом были сложены поверх гениталий. Глядя на фотографическое изображение, она все больше убеждалась, что перед ней действительно Иисус.

Вернувшись, Лиза исповедалась в Кафедральном соборе. Она,сказала священнику, что, увидев копию Святой Плащаницы, она перестала верить в Воскресение Христово. Священник, немного подумав, сказал, что не следует основывать свои суждения о столь важных вещах на сомнительной реликвии.

— Мы не утверждаем, что это и есть Святая Плащаница, — сказал он.– Только то, что она может быть ею. Если вы думаете, что она не под-

линна, то это еще не повод, чтобы не верить в Воскресение.

— Но дело в том, отец, — сказала она, — что я уверена в подлинности Плащаницы.

— Тогда почему вы говорите, что утратили веру? — Голос священника был удивленным.

— Потому что человек, на которого я смотрела, мертв. Так выглядят засушенные цветы.

Священник посоветовал ей пойти домой и помолиться в тишине своей комнаты.

Во второй раз Лиза исповедалась Лючии, когда они сидели на скамье у реки, наслаждаясь теплом солнца, скрытого легкой облачной дымкой, и ели бутерброды с сыром. Теперь это была мирская исповедь. Она рассказала девушке о своих жизненных трудностях: об отсутствии взаимопонимания с отцом и (что, впрочем, огорчало ее меньше) с братом; о неудаче, постигшей ее на первом выбранном поприще — в балете, которая частью объяснялась слабым здоровьем, но в основном — недостатком таланта; о своем расторгнутом браке — хотя у нее до сих пор сохранилось чувство, что брак заключается на всю жизнь. Она завидовала большой и любящей семье Лючии, завидовала ее молодости, в которой всегда кроется обещание семейного счастья. К

тому же — из-за того, что поздно начала и долго болела — Лиза никогда не станет чем-то большим, чем просто *хорошей* певицей, Лючия же могла по крайней мере *надеяться,* что в один прекрасный день станет великой.

— Как же вы обходитесь?..– Девушка опустила голову, покраснев от собственной смелости.

— Ты имеешь в виду, без любви? О, я стараюсь больше об этом не думать. Это дается нелегко — могу тебя уверить, я совсем не бесстрастна. Но можно многое подавить, с головой уйдя в работу.

— Я никогда не смогу уйти в работу *настолько,* — со вздохом сказала девушка, украдкой взглянув на свое обручальное кольцо.

— И правильно, моя дорогая, — сказала Лиза. Они замолчали. Лизу беспокоила дурацкая мысль,

что если бы руки Христа не были сложены таким приличествующим (хотя и таящим намек) образом, то Церковь не могла бы демонстрировать Его изображение.

— Хорошо, что мы вдали от Рима, — сказала она Виктору.– Если бы я поехала туда, то стала бы такой же атеисткой, как вы!

Виктор ответил, что он не атеист. Нельзя вырасти на Кавказе, созерцая ночами тысячи чистых

и ярких звезд, и не иметь в душе хотя бы отсвета религиозного чувства.

После этих слов Лизе страстно захотелось в горы, в их тишину и спокойствие. Съездить в Комо и обратно можно было за один день. Она спросила Виктора, не хочет ли он поехать с нею. Его глаза оживились, сквозь роговые очки в них, казалось, блеснули снежные вершины его родной Грузии.

Безоблачным июньским днем они пили чай на террасе отеля, выходившей на искрящееся озеро с четким очерком гор на заднем плане. Она чувствовала такую легкость, что готова была взмыть с террасы и полететь над озером. Прохладный освежающий бриз подхватил бы ее. Виктор тоже чувствовал себя счастливым — благодаря горам и письму от Веры, пришедшему утром. Та пребывала в превосходном расположении духа и лишь очень по нему скучала. С той же почтой Лиза получила от нее подарок — гравюру Леонида Пастернака, изображавшую Херсон. Она как-то упомянула Вере о Херсоне как о дорогой для ее памяти части черноморского побережья. Это был заботливый и трогательный дар.

За чаем Виктор снова просмотрел письмо, посмеиваясь над отрывками, которые зачитывал Лизе вслух. «Дорогой, я купила корсет для бе-

ременных. К твоему возвращению растолстею, наверное, как хавронья». Какая радость, говорил он, что осенью так неожиданно появится ребенок. Как сильно он скучает по Вере, как тяжело ему было бы без Лизи-ного общества. Его первая жена и десятилетний сын погибли во время гражданской войны: в их дом угодил шальной снаряд. Ему до сих пор трудно говорить об этом. До встречи с Верой он не ждал больше счастья от жизни.

Они отправились прокатиться на фуникулере. Он продолжал говорить о жене и будущем ребенке, прерываясь лишь для того, чтобы указать на прекрасный вид. Она никогда не предполагала, что он так разговорчив. Раньше ей было нелегко общаться с ним без Веры в качестве посредника. Он говорил очень мало, разве только выпив; а жена его была насчет этого очень строгой. Но сегодня, в горах, он раскрылся, хотя ход его мыслей был так же ограничен семейной темой, как ход вагончика фуникулера — его тросом. Самой Лизе говорить не хотелось, она довольствовалась улыбками и кивками, наслаждаясь пейзажем.

Они спустились в город уже к вечеру, и никому из них не хотелось торопиться на станцию. Он предложил попытаться снять комнаты в великолепном отеле, где они пили чай.

— Мы не понадобимся до завтрашнего вечера, — убеждал он ее, — Фонтини мы не принадлежим — хотя он именно так и думает! И Делоренци, этому надменному коротышке, — тоже! Я знаю, что вы думаете о Милане. Ужасный город! Ладно, черт с ними, давайте останемся здесь на ночь!

Лиза, сперва удивившись, согласилась.

— Отлично! — сказал он и бросился в отель. Вернулся он, сияя от успеха.

— Но у меня с собой ничего нет! — внезапно вспомнила она.

— А что вам нужно? Она подумала.

— Ну, полагаю, только зубную щетку и пасту!

— Подождите здесь.– Через три минуты он вернулся с тремя бумажными пакетами.– Багаж при нас, — он рассмеялся.– Мне понадобилось гораздо больше: еще и бритвенные принадлежности!

Поднимаясь в лифте, они обменялись смешками по поводу подозрительных взглядов, брошенных на них регистратором и портье. Разместившись в своих комнатах, они неспешно и с удовольствием пообедали. Обеденный зал был полон, но его обширность и высокие потолки побуждали есть молча или ведя чуть слышную беседу. Приступ разговорчивости у Виктора прошел, но их молчание было дружеским, а не

неловким. Сквозь балконные двери они смотрели на спокойное озеро, к сумеркам начавшее покрываться рябью. Потом прогулялись по берегу. Ночь в горах наступила быстро, вскоре вершины можно было «увидеть» только по тому, что там не было звезд — открытое же небо было усеяно ими. Какой бы избитой мыслью это ни казалось, Виктор был прав: глядя на такие звезды, невозможно не верить в *нечто.*

Рядом с ее дверью он удивил ее, запечатлев на ее губах крепкий поцелуй.

— Я давно собирался это сделать! — рассмеялся он.– Они у вас такие полные и так красиво очерчены! Вера меня простит. Вы, надеюсь, — тоже. Увидимся утром.

Он никогда не выказывал любопытства к ее прошлому, но когда за завтраком она обмолвилась о том, что была, «возможно, наполовину еврейкой», это его заинтересовало. В неспешном поезде, возвращавшем их в Милан, она обнаружила, что рассказывает ему вещи, о которых никогда никому не говорила. Неважный собеседник, он был замечательным слушателем, и ей полегчало от разговора с человеком, который ей сочувствовал, но не был чересчур близок. В общем, поездка в Комо так освежила Лизу и вос-

становила ее силы, что она спокойно справилась с двумя остававшимися неделями сезона.

За неделю до окончания выступлений, перед утренним спектаклем, она притворилась, что у нее сильный приступ мигрени. Лючия заняла ее место и прекрасно выдержала испытание. Поэтому Лиза позволила своей мигрени продолжаться до вечера. Снова пела Лючия. И Виктор, и синьор Фонтини, и Делоренци — все были поражены ее нежданным успехом.

2

Прежде чем продолжить долгий путь в Киев, Виктор на одну ночь остановился в Вене у Лизы и ее тети. Он нашел пожилую даму очаровательной и весьма утонченной. На самом деле ей было не так уж много, но ее старил мучительный ревматизм. К счастью, он пока не затронул ее рук, и она все еще могла профессионально и с чувством играть на фортепиано. Она умоляла их дать ей отведать того, что она упустила, сетуя, что не была достаточно здорова, чтобы сопровождать свою племянницу в Милан. Под ее энергичный аккомпанемент они спели заключительную часть оперы так раскованно, живо и естественно,

как им никогда не удавалось на сцене. Все всегда приходит слишком поздно!

В течение нескольких месяцев после возвращения и впервые за последние несколько лет Лизу одолевал сексуальный голод. Однажды вечером с концерта ее провожал сын одной из подруг тети, привлекательный, но пустой молодой человек чуть старше двадцати. Когда они были рядом с его домом, он уговорил ее отпустить кэб, чтобы выпить по стаканчику на ночь. Она сказала ему, что «нездорова», но он ответил, что не имеет ничего против, если ей это не мешает. Конечно же, у нее были возражения — подобные вещи казались ей безобразными и безвкусными, — но она не отказала ему в близости. Самое большее, что она могла потом сказать, было то, что он в какой-то мере избавил ее от вожделения, причем это не сопровождалось никакими побочными эффектами, как в прежние времена: без сомнения, из-за того, что зачатие было невозможным.

Но Лиза чувствовала себя униженной, потому что ничего для него не означала — была лишь еще одной «победой» да объектом похотливого любопытства из-за того, что позволила себя соблазнить, будучи в таком состоянии. С месяц она отвергала его знаки внимания, а потом снова по-

ехала к нему на квартиру. Когда они закончили, он стал грубо и бесцеремонно расспрашивать ее о предыдущих любовниках. Она, конечно, ничего не сказала, но, вернувшись домой и удостоверившись, что с тетей все в порядке, сама себе безмолвно ответила на его вопрос — и поразилась ответу. Был, конечно, Вилли, ее муж, и Алексей, студент из Петербурга, ее первая и, возможно, единственная любовь. Но как объяснить остальных? Был молодой офицер, соблазнивший ее, когда ей было семнадцать, в поезде, шедшем из Одессы в Петербург. Ну, отчасти виной тому были смешанные спальные вагоны в российских поездах; ее шаловливый настрой, внушенный вновь обретенной независимостью; волнение, создаваемое быстрой ездой сквозь ночь; шампанское, к которому она не привыкла. И все же это был гадкий поступок. Такой же краткой, бессмысленной, сугубо плотской и вдобавок отягощенной супружеской изменой была связь с оркестрантом, с которым она провела ночь вскоре после того, как муж ушел в армию. Она случайно снова с ним встретилась несколько лет спустя, в Бадгастайне, и так смутилась, что не смогла с ним заговорить. И наконец, этот молодой хлыщ — ничего не значащий и унизительный. Включая мужа — пятеро

мужчин! Сколько еще женщин в Вене столь неразборчивы в связях, не считая тех падших созданий, что продают свои ласки? Она была рада, что у нее исчезла потребность в исповеди. Как бы то ни было, больше такого не повторится. Пятнадцать лет она «сублимировала» свои желания — вплоть до последнего постыдного эпизода — и знала, что для душевного покоя куда лучше быть чистой, чтобы не сказать — бесполой.

Воодушевленная удачным дебютом в «Ла Скала», Лиза обнаружила, что стала намного нужнее устроителям сольных концертов и постановщикам опер, — и снова с головой погрузилась в музыку. Часто приходили письма от Веры и Виктора, и одно из них принесло обрадовавшую и взволновавшую ее новость. Виктор писал, что на следующий год его уговаривают петь Бориса Годунова — с ним как с баритоном покончено, это будет его лебединая песня, — и его предложение, чтобы Лизу пригласили петь полячку Марину, жену Самозванца, было принято с энтузиазмом. Скоро она получит официальное приглашение. Им не терпится снова ее увидеть. Вера после слов «лебединая песня» нарисовала звездочку, а внизу приписала: «Свежо предание!», потом шли несколько фраз о том, как хорошо, что Лиза

приедет в Киев и что она, Вера, не влезает ни в одно платье, но к ее приезду снова похудеет и будет нянчить пухленького карапуза.

Но спустя примерно месяц пришло письмо, в котором, несмотря на всю его теплоту, между строк таилось печальное известие. Постановка «Бориса Годунова» откладывалась — его сочли слишком замысловатым для восприятия публики. Они очень этим расстроены, но все равно будут счастливы с нею повидаться, хотя, пожалуй, будет лучше, если они выждут, пока ребенок не подрастет настолько, чтобы не отнимать все внимание Веры. Может быть, к тому времени администрация в конце концов решится поставить «Годунова». Хотя, если это и произойдет, Виктор уже не будет играть главную роль — он решил уйти на покой.

Вместе с голубой детской кофточкой, связанной собственноручно, Лиза отправила ответ, в котором говорила, что все понимает и что в любом случае ей было бы трудно оставить тетю, ревматизм у которой намного усилился.

Письмо, пришедшее через две недели, ослепило, как удар по лицу. Вера умерла при родах. Это случилось из-за того падения в Милане — так полагал Виктор, хотя никто с ним не соглашался.

Малыш — мальчик — был в безопасности. Из Грузии сразу же приехала мать Виктора, чтобы ухаживать за ребенком. Она очень стара, но еще полна сил; хорошо, что она рядом. Говорят, что малыш как две капли воды похож на Веру. Виктор не может поверить, что его возлюбленной не стало. Он выбросил все ее записи — не может их слушать, зная, что ее нет в живых. Как-то включил радио — и услышал Веру, она пела колыбельную Брамса своему малышу.

На следующий день после прихода письма в венских газетах появились некрологи о Серебряковой, как бы подтверждая ее смерть.

Лиза рыдала дни напролет. Ей казалось невероятным, что она может так глубоко скорбеть по подруге, которую видела воочию всего один день. Но все обстояло именно так. Она не знала, о чем написать Виктору. Слова печали и сочувствия, ложась на бумагу, выглядели фальшиво, хоть и шли из глубины души.

Она продолжала испытывать скорбь и долгое время после того, как миновало первое потрясение. Зимой того же года пришла весть о том, что в Ленинграде скончалась Людмила Кедрова — ее подруга, преподавательница балета в Мариинском театре. Они годами поддерживали теплую

переписку, когда это позволяла политическая обстановка, и Лиза никогда не забывала о дне рождения своего крестника. Людмиле было всего пятьдесят — ее убил рак. Смерть этих двух подруг, у каждой из которых остались дети, нуждавшиеся в них, подействовала на Лизу очень плохо.

Сама она тоже долго болела: возобновились боли в груди и области таза, не появлявшиеся уже много лет. Это все из-за горя, думала она; а к горю примешивалось недоумение: почему смерть Веры оказалась для нее больнее кончины Людмилы? Она задавалась вопросом, не оплакивает ли в какой-то мере саму себя. Вера была связана с тем единственным днем в ее жизни, когда с ней, каким бы нелепым и незаслуженным это ни было, обращались как со звездой. С тех пор у нее было больше ангажементов, чем когда-либо прежде, но ни один не был особенно значительным; теперь же она стала требоваться реже. Однажды проснувшись, она обнаружила, что ей уже сорок. Другие узнали об этом раньше. Как оперная певица она не добилась решающего успеха, и мало кто из директоров был достаточно проницателен, чтобы приглашать ее участвовать в своих постановках. Конечно, если вы Патти, Галли-Курчи или Мельба, то в сорок вы только

начинаете, но если вы всего лишь талантливы — вы погибли. По крайней мере, так она чувствовала, и ей казалось, что она действительно поет не совсем хорошо. Она знала, что ее страхи имеют болезненный характер, и связывала их с тем, что вела неправильную жизнь, пока ей не исполнилось тридцать и она не осознала, что годы пролетают мгновенно. Как бы то ни было, то ли из-за болезни горла, то ли просто из-за потери уверенности, но голос ее стал менее чистым. Не улучшали дела и неприятности с зубами. Несколько из них были спасены золотыми коронками, но четыре пришлось удалить. Вставные зубы влияли и на самолюбие, и на голос. Это же курам на смех, думала она, — петь «Liebestod»[41], зная, что во рту у тебя вставная челюсть.

Далекое событие, не имевшее никакого отношения к ней лично, мучило ее еще сильнее, чем горе. В Дюссельдорфе судили и приговорили к смерти человека, совершившего множество убийств. Дело было во многих отношениях сенсационным, и за него ухватилась даже венская пресса. Приговоренный убивал без разбора мужчин, женщин и детей, хотя в основном женщин

---

41 notes: 41

* «Смерть от любви» (нем.).

и девочек. Он держал в ужасе весь Дюссельдорф, и теперь, когда его поймали, общественность подняла шум, требуя, чтобы в дело была пущена заржавевшая гильотина — это была первая смертная казнь в Германии за несколько лет. С разной степенью серьезности и сенсационности австрийские газеты присоединились к ожесточенным дискуссиям о смертной казни. К этой теме никто не остается безразличным, и каждый уверен в своей правоте.

Лизе, хоть она и содрогалась при мысли об убитых детях, была свойственна глубокая инстинктивная убежденность в том, что отнимать у человека жизнь недопустимо. Многие из ее знакомых соглашались с ней. Многие другие, с той же страстностью и теми же ссылками на «нравственность», считали, что с массовым убийцей Кюртеном надо обойтись как с бешеным псом. Об этом шли жаркие споры. Одна из ее приятельниц, школьная учительница по имени Эмми, обычно добрейшая и мягчайшая из женщин, покраснела от ярости и выбежала из кофейни, где они спорили. Прежде чем уйти, она швырнула своей подруге на колени сенсационный выпуск газеты, где приводились самые отвратительные и страшные подробности дела. Заставляя себя читать эту

статью, Лизе пришлось бороться с тошнотой.

У преступника, конечно, было неописуемо ужасное детство: десятеро детей в одной комнате с родителями; собаки и крысы на пропитание; старшая сестра, растлевавшая братьев; отец — пьяница и психопат. Обучение Кюртена ограничилось тем, что он овладел искусствами истязать животных и мастурбировать. Все это утвердило Лизу в том, что он стал преступником не по своей вине. Дальнейшее содержание статьи заставило ее усомниться в том, следует ли, даже в его собственных интересах, обрекать его на дальнейшее существование. Он убивал, потому что испытывал потребность пить кровь. Однажды ночью он так мучился, не найдя жертвы, что отрубил голову спавшему на озере лебедю, чтобы напиться крови. Сообщалось, что он выразил надежду, что после удара гильотины останется жив еще достаточно долго, чтобы услышать, как хлещет на землю его собственная кровь.

Там были и другие ужасающие подробности: например, он выкапывал трупы некоторых из своих давних жертв и совершал с ними половые акты; еще больше ужасало то, что все это время он тихо-мирно жил со своей женой, которая и не подозревала о его одержимости и тайном пороке.

Но именно образы лебедя и человека, жаждущего услышать, как бьет из горла его кровь, преследовали Лизу неделями, будто навязчивый кошмарный сон наяву. Она останавливалась как вкопанная посреди улицы — ее голова кружилась от мысли о спящем лебеде и падающем лезвии.

Так же действовала на нее и мысль о том, что лишь по милости Божьей или в силу чистой случайности она — Элизабет Эрдман из Вены, а не Мария Хаан из Дюссельдорфа. Проснуться однажды утром, полной радости жизни, с радужными планами купить себе что-нибудь из косметики или пойти потанцеват.. познакомиться с приятным, обаятельным мужчиной и побродить с ним по лесу, а потом... Ничего! Но было бы невообразимо ужаснее родиться Петером Кюртеном... Быть вынужденной провести каждое мгновение жизни, единственной даруемой тебе жизни, как Кюртен... Да одна только мысль о том, что *кто-то должен* быть Марией Хаан или Петером Кюртеном, делала невозможным испытывать счастье от того, что она — Лиза Эрдман...

Уже после того, как казнь состоялась, она прочитала в газете Эмми, что, пока убийца был на свободе, в полицию поступило около миллиона донесений о предполагаемом монстре — и каж-

дый из указанных мужчин был допрошен. Но Кюртена среди них не оказалось — даже прокурор сказал, что тот «довольно приятен на вид». В тюрьме он получал тысячи писем от женщин, около половины из которых грозили ему жесточайшими мучениями, а остальные содержали признания в любви. Лиза плакала, когда прочла об этом, а ближе к вечеру, когда тихо сидела с тетей Магдой, расплакалась снова. Тетя, полагая, что Лиза все еще скорбит по умершим подругам, пожурила ее за то, что она живет прошлым.

Но это было не прошлое — настоящее. Потому что даже если этот убийца мертв (а Лиза молилась в душе, чтобы он не был *тем же* Петером Кюртеном, когда войдет в обитель умерших, что бы она собой ни представляла), *где-то* — в это самое мгновение — другое человеческое существо обрекается нести самое страшное из возможных проклятий.

Прошло немало недель, прежде чем она опять стала сама собой, а ее жестокие боли, угаснув, сменились временными недомоганиями. Еще долго после того, как это дело исчезло из заголовков, перестав быть сенсацией, ее преследовало лицо маленького мальчика, лежавшего на матрасе в комнате с еще одиннадцатью обитателями; ме-

рещился застенчивый, добрый человек в очках, которого ценили товарищи по работе и любили дети; виделся белый лебедь в гнезде на краю озера, забывшийся сном, от которого никогда не проснется.

Но тете Магде нужно было помогать одеваться и купаться; нужно было ходить по магазинам; петь «Liebestod»; посещать дантиста; навещать подругу в больнице; репетировать новую роль; вызывать водопроводчика для починки лопнувшей трубы; отправлять открытки, поздравляя с Рождеством; покупать и рассылать подарки — сначала в Америку, почти уже незнакомой семье брата, потом друзьям, живущим поближе; покупать новое зимнее пальто; писать ответные письма, благодаря за поздравления.

Она часто переписывалась с Виктором Верен-штейном, стараясь соответствовать его нынешним духовным заботам: его теперь занимали великие вопросы о жизни, смерти и вечной жизни. Она сама, как никогда раньше, часто задавалась ими, о чем ему и написала. Казалось, ее дружба утешала его в черные дни. Черные не только в личном плане — в его письмах встречались намеки на то, что обстановка ухудшается по всей стране.

В это мрачное время смертей и болезней воскресла одна из теней, населявших ее далекое прошлое: не кто иной, как сам Зигмунд Фрейд. Письмо от него было как гром с ясного неба; в нем говорилось, что он с интересом и удовольствием прочитал отзывы о ее выступлениях в «Ла Скала» в Милане и надеется, что ее карьера складывается удачно и что у нее все в порядке. Сам он «угасал понемногу и довольно-таки болезненно», приближаясь к смерти. В полости рта произведено уже несколько операций. Протез, которым он вынужден пользоваться, невыносимо уродлив. Он продолжает работать, хотя и с большим трудом, и недавно закончил анализ ее истории болезни, который будет опубликован во Франкфурте вместе с ее записями. Это и послужило причиной его письма к ней. Не будет ли она так любезна, чтобы прочесть прилагаемую статью и перепечатку ее собственных сочинений (которые она могла уже забыть) и дать ему знать, нет ли у нее каких-либо возражений? Он, конечно, закамуфлировал ее подлинную личность, но чувствовал бы себя увереннее, если бы заручился ее полным согласием на публикацию. За статью, наверное, будет выплачен некий скромный гонорар, и он заверял, что половина из него достанется ей за

существенный вклад в исследование.

Страдавшая в то время от новой вставной челюсти, она преисполнилась жалости и сочувствия, читая о гораздо более мучительных страданиях профессора. Это показалось ей поучительным — ей ли жаловаться! Она представляла, как мучается Фрейд из-за невозможности курить; в своем письме он упоминал об этом запрете как о наиболее болезненном последствии рака, вынудившего его носить уродливое приспособление.

После завтрака, поставив сушиться посуду, Лиза сразу же ушла к себе в спальню, прихватив с собой толстый пакет. До самого вечера, когда ей нужно было идти на спектакль, она покидала комнату лишь для того, чтобы приготовить тете поесть. Тетя Маг-да, глаза у которой были по-прежнему остры, заметила, что Лиза плакала и почти ничего не ела. Она поняла, что это связано с письмом и пакетом от профессора Фрейда, и поэтому мудро воздержалась от расспросов. Сочинение ответа стоило Лизе таких затрат энергии, что вечером она ничего не смогла выдать слушателям, и, как заметил один из критиков, выступление ее получилось «бесцветным».

Леопольдштрассе, 4, кв. 3.
29 марта 1931 г.

Дорогой профессор Фрейд,

Ваше письмо явилось для меня большой неожиданностью и доставило мне болезненное удовольствие. Удовольствие — потому что всегда приятно получить весть от человека, которому столь многим обязана. Болезненное — потому что пришлось ворошить мертвый пепел. Но я не жалею об этом, это даже в чем-то мне помогло.

Очень жаль, что у Вас плохо со здоровьем. Верю, что усилия Вашего врача приведут к полному выздоровлению. Мир слишком нуждается в Вас, чтобы позволить Вам «понемногу угасать», да еще и с болью. Очень любезно с Вашей стороны спросить о моем и тетином здоровье. Тетя Магда сильно страдает от ревматизма, но остается жизнерадостной и бодрой, сама я здорова совершенно. К несчастью, прошедший год не был хорош в других отношениях. Прошлой зимой умерла моя подруга из Петербурга, мадам Кедрова (мадам R), оставив мужа и четырнадцатилетнего сына (моего крестника, которого я ни разу не видела). Еще одна моя близкая подруга умерла при родах. Я много думала о детях, которые остались без матери, и, читая «Фрау Анну Г.», вспоминала о трагедии, случившейся в Вашей семье. Надеюсь,

Ваши внуки здоровы. Они, должно быть, уже совсем взрослые. У меня когда-то было гнетущее чувство, что один из них ненамного переживет свою мать. Пожалуйста, успокойте меня, скажите, что это не так. Уверена, это было лишь плодом моего тогдашнего больного воображения. Пожалуйста, передавайте привет Вашей жене и Анне, а также Вашей невестке. Встретив ее с Вами в Гастайне, я поняла, что мы могли бы стать хорошими друзьями, если бы имели возможность узнать друг друга получше.

Ваша превосходно написанная, глубокая статья о моей болезни тронула меня сильнее, чем я могу выразить.

Думаю, это понятно и без слов. Я как будто читала историю жизни своей младшей сестры, давно умершей, — в которой видны черты семейного сходства, но, наряду с этим, и множественные отличия: кое-какие характеристики и поступки никак не могут относиться ко мне. Я вовсе не хочу показаться придирчивой. Вы видели то, что я позволяла Вам видеть, нет — намного больше, Вы проникли в меня намного глубже, чем кто-либо. И не Ваша вина, что я, по-видимому, была неспособна говорить правду (или хотя бы отдавать в ней себе отчет). Если теперь это

стало для меня возможным, то в основном благодаря Вам.

Отвечаю сразу на Ваш вопрос: конечно же, я ничего не имею против публикации Вашей статьи. Это для меня большая честь. Что же касается моих постыдных — или бесстыдных? — писаний... что ж, если Вы думаете, что они действительно необходимы... Я покраснела, читая их, ведь я надеялась, что они уже давно уничтожены. Их же, я думаю, и публиковать-то нельзя? Но наверное, их необходимо включить, чтобы проиллюстрировать статью? Такая непристойная писанина — как только я могла такое сочинить? Я не говорила Вам, что в Гастайне, несмотря на то, что я была больна, — или из-за того, что была больна, — меня лихорадило от плотского желания. Один нахальный официант, совсем мальчик, украдкой прикоснулся ко мне, проходя мимо по лестнице, а затем посмотрел с холодной наглостью, как будто ничего не произошло. Внешностью он напомнил мне Вашего сына (того, что я видела на фотографии). Во всяком случае, все оставшееся время я предавалась самым необузданным фантазиям, где главную роль играл этот официант. Не знаю, как это увязать с моей гомосексуальностью, но, как Вы знаете, я

никогда не разделяла этой точки зрения.

Должна признаться, что на самом деле написала те стихи («неуклюжие вирши», как Вы правильно о них отозвались), пока была в Гастайне. Погода стояла ужасная, целых три дня мы не могли выйти наружу из-за метели. Ничего не оставалось делать, кроме как есть (что я делала по принуждению), читать, смотреть на других отдыхающих и фантазировать о молодом человеке. Майор-англичанин подал мне мысль написать стихи. Он как-то показал мне стихотворение, которое только что написал, о школьных днях, когда он во время летних каникул возлежал со своей возлюбленной (сомнительного рода) под сливовым деревом где-то на юге Англии. Стихи оказались сентиментальными и очень плохими. Я подумала, что смогу написать не хуже, к тому же мне всегда нравилось пробовать силы в стихосложении (конечно, всегда неудачно). Мне хотелось, чтобы получилось что-то шокирующее или, скорее, правдиво отражающее мои противоречивые взгляды на секс. Кроме того, я хотела, чтобы тетя знала, что я на самом деле из себя представляю. Я оставила свое творение на виду, и она его прочитала. Можете себе представить, как она была потрясена.

Когда же Вы мне предложили что-нибудь написать, я решила преподнести Вам эти стихи. Ну и переписала их на партитуру «Дон Жуана». Не знаю, зачем я это сделала. Это указывает на то, что я была невменяема. Когда Вы попросили у меня объяснений, я подумала, что будет понятнее, если вести повествование от третьего лица. Но понятнее не стало. Для этого потребовались Вы, и, по-моему, замечательно, что Ваше понимание еще более углубилось за последующие годы. Ваш анализ моих писаний (материнское чрево и т. д.) поражает меня своей точностью, хотя кажется излишне терпимым к их непристойности.

Корсет как символ лицемерия — да! Но также как сдерживающий фактор манер, традиций, морали, искусства. Мне кажется, в своих непристойных откровениях я предстаю перед Вами без корсета, и мне стыдно.

Простите, что не сказала Вам, что «Дон Жуан» уже был написан. Не думаю, что это важно. Но были и другие обманы, и я решила, что должна рассказать Вам о них, — может быть, тогда Вы решите, что статью необходимо переделать — или вообще от нее отказаться. Я не обижусь, если Вы возненавидите меня за всю ту ложь и полуправду, что я Вам наговорила.

Вы были правы, говоря, что воспоминания о беседке — только ширма для чего-то другого. (Хотя случай в беседке тоже имел место) Однажды в детстве я забрела на отцовскую яхту, когда меня совсем не ждали, и увидела маму, тетю и дядю — все были обнажены. Я так оторопела, что подумала, будто вижу отражение лица матери (или, возможно, тети) в зеркале, но нет, они обе там были. Я решила, что мать (или тетя) молится, стоя на коленях; дядя стояч на коленях позади нее. Совершенно ясно, это был половой акт a tergo. *Можете не сомневаться, я не задержалась там, чтобы все выяснить. По всей видимости, мне было три года, когда это случилось.*

Все это вспомнилось только пять лет назад, после очень напряженного разговора с тетей Магдой. От брата Юрия (из Детройта) я узнала, что отец умер. Он, конечно, потерял и дело, и дом, жил совсем один, в единственной комнате. Я не то чтобы горевала из-за его смерти, но это известие подействовало на меня, и я решила разобраться с тетей. Бедняжка, ее совсем истерзали угрызения совести. Было ясно, что она от всей души хотела покаяться в единственном дурном поступке в своей жизни. Она призналась, что когда бывала в Одессе, то два или три раза

ложилась в постель к дяде вместе с моей матерью. Объяснить, почему позволяла себе так поступать, она могла только тем, что жена, чтобы угодить мужу, способна на многое; и я это понимаю. Кажется, к тому времени мои отец и мать уже долгое время не знали близости. Дядя убедил тетю Магду, что это никому не нанесет ущерба и даже будет милосердно... Что ж, так или иначе, но это произошло, и она из-за этого была совершенно несчастна; так что когда я жизнерадостно приковыляла к ним в тот раз, это оказалось для нее прекрасным поводом сказать: все, больше никогда. Они все надеялись, что я была слишком маленькой, чтобы что-либо понять.

После этого тетя решила, что все они пришли в чувство. Она, я думаю, исповедалась и надеялась, что все это постыдное дело осталось в прошлом. Она понятия не имела, что они продолжали встречаться — зимой для свиданий приходилось ездить очень далеко — и что это, должно быть, было не просто телесным влечением, а настоящей влюбленностью. Она обо всем узнала только тогда, когда в дверь постучал полицейский, надеясь застать дома сына или дочь — потому что, согласно регистрационной книге в будапешт-

ском отеле, и она, и мой дядя умерли. Отчасти это было правдой — дядя Франц в самом деле был там на педагогической конференции!.. Тела обгорели до неузнаваемости. Только когда моей тете показали драгоценности, принадлежавшие сгоревшей женщине, она узнала в них вещи сестры. И ей пришлось послать телеграмму моему отцу. Можете себе это представить... Даже если бы к тому времени я еще не простила тетю за всю мерзость, что происходила у нас дома, я была бы просто обязана ее простить, узнав, через какой кошмар ей пришлось пройти. Еще ее мучила мысль, что их «трио», возможно, не было началом, что они, может быть, смеялись над ней. Но этого мы никогда не узнаем.

Тетя убеждена, что попадет в ад за свою роль в этой трагедии, хотя я, как могла, пыталась внушить ей, что все мы совершаем ужасные поступки, но прощение все же возможно. Конечно, когда мой отец умер и все это вышло наружу, она, ко всему прочему, почувствовала тяжкую вину за то, что они втроем обманывали его. *У меня также есть некоторые «поправки» относительно отца. Я была совсем не справедлива к нему в своем анализе. Если между нами и были плохие отношения, то в основном по моей вине.*

Видите ли, даже тогда я знала (но не спрашивайте откуда), что смерть матери имела какое-то отношение к той сцене на яхте, и наверняка — в соответствии с детской логикой — винила его за то, что его там не было. Я винила его *в смерти матери. И это в какой-то степени справедливо: ведь если бы он бывал с нами больше, ничего такого никогда бы не произошло. Между прочим, дело было не только в бизнесе, он еще и состоял в Бунде, еврейской демократической партии. У него было много забот. Мне следовало быть более терпимой.*

Я также признаю себя виновной в клевете на Алексея (А). Та прогулка на яхте в Финском заливе была превосходна, ее омрачила лишь небольшая размолвка. Мы впервые спали вместе, и, по крайней мере для меня, это было чудесно. Я слегка галлюцинировала — «пожар», — но ничто не могло затмить радости от соединения с любимым. Инцидента, который я описала, не было. Там, где дело касалось секса, поведение Алексея бычо очень корректным, даже пуританским. Он вполне был способен стрелять в людей или бросать в них бомбы (очевидно, продолжает это до сих пор), но не предаваться любви с другой девушкой в моем присутствии. Он всячески старался не позво-

лять чувствам мешать делу; честно говоря, мы стали бы любовниками намного раньше, если бы это зависело от меня. Уверена, ему было больно оставлять меня, но в женитьбе и ребенке он видел угрозу своей жизненной миссии. Молодая женщина, с которой он уехал из Петербурга, полагаю, скорее была соратником по борьбе, чем кем-то еще. Вероятно, она подходила ему больше — я была слишком эмоциональна, слишком легкомысленна, чтобы стать товарищем революционеру.

Но вернемся к прогулке на яхте. После любовных объятий я — так мне помнится *— проснулась среди ночи (хотя в каюте было по-прежнему совершенно светло) и увидела отражение своего лица в зеркале шкафа.* Кажется, *именно тогда я вспомнила ту сцену из детства: мой дядя с сестрами-близнецами. Может быть, когда Вы спросили меня о половом акте* a tergo, *я* вспомнила воспоминание *и перепутала две яхты. Только этим я могу объяснить или оправдать свою чудовищную ложь. Я даже не уверена, знала ли я, что лгу. Я была так зла на Алексея за то, что он отказался от всего, что у нас было, что мне захотелось обвинить его в какой-нибудь непристойности. Очень сожалею об этом. Повторюсь,*

но мне кажется, что я была неспособна говорить правду. Я легко позволяла себе уноситься в фантазиях. Должно быть, мысль о том, что я уплыла с яхты прочь, мне очень понравилась.

Не было и того, чтобы он подпалил мне волосы сигарой. Я увидела через плечо вспышку зажженной Вами спички и вспомнила, как шипели от огня мои волосы, но это было не на яхте с Алексеем, а раньше, в Одессе, когда меня «похитили» матросы. Все было отвратительнее и страшнее, чем я Вам рассказывала. Матросы были не с «Потемкина», как, кажется, я Вам говорила, а с торгового судна, доставившего зерно для моего отца. Увидев меня на улице, они узнали во мне его дочь и заставили вернуться с ними на корабль. Уже многие дни занимаясь поджогами, грабежами и пьянством, все они совершенно обезумели. Я думала, что они меня убьют. С палубы был виден пожар в районе порта (думаю, горела гостиница). Они ничего не говорили о распутстве моей матери — как Вы верно догадались, я это придумала. Нет, они поносили меня за то, что я еврейка. До этого я не думала, что быть евреем плохо. *В то время антисемитизм в России был так же силен, как революционные настроения. Существовала даже отвратительная организация, призывав-*

шая к истреблению евреев как нации. Отец дал мне почитать один из их памфлетов, чтобы отчасти «просветить» меня относительно моей принадлежности к преследуемому клану. Но я обо всем узнала слишком поздно, уже после своего «крещения» на корабле. Матросы видели в моем отце мерзкого эксплуататора (может, я и была) и даже не знали, что политически он на их стороне. Они плевали мне в лицо, грозили прижечь мне грудь сигаретами, сыпали мерзкими словечками, каких я никогда прежде не слышала. Они силой заставляли меня совершать с ними оральные акты, говоря, что грязные жидовки годятся только для... Но Вы сами догадаетесь, какое выражение они применили.

В конце концов они меня отпустили. Но с тех пор мне стало трудно признаваться в том, что во мне есть еврейская кровь. Я всячески старалась это скрывать и думаю, что это может быть как-то связано с моей уклончивостью и лживостью вообще — в молодости, особенно по отношению к Вам, профессор. Наверное, это самое важное из того, что я от Вас утаила. Я пыталась намекнуть Вам об этом в «дневнике».

После этого эпизода мой отец очень хорошо ко мне относился; но в моих глазах он опять-таки

был виноват — тем, что оказался евреем. Что было горше всего, что казалось невыносимым — и чего я до сих пор не понимаю; может, Вы сумеете помочь? — так это то, что, вспоминая о тех страшных событиях, я находила их возбуждающими. *Вы пишете, что я отвечала на все вопросы о мастурбации так, будто была Святой Девой. Что ж, Вы были совершенно правы, подозревая, что я говорю неправду. Я, конечно, не вела себя так, как подобало бы Деве Марии; по крайней мере, после случая на корабле — честное слово, не помню, чтобы что-то такое было в моей жизни раньше. Лежа в постели, я повторяла про себя слова, которые они говорили, в воображении снова проделывая то, что они меня заставляли делать. Для «чистой» девушки, которой няня — полячка и католичка — внушила, что плоть грешна, моя реакция была еще более ужасной, чем то, что произошло. Возможно, именно из-за этого у меня вскоре развилась «астма». Кажется, припоминаю, что в одной из Ваших статей я читала, что симптомы горловой инфекции и т. п. появляются из-за чувства вины после подобных актов.*

Смятенные мои чувства и фантазии вылились — уже тогда! — в страшно плохие стихи и тайный дневник. Однажды я застала нашу гор-

ничную-японку за чтением этого дневника. Даже не знаю, кто из нас был более смущен. В итоге, однако, мы лежали на кровати и целовались. А! Вы, наверное, подумали: «Ну, а что я всегда говорил! Она признает это!» Но разве юность — не пора экспериментов? Все было совершенно невинно и никогда больше не повторялось, ни с ней, ни с кем-либо еще. Мы обе были одиноки и жаждали любви. Думаю также — основываясь на том, чему Вы меня учили, — что я таким образом (через посредника) пыталась приблизиться к отцу. Видите ли, было совершенно ясно (собственно говоря, она в этом призналась), что одной из ее обязанностей была забота о телесных потребностях моего отца. В этом отношении она не была одинока. По-моему, его «навещали» почти все, начиная с экономки. Он был красив и, конечно, располагал полнотой власти. Моя гувернантка Соня уезжала на время при очень подозрительных обстоятельствах: я уверена, что он устраивал ей аборт. Но в ту пору его фавориткой была эта японка, очень хорошенькая. (Она уехала домой незадолго до моего отъезда в Петербург.) Целуясь с ней в тот единственный раз, я, должно быть, неосознанно «прикасалась» к отцу и в то же время мстила ему за его пренебрежение мною.

Я, кажется, возвращаюсь к тому, о чем говорила раньше. Он действительно *делал все возможное, чтобы установить со мной хорошие отношения: не жалел денег и тщательно избегал хоть в чем-то оказывать предпочтение моему брату. И все же я всегда чувствовала, что это ему дается нелегко, оставаясь лишь делом* долга. *Может быть, он боялся женщин и его больше устраивали случайные связи. Он наверняка был способен испытывать страсть, иначе он никогда не женился бы на моей матери, несмотря на все неравенство их положений. Но потом, я полагаю, он пожалел о том, что дал волю чувствам. С тех пор как я помню его, он казался холодным и расчетливым, отдающим всю свою энергию делам и тайным политическим интригам в интересах Бунда. После случая на корабле он, по-моему, понял, что «теряет» меня, и стал особенно стараться быть со мной милым. Он даже взял меня с собой на Кавказ покататься на лыжах. Это было сущим бедствием, потому что я чувствовала, чторн жалеет о каждой минуте, потерянной для дела. Так или иначе, к тому времени я стала винить его в своем чудовищном преступлении — в том, что я еврейка. Мы оба были бесконечно рады, вернувшись домой.*

Теперь о моем муже. И он, и вся его семья были ужасными антисемитами. В большей мере, чем я дала Вам знать. Правда, я не считаю, что он был чем-то из ряда вон выходящим в этом плане, — но евреи обвинялись буквально во всем. В других отношениях он был очень приятным и добросердечным, я его очень любила. Насчет этого я Вас не обманула. Но видите ли, я жила, постоянно что-то скрывая. Он говорил, что любит меня, но если бы узнал, что во мне есть еврейская кровь, то возненавидел бы. Когда бы он ни говорил: «Я тебя люблю», — мне слышались слова: «Я тебя ненавижу». Так не могло продолжаться. Хотя это меня страшно удручало, ведь во многих отношениях мы прекрасно подходили друг другу, и мне очень хотелось иметь свой дом и семью.

Это возвращает меня к той ночи, когда я вспомнила о случае в беседке и, возможно, о других подобных вещах. Несколько мгновений я была полна счастья! Вы понимаете? Я была убеждена, что мой отец — не мой *отец, что я не еврейка и могу жить со своим мужем и с чистой совестью забеременеть! Но я, конечно, не могла вынести* радости *от того, что моя мать была прелюбодейкой, выдававшей меня своему мужу за его собственное дитя, — ведь это до того мерзко и*

грязно, что нельзя выразить. Радоваться *подобным вещам! Поэтому, как Вы знаете, я это все «похоронила».*

Мы, между прочим, на самом деле развелись. Я слышала, что он женился вторично и после войны переехал в Мюнхен.

Так что, как видите, наша разлука почти не была связана с сексуальными проблемами. Мне всегда было трудно наслаждаться жизнью, зная о тех, кто страдает «по ту сторону холма». А такие всегда найдутся. Я не могу объяснить свои галлюцинации, но знаю, что они странным образом порождались удовольствием (которое я продолжала испытывать). Так же было с Алексеем, и должна признаться, что «экспериментировала» с одним из оркестрантов Оперы вскоре после того, как муж ушел в армию, и испытала с ним то же самое (хотя, конечно, удовольствие было весьма поверхностным и отягощенным чувством вины). Я не лгала, когда говорила, что эти галлюцинации были связаны со страхом забеременеть. Если не ошибаюсь, то сейчас я была бы от них избавлена, потому что у меня стали исчезать месячные — довольно рано... Но в любом случае я не собираюсь это проверять.

Я также не могу объяснить свои боли. (Они вре-

мя от времени возобновляются.) Я продолжаю считать их органическими, хотя и необычными, и каждый раз, приходя к врачу, ожидаю услышать, что последние пятнадцать лет страдаю от какой-то заморской болезни груди и яичника! Допускаю, что «астма» в пятнадцатилетнем возрасте могла иметь истерический характер, но все остальное, думаю, нет. Давайте попытаемся взглянуть на это заново. Я потеряла мать, когда мне было пять лет. Это было ужасно; но, как Вы говорите, сироты есть повсюду. Она умерла при невыносимо безнравственных обстоятельствах и очень болезненной смертью. Да, но я могла бы с этим смириться. Найдется ли семья без своей неприглядной тайны? Честное слово, раньше мне не хотелось говорить о прошлом, меня больше интересовало, что происходило со мной тогда и что может случиться в будущем. В какой-то мере это из-за Вас *у меня появилась привязанность к греху моей матери, и я навсегда Вам благодарна за то, что Вы дали мне возможность разобраться во всем этом. Но ни на минуту не верю, что это как-то связано с тем, что я корчилась от боли. От этого я была несчастна, но не больна. Наконец, если во мне и есть какое-то бисексуальное начало, то оно*

не столь явно выражено, чтобы я не смогла с ним с легкостью совладать. В целом я считаю, что моя жизнь была более сносной из-за тесного общения с женщинами.

Что меня терзает, так это вопрос: жизнь — это добро или зло? Я часто думаю о той сцене, которую случайно застала на отцовской яхте. У женщины, которая, как я думала, молилась, было искаженное мукой, испуганное выражение лица, но ее «отражение» было умиротворенным и улыбающимся. Улыбающаяся женщина (скорее всего, это была моя тетя) держала руку на груди моей матери (как будто успокаивая ее, мол, все в порядке, она не против). Но эти лица — по крайней мере, теперь мне так кажется — противоречили друг другу. И должно быть, противоречили самим себе тоже: гримаса была полна радости, а улыбка — печали. Медуза и Церера, как Вы блестяще сказали! Может показаться безумным, но кровосмешение как символ тревожит меня гораздо больше, чем как нечто реальное. Совокупление добра и зла для сотворения мира. Нет, простите меня, то, что я написала, — дико. Бред одинокой стареющей женщины!

С тех пор со мной только раз случился приступ зеркалобоязни. Это произошло, когда я читала

о случае «Человека-Волка» с его одержимостью совершать половые сношения more ferarum. *(А на самом деле, разве мы далеко ушли от животных?) Между прочим, я его знала. Вернее, понаслышке знала о его семье в Одессе. Упомянутые Вами подробности не оставляют сомнений. Вот почему — можно мне внести предложение? — нет необходимости ссылаться на Одессу как на «город М***». Близких, которых осталось мало, это не обманет. А остальных собьет с толку то, что Вы изобразили меня виолончелисткой (!), за эту маску — спасибо.*

История Человека-Волка преследовала меня годами: это что-то вроде мессии нашего века.

По крайней мере, сейчас *я с Вами откровенна и от души сожалею, что не была столь же правдива* прежде, *когда Вы тратили на недостойную пациентку так много своего времени и энергии. Я не могу выразить, как была тронута, узнав, сколько мудрости, терпения и доброты были отданы несчастной, малодушной, лживой молодой женщине. Уверяю Вас, это было небесполезно. Способностью понимать саму себя, которой теперь обладаю, я обязана только Вам.*

Желаю Вам успеха в публикации Вашей статьи, если Вы по-прежнему полны решимости это сде-

лать. Хотелось бы, чтобы мое настоящее имя не упоминалось ни при каких переговорах. Если мне будут причитаться какие-то деньги, пожалуйста, отдайте их на благотворительные цели.

Искренне Ваша,
Лиза Эрдман

Лиза почувствовала огромное облегчение, сообщив обо всем, что считала существенным. Она собиралась рассказать ему и о том, что спала с «незначительным» мужчиной в поезде, шедшем из Одессы в Петербург, о своем первом опыте полового сношения и одновременно первом случае галлюцинации; но письмо так разрослось и в нем было так много исправлений прежней лжи, что она испугалась. Еще одно исправление могло оказаться последней каплей; к тому же тот эпизод и в самом деле *не был* важным, она не могла сказать, что ее когда-либо мучило воспоминание о нем.

Да, было замечательно излить наконец душу. Она с нетерпением ждала ответа. По мере того как проходили дни, потом недели, а ответ от профессора все не поступал, нетерпение начинало сменяться ужасом. Она смертельно оскорбила его. Он в ярости. В самом деле, как может быть иначе? Она заслужила его гнев. Она снова стала задыхаться (но, конечно, не по причине фелля-

ции). Из-за плохого самочувствия ей пришлось расторгнуть три контракта. Однажды утром она уронила поднос с завтраком на полпути между кухней и комнатой тети — ей показалось, что она слышит громоподобный голос Фрейда, осыпающий ее проклятиями.

По ночам она страдала от кошмаров, один из которых заставил ее стонать так громко, что к ней в спальню, опираясь на трость, приковыляла тетя, побледневшая так, что лицо у нее стало одного цвета с ночной рубашкой. Лизе приснилось, что она встретила мужчину, поднимавшегося по лестнице в их квартиру. Сняв фетровую шляпу, он сказал, что он — Человек-Волк и пришел, чтобы отвести ее к Фрейду. Она испугалась, но он был весьма обходителен и объяснил, что Фрейд хочет лишь просмотреть географические названия в рукописи, заменяя инициалы настоящими именами. И вот она пошла с ним, но вместо того, чтобы направиться к дому Фрейда, тот привел ее в какой-то лес. Ему нужна ее помощь, сказал он, показывая несколько порнографических снимков, где девушки мыли полы, стоя на коленях и задрав платье. Только так он получал облегчение — разглядывая эти фотографии. Она серьезно поговорила с ним об этом, и он, казалось, был

благодарен ей за помощь. Они были рядом с озером, и она залюбовалась лебедями. Когда она повернулась к мужчине, тот превратился в настоящего волка: волчья голова торчала между его шляпой и длинным обтрепанным черным пальто. Он зарычал, и она бросилась прочь, а он мчался за ней, норовя вцепиться ей в горло. Даже спасаясь бегством, она помнила о том, что заслужила это — письмом Фрейду. Как раз в это время ее растолкала тетя Магда, в белой ночной рубашке и с перепуганным лицом, как у бабушки из «Красной Шапочки».

Когда же наконец ответ пришел, то лишь несколько часов спустя Лиза набралась мужества, чтобы вскрыть конверт. У нее тряслись руки, когда она разворачивала письмо. И она морщилась от боли, читая его (но было это в основном из-за абзаца, посвященного его внуку). И пунцово покраснела, когда он упомянул ее описку, мучительно стараясь вспомнить контекст, который напрочь забыла. В общем, письмо все же оказалось более милосердным, чем она заслуживала.

Берггассе, 19
18 мая 1931.

Дорогая фрау Эрдман,

Спасибо за Ваше письмо от 29 марта. Я, конечно, нашел его очень интересным, и не в последнюю очередь благодаря Вашей описке: «может, я и была» вместо «может, он [мой отец] и был». Но все же она не настолько забавна, как ошибка, сделанная одним из моих английских корреспондентов, выразившим мне сочувствие по поводу «злополучного еврея» (jew) вместо «злополучной челюсти» (jaw). Косвенным образом это является причиной моей задержки с ответом — я имею в виду челюсть. Мне пришлось перенести еще одну операцию на ней, и, боюсь, я совсем запустил свою переписку.

Рад узнать, что с Вами и Вашей тетей все в порядке. Отвечая на Ваш вопрос, сообщаю, что мой маленький внук Гейнц умер, когда ему было четыре года. С ним из моей жизни ушла способность любить.

Теперь о главном. Я склоняюсь к тому, чтобы опубликовать статью в том виде, в каком она есть, несмотря на все недостатки. Мне бы хотелось, если позволите, добавить постскриптум, где бы были представлены и обсуждены Ваши позднейшие признания. Мне, видимо, придется подчеркнуть, что врач должен верить пациенту в той же мере, в какой пациент должен доверять

врачу.

Мне вспоминаются слова Гераклита: «Душа человека — это далекая страна, к которой нельзя приблизиться и которую невозможно исследовать». Не думаю, что это непреложная истина, но успех зависит от того, отыщется ли среди скал спокойная бухта.

Искренне Ваш,
Зигмунд Фрейд.

Лиза ответила коротким письмом, в котором благодарила за снисходительность и ужасалась точности своих предчувствий. Она призналась, что испытывает угрызения совести, как будто ее предвидение каким-то образом было виновато в смерти ребенка. Ответа на свою записку она не ждала и даже убедительно просила его не обременять себя ответным письмом. Тем не менее через несколько дней из квартиры на Берггассе пришло письмо:

Дорогая фрау Эрдман,

Вы не должны казниться из-за смерти моего внука. Все это осталось в далеком прошлом. Без сомнения, когда умерла его мать, в нем уже были семена смертельной болезни. Мой опыт занятий психоанализом убедил меня в том, что

телепатия существует. Если бы я мог прожить свою жизнь снова, то посвятил бы ее изучению именно этого явления. Совершенно очевидно, что Вы обладаете повышенной восприимчивостью. Не надо незаслуженно терзать себя за это.

Собственно говоря, в том, что Вы обладаете этой способностью, убедил меня один из Ваших снов, рассказанных Вами во время анализа. Вы, возможно, забыли его. Судя по записям, которые я тогда сделал, Вам снилось, что в будапештской церкви венчалась уже немолодая пара и посреди церемонии один из прихожан встал, вынул из кармана пистолет и застрелился. Невеста вскрикнула — это был ее бывший муж — и упала в обморок. Когда Вы подробно излагали мне этот сон, мне было совершенно ясно, что он связан с трагическим событием, случившимся в Будапеште за год до этого (в 1919 году). Один из моих выдающихся коллег, практиковавший в этом городе, женился на женщине, за которой ухаживал восемнадцать лет. Она не хотела разводиться, пока ее дочери оставались незамужними. В тот самый день, когда состоялась свадьба моего коллеги и этой женщины, ее бывший муж совершил самоубийство. Уверен, что Вы почерпнули эти факты из моего сознания, соединив их с обсто-

ятельствами гибели Вашей матери, которые, как я по-прежнему уверен, лежат в основе Ваших невзгод.

В том сновидении участвовали и Вы сами — в виде «туманного» образа; Вы успокаивали упавшую в обморок невесту, зная в то же время, что жених нуждается в Вашем утешении больше, чем это допускается приличиями. Дело же в том, что мой коллега состоял в весьма амбивалентных[42] отношениях с одной из дочерей той дамы, на которой женился. Одно время эта молодая особа была моей пациенткой.

Должен добавить, что никто в Вене, за исключением меня и одного-двух ближайших коллег, не знал о трагедии, связанной со свадьбой нашего друга, и было совершенно ясно, что Вы нигде не могли почерпнуть эту информацию. Мне бы хотелось включить Ваш сон в мое исследование, но его явная связь с тем, что произошло с моим будапештским коллегой, делает это невозможным; к тому же сейчас он не вполне здоров. Наконец, он верит в существование телепатических сил.

Я рассказал Вам об этом только для демонстрации того, что этот Ваш дар никак не

---

42 notes: 42

* Амбивалентность — сочетание «нежных» и враждебных чувств, одновременно испытываемых по отношению к одному и тому же лицу.

зависит от сознания. Вы ничего не можете с ним поделать. Пытаться его изменить — все равно что пытаться превратить Ваш прекрасный голос в воронье карканье. Так что и не пробуйте.

Желаю Вам всего наилучшего.

Искренне Ваш,
Зигмунд Фрейд.

Заметив, насколько счастливее и оживленнее стала выглядеть Лиза, тетя Магда начала подумывать, не появился ли на горизонте поклонник. В чем бы ни крылась причина, для нее это было облегчением — она боялась, что у племянницы наступит очередной нервный срыв.

На самом деле Лиза чувствовала необычайную близость к Фрейду: он был ей даже ближе, чем когда она виделась с ним каждый день. Этим чувством она была обязана тону его последнего письма — неожиданно теплого, со множеством лестных слов о ее голосе и психическом даре, а еще более лестным было то доверие, которое он ей оказал, поведав о несчастье своего коллеги. В этом было что-то странное. Не то чтобы она не верила ему: Фрейд не был способен на обман. Она помнила тот сон — все, кроме той части, которую он отделил от остального, как бы подчеркивая ее для нее. Она совсем не припоминала своего

присутствия на свадебной трагедии в виде «туманного» призрака, несущего утешение.

Может быть, Фрейд таким образом просил у нее помощи и поддержки в старости и немощи? Она помнила почти единственное замечание о личной жизни, которое ей довелось от него услышать: намек, не более, на то, что его брак в физическом смысле завершился, когда ему было сорок. Не это ли он привнес в свое изложение сна? Фрейд — человек пожилой, его молодое «Я» уже умерло. Поэтому он нуждался в утешении больше, «чем это допускается приличиями», от той, что хлопотала возле упавшей в обморок невесты... Ну, это же явно Анна Фрейд со своей матерью! Но Лиза была «Анной» в истории болезни... «Весьма амбивалентные отношения»... «Одно время эта молодая особа была моей пациенткой»...

Он просил у нее дружбы, но боялся, что она неправильно его поймет, если он выразится прямо. Может, большего, чем дружба. Если так, то она не должна уклоняться, надо попытаться утешить его. Лиза была крайне напряжена, обдумывая, как бы ей ответить на его призыв. Она решила, что лучше всего написать ответ в свободном, дружеском духе, обращаясь непосредственно к

событиям, рассматриваемым в истории болезни, — и просто подождать, что будет дальше.

16 июня 1931 г.

Дорогой профессор Фрейд,

Была до глубины души тронута Вашим добрым и великодушным письмом. Комплимент по поводу моего голоса тоже меня растрогал — пока я не вспомнила, что Вы никогда не слышали, как я пою! Иначе Вы не назвали бы его прекрасным. На самом деле он с каждым днем все больше становится похож на карканье.

В последнее время я только и делаю, что снова и снова вспоминаю тот вечер, когда началась моя «истерия». Я припомнила еще несколько подробностей, которые могут оказаться Вам полезными при написании Приложения. Во-первых, я (как уже говорила) была счастлива при мысли о том, что, может быть, я не еврейка. Даже этого «может быть» было достаточно, чтобы с чистой совестью безоглядно отдаться мужу и с Божьей милостью вынашивать его ребенка. Прежде меня тревожило приближение его отпуска (Вы были правы). До него оставалось меньше месяца. В своих письмах он убеждал меня «пойти до конца». Я не могла винить его за это,

все было вполне естественно. Но самая мысль об этом была мне ненавистна. Теперь, однако, благодаря неопределенности своего происхождения, я чувствовала, что могу согласиться, и, вернувшись от тети домой, написала ему страстное письмо.

Но, когда я заснула, у меня снова были ужасные кошмары. Видите ли, появились и другие вещи, от которых мне делалось не по себе. Одной из задач Вилли было выступать обвинителем против дезертиров, и он только что выиграл дело, а это означало, что беднягу-солдата расстреляют. Он подробно расписал мне свою блестящую речь, убедившую трибунал, — он явно восхищался собой. Меня тошнило. Я не могла «совместить» человека из письма с воспоминаниями о его мягкости. Так что не явились ли боли, начавшиеся в ту самую ночь, результатом моих хаотических чувств? Может быть, подавление знания здесь ни при чем? (Мне очень хорошо удается подавлять знание о неприятных вещах: однажды я «забыла» — час спустя, как прочитала об этом, — что мой партнер женат на той, кого я замещала по причине ее нездоровья. Всего лишь из-за безосновательных фантазий о том, что у меня с ним случится роман! Но эти удобные провалы в

памяти вовсе не делают меня больной.)

Может быть, когда Вы помогли мне «раскопать» связь моей матери, я почувствовала себя лучше просто из-за того, что была взволнована тем, как это проясняет все тайны? Прояснение! Anagnorisis[43]! Я только что пела в новой оратории под названием «Царь Эдип» — что вы на это скажете?! Мне всегда нравилась идея прояснения. «Больше света! Больше света!» Больше света — и больше любви.

Что Вы об этом думаете? Это только смутные идеи, и я совсем в них не уверена.

Трагедию, связанную с Вашим коллегой, я, конечно, сохраню в полной тайне. Несмотря на нее, Ваше письмо звучит более жизнерадостно, — надеюсь, это означает, что со здоровьем у Вас стало лучше. У меня все в порядке. Тетя Магда волнуется — из Соединенных Штатов приезжает в отпуск мой брат. Ее жизнь теперь не очень-то богата впечатлениями. Но мы не совсем одни — у нас живет кошечка, озорная и пушистая. К сожалению, у тети из-за нее появилась сыпь, и ей придется подыскать другой дом. (Кошке, разумеется!) Иногда мне очень хочется оказаться

---

43 notes: 43

* Переход от незнания к знанию.

в более располагающем обществе. Я бы многое отдала за одну из наших бесед в прежние дни. А сейчас меня ждет тетя, чтобы разложить пасьянс на двоих. Это не позволяет мне уступить своей слабости к сочинению длинных и бессвязных писем.

С сердечными пожеланиями,
Лиза.

Отправив письмо, она испытала жестокое, но уже знакомое чувство. Это было кажущееся воспоминание о сомнительной части ее сна — или же боязнь ее припомнить. Единственным утешением было то, что она не слишком разоткровенничалась. Но ответа она не ждала, и он не пришел.

Лиза и ее тетя принимали у себя двух седовласых американских туристов, Джорджа и Натали Моррис. Джордж занимал ответственный пост в автомобильной компании в Детройте и весьма преуспевал. У Натали даже была норковая шуба.

«Не знаю, что они здесь делают, — писала она Виктору.– Мне все время кажется, что они вот-вот достанут маленькие американские флажки и начнут размахивать ими на улицах. Один мой приятель из Нью-Йорка встретился с ними и был

неприятно поражен их резким американским акцентом. Они скучают по молочным коктейлям в своей угловой аптеке. Они не представляют, как мы живем в такой крохотной, обшарпанной квартире (наверное, она усохла с тех пор, как они жили здесь с детьми после войны!). Они страшно боятся заболеть дизентерией. Натали нигде не может завить и покрасить волосы. Джордж тщетно просматривает зарубежные новости в поисках результатов бейсбольных матчей. У нас с ним нет ничего общего, даже воспоминаний. Такое впечатление, что мы живем в разных измерениях. И как это мы вышли из одной утробы? Я не смогла заставить себя поцеловать его щетинистую щеку на вокзале, и мы просто пожали друг другу руки. Meine Bruder[44]! Чтобы приободриться, читаю «Inferno»[45]. Тетя Магда, конечно, очень рада. Для нее он все тот же племянник Юрочка, к тому же теперь ей есть с кем еще поговорить».

Выдержав две недели их пребывания, Лиза наконец поняла, зачем они приехали. Его дети покинули родительское гнездо, и Джордж, достигший климактерического периода, чувствовал

---

44 notes: 44

* Мой брат (нем.).

45 notes: 45

* «Ад» (итал.), песнь первая «Божественной комедии» Данте.

себя одиноким и ненужным. Он хотел, чтобы Лиза и тетя поехали с ними в Соединенные Штаты. Он даже запасся для них разрешениями на въезд. Лиза могла бы преподавать музыку: там для этого масса возможностей. Джордж выдвинул это предложение как-то вечером за обедом, а Натали поддержала его своими доводами. Она добавила, что мечтала бы забрать и своих родителей из Москвы, но это, к сожалению, невозможно.

Лиза решительно отвергла их приглашение. Но тетя Магда была им тронута и обещала поразмыслить. В конце концов, после долгих переговоров с племянницей, то и дело прерываемых слезами, она согласилась. С щемящей тоской решалась она оставить Лизу, покинуть Вену. Но, собственно говоря, последней она уже давно не видела, разве что из окна, потому что лестница стала ей не по силам. Из тех, с кем она дружила, а это в основном были вдовы и старые девы, «иных уж нет, а те далече...» — включая ее ближайшую подругу, Лизину учительницу пения, которая вместе с детьми эмигрировала в Америку. Она тепло писала о доброте тамошних жителей.

Джордж и Натали смогут предоставить ей уютную комнату на первом этаже, и у них есть машина, так что они будут возить ее на прогулки.

Их денег хватит на самое лучшее медицинское обслуживание, а когда (и если) возникнет необходимость, они наймут ей сиделку. Если она уедет, Лизе тоже станет легче, говорила тетя. Она все больше становится для нее обузой (так оно и было, хотя Лиза пыталась возражать). Нельзя рассчитывать на то, что ее гонорары долго еще будут высокими, а что тогда станется с ними? Саму же себя Лиза сможет обеспечить, например, преподаванием в консерватории.

Собственно, решать было нечего, но слез тетей Магдой и племянницей было пролито немало. «Забавно было наблюдать за лицом брата, — снова писала Лиза Виктору. — Уверена, что именно на это они и рассчитывали. Я им нравлюсь не больше, чем они мне, но тетю Магду они представляют в своем доме чем-то вроде достопримечательности, — чудаковатая пожилая дама из Европы, которую можно показывать знакомым. Они даже обещали купить ей рояль, так что смогут устраивать изысканные вечера в венском духе. К тому же милый Джордж очень скучает по матери».

Лиза смотрела, как тетю осторожно усаживали в поезд, хлопоча над ней, как над дорогим *objet*

d'art[46], приобретенным Моррисами во время отпуска. Ни Лиза, ни тетя не смели взглянуть друг другу в глаза, зная, что никогда больше не увидятся. Еще один слой кожи был содран, а квартира вдруг оказалась огромной и пустынной. Да и Лизе приходилось теперь оставаться в ней дольше — ее контракты продолжали сокращаться. Она навела справки в консерватории насчет учеников. С той поры, как она занималась с Лючией в Милане, она все время думала, что преподавать ей понравится, что у нее, может, даже есть к этому талант. Но впереди простирались бессмысленные, пустые годы.

Затем, весной 1934 года, Виктор написал из Киева, что жить там стало намного лучше. Время неурожаев прошло, люди больше не голодают. Ему предложили поставить «Бориса Годунова», и он выдвинул условием своего согласия, что на роль Марины пригласят ее. Он с нетерпением ждет с ней встречи. Дело в том, что теперь, когда он может пригласить ее с чистой совестью, он хотел бы предложить ей руку и сердце. Это не порыв, а тщательно обдуманное решение. В те дни в Милане ему с ней было так хорошо, как ни

---

46 notes: 46

* Произведением искусства (фр.).

с одной из женщин, за исключением Веры и его первой жены. Он уверен, что Вера тоже желала бы этого. Разве она не просила ее присматривать за ним в ее отсутствие? Маленький Коля растет капризным и непослушным, ему просто необходима настоящая мама. Мать Виктора не жалеет сил, но она стара и хочет провести остаток дней в деревушке, где родилась и прожила всю свою жизнь. Она тоскует по дому, как могут тосковать только малые дети и старики. Но он не хочет, чтобы Лиза думала, будто он просит ее из чисто практических соображений. Ему кажется, они стали очень близки после стольких лет переписки, но он тоже стареет, а жизнь слишком коротка, чтобы полагаться на письма... Если она согласится выйти замуж за того, кому уже рукой подать до старости, он будет более чем счастлив.

Все невротические симптомы и галлюцинации, от которых когда-то страдала Лиза, оказались спрессованными в один-единственный день. Она слонялась по квартире как во сне — забрела в спальню с кувшином, который хотела отнести на кухню, лила молоко в сито, думая, что это кастрюля. Она не знала, что делать, и не было никого, кто помог бы ей принять решение, кто был бы ей достаточно близок, чтобы поговорить

с ним об этом. Все было за то, чтобы сказать «да». Ей нравился Виктор, она восхищалась им. Ее сердце сжималось от любви и сострадания к маленькому мальчику, оставшемуся без матери. Ее собственная жизнь, несмотря на множество знакомых и нескольких подруг, впрочем не особенно близких, становилась все более одинокой.

Вдобавок ко всему в городе начались беспорядки. Несколько дней она слышала отдаленный грохот перестрелки, и ей казалось, что она снова в Одессе начала века. Отовсюду поступали гнетущие новости, и было похоже, что политическая обстановка станет еще хуже.

Три ночи подряд ей снились дети, и она восприняла это как знак того, что ей надо поехать и стать матерью для маленького сына Веры. Но сумеет ли она это сделать? И достаточно ли она любит Виктора? Ясно, что она не любит его так же сильно, как любила Алексея или даже своего мужа. Тем не менее, снова и снова перечитывая письмо, она почувствовала, что стала любить его чуть больше, ее сердце начинало трепетать при мысли о нем.

День проходил за днем, неделя за неделей, а она все медлила с ответом. Она измучилась от собственной нерешительности, терзаясь ею каждое

мгновение дня — и большую часть ночи. Однажды она до вечера просидела в церкви, но вышла, нисколько не приблизившись к ответу. Боли возобновились в полной мере; она едва могла дышать. У нее появилась дикая мысль поехать на Берггассе, постучать в дверь Фрейда и броситься к его ногам. Она спросит его о чем-нибудь, не относящемся к делу, и будет строить свой ответ Виктору в зависимости от того, что он ей скажет — «да» или «нет».

Как-то утром из старенького рояльного табурета она извлекла партитуру «Евгения Онегина» и сыграла несколько пассажей. Затем, поскольку времени у нее было более чем достаточно, принялась сочинять ответ, подражая письму Татьяны к Онегину. Пусть рифмы приведут ее к правильному решению, говорила она себе. Она писала и черкала целый день, и, как раз после полуночи, получилось следующее...

Дышу, как девочка, несмело,
И дрожи пальцев не унять.
Таиться Таня не умела,
Как я – сама себя понять.
В одном лишь схожи до предела

Мы с нею – тем, что грудь огнем
Горит все жарче с каждым днем.
Ты, верно, сожалеешь ныне
О тех нечаянных словах,
Которые остылый прах
Тревожат в горестной пустыне!
Спала я крепко, без затей.
Зачем ты пробудил томленье?
От необузданных страстей
Давно нашла я избавленье.
Ведь не придет уже цветенье
К душе изношенной. Уволь —
Об этом мне и думать больно,
Мне не сыграть Татьяны роль.
Но, впрочем, я была довольна...

Ах, слишком поздно! Нет, не Таня
Здесь внемлет пенью соловьев,
А скучная старушка-няня, —
Та, что и слово-то «любовь»
Чужим считала... Это слово,
По правде, лучше бы забыть,
Чем, всем былым болея снова,

В бесплодной памяти хранить!
Боюсь, причин тому не зная,
Сорвать цветок, желанный мне;
Жива, но словно не вполне,
Как будто чья-то воля злая
Гнетет с тех пор, как я мосты
Сожгла до срока в день далекий...
Ты разберешь мои намеки...
А в жены лучше б выбрал ты
Кого-нибудь моложе: Коле
Нужна сестренка или брат —
Один растет он поневоле
И в буйстве, нет! не виноват.

К нему б я стала чуткой, нежной;
Твоя победа неизбежной
Была бы, будь ты здесь со мной.
Тот поцелуй... он длился чудно!
Я поняла – тебе не трудно
Поток расплавить ледяной.
Кто ты? Мой ангел ли спаситель,
Или коварный искуситель?
А я? Как девочка, наивна,

Хоть на лице полно морщин;
Ты горевал бы неизбывно —
Не всех несчастней, кто один.

Что ж, будь что будет! Выбор прочен:
Полячки гордой не пою.
К тому же голос мой испорчен —
Уж от тебя не утаю.
Не скрою, роль была бы лестной —
Предстать Лжедмитрия невестой,
Но нежный голос огрубел.
Над тем, чему пришел предел,
Посмейся – и навек забудешь!
Вороной вместо соловья
Я стала... Ведь винить не будешь
Ты в малодушии меня?!
Кончаю. Если ты и впредь
Меня ждешь гостьей непременной,
То я приеду, но не петь,
А если петь, то лишь за сценой.

Что ж, будь что будет! Выбор прочен:
Полячки гордой не пою.

К тому же голос мой испорчен —
Уж от тебя не утаю.
Не скрою, роль была бы лестной —
Предстать Лжедмитрия невестой,
Но нежный голос огрубел.
Над тем, чему пришел предел,
Посмейся – и навек забудешь!
Вороной вместо соловья
Я стала... Ведь винить не будешь
Ты в малодушии меня?!
Кончаю. Если ты и впредь
Меня ждешь гостьей непременной,
То я приеду, но не петь,
А если петь, то лишь за сценой.

Внизу, в качестве постскриптума, она приписала безыскусственно простые слова самого поэта: *«Возможно, это все пустое, /Обман неопытной души, /Исуждено совсем иное... //Вообрази: я здесь одна!/ Никто меня не понимает!..»* Несколько мгновений, пока высыхали чернила, она чувствовала себя изнемогающей от любви девушкой двадцатых годов девятнадцатого века, безрассудно обнажившей сердце перед безлю-

бым циником. Но, в отличие от Татьяны, Лиза не колеблясь подписала и заклеила конверт, лизнув его языком; затем, не имея возможности поручить это старушке-няне, она сама, накинув пальто, поспешила спуститься по лестнице в темноту ночи, чтобы опустить письмо в почтовый ящик на углу улицы.

3

После злосчастных, изъеденных сомнениями дней, утомительных сборов и печальных прощаний — первая неделя в Киеве была упоительна. Широкая улыбка Виктора на перроне вокзала; знакомство с Колей и его бабушкой у них дома; вечеринка в Оперном театре, где ее приветствовали все воспитанники Виктора — очаровательные молодые люди; углубление пока еще поверхностного знания города в пеших и автомобильных прогулках... И как было чудесно (если не брать во внимание неловкое ощущение привилегированности), что их квартира находилась в центре города, на Крещатике, с его изысканными магазинами, театрами и кино! Затем, после очень простой церемонии, свадебное застолье, превзошедшее разгулом вечер в честь ее приезда;

ученики, которых ей прочили, — если Коля не будет чересчур обременителен; бесконечные выпивки то с одним, то с другим, то с третьим, а в перерывах — помощь матери Виктора в сборах. Времени для мыслей не было — разве что о том, что она приняла правильное решение.

Это она предложила, чтобы они вместе с ее свекровью отправились поездом до Тифлиса, а потом вернулись бы Черным морем: они могли сесть на грузовой корабль в маленьком грузинском порту Поти, который довез бы их до Одессы, а оттуда добраться до Киева поездом. Для них это было бы небольшим свадебным путешествием, а для Коли — источником волнующих впечатлений. Лиза полагала, что морская прогулка сгладит для него горечь расставания с бабушкой и заодно создаст ту мирную обстановку, которая необходима, чтобы ребенок и его новая мама могли получше узнать друг друга.

Матери Виктора — маленькой, сгорбленной, подвижной старушке с веселыми глазами — было восемьдесят. Она волновалась больше всех, ибо ехала в свою деревушку умирать. Женитьба сына нисколько ее не обескуражила, для нее это было явным облегчением. Она души не чаяла во внуке и плакала при мысли о расставании с ним,

но было очевидно, что для старой женщины это непосильная ноша.

В Тифлисе ее препоручили целой орде родственников и соседей, которые причитали над ней так, будто ее привезли бездыханной. Лиза видела, что муж ее страдает от этой встречи с прошлым, за которой тут же должно последовать прощание, а особенно от того, что обнимает мать, возможно, в последний раз. Расставание было слишком болезненным, чтобы его растягивать, и, к счастью, недалеко было до посадки в поезд, шедший через горы к побережью. Скоро они уже ползли по крутому склону — их поезд тащили два локомотива, похожие на рабочих слонов, — через живописную местность, но из-за смятения чувств (хотя и по разным причинам) ни Лиза, ни Виктор не воспринимали ее красот. Потом открылся вид на Черное море, они теперь неслись вниз прямо к нему. В Поти без труда нашлось грузовое судно, бравшее пассажиров; и Лиза встретилась с морем своего детства.

Когда Виктор впервые представил ее своему четырехлетнему сыну со словами: «Поздоровайся с тетей, которая будет твоей мамой», — тот пожал ей руку и серьезно сказал: «Привет, Лиза». Они оба рассмеялись, и лед был растоплен. Взяв его

на руки, она обнимала его и целовала, готовая поклясться, что он как две капли воды похож на свою маму — те же прямые светлые волосы, зеленые глаза и озорная улыбка. Он улыбнулся, когда она его поцеловала, и даже морское путешествие перестало казаться необходимым: он ее принял. Он и дальше называл ее Лизой. Что ж, ее это устраивало; пусть, когда захочет, зовет мамой, а если *нет* — она не станет возражать. «Он такой *послушный,* Виктор! — сказала она изумленно, когда он безо всяких капризов лег спать в их каюте.– Не представляю, какие с ним могут быть трудности». Виктор хмыкнул и сказал, что это всего лишь затишье перед бурей.

Но Лиза не могла поверить, что буря когда-нибудь разразится. Несколько порывов ветра — это наверняка, — но она уже знала, что справится. Конечно, по возрасту она годилась ему в бабушки, но после дряхлой старушки, которая его нянчила, она покажется ему молодой. И надо позаботиться, чтобы у него было побольше товарищей для игр.

Мальчик любил приключения, очень скоро он обнаружил капитанский мостик и назначил себя старшим помощником. Он «рулил» все утро, и стюард, ухмыляясь, был вынужден на руках отнести его к завтраку. Тем не менее он был рад

видеть своего папу и новую маму — обнял ее колени и сказал: «Привет, Лиза!» Она вышла с ним на палубу, и они смотрели на дельфинов. Она описала ему, как выглядит море зимой, когда покрывается льдом, а позже, раздевая и укладывая его спать, рассказала ему сказку об огромном ките, которого звали смешным именем Порфирий и который сотни лет назад заплыл в это море, потому что тоже любил приключения. Плохие моряки пытались поймать его, но он был быстрее их и умнее. Малыш сосал палец и смотрел на нее круглыми глазами.

Пока он спал, они пообедали вместе с командой и несколькими пассажирами. Даже те, кто совсем не разбирался в музыке, что-то смутно слышали о Викторе Беренштейне и были счастливы оказаться с ним за одним столом. Они просили его спеть им под аккомпанемент старого дребезжащего пианино. Смеясь, он возражал, что пора его пения миновала, и советовал им вместо этого попросить Лизу — она, мол, тоже известная певица. В итоге счастливым молодоженам пришлось петь дуэтом. А у себя в каюте он стал бранить ее за то, что она притворялась, будто у нее пропал голос. Вернувшись домой, он будет репетировать «Бориса» с ней, а не с этой ленинградской выскочкой

Бобринской! Она со смехом отвергла его лесть. Вдруг заворочался во сне Коля, она осторожно села рядом с ним на койку и очень тихо спела колыбельную. Вскоре он опять крепко заснул.

Хотя и было темно, раздеваясь, оба испытывали неловкость — им впервые предстояло спать в одном помещении. В киевской квартире было только две спальни, и сначала Лиза делила комнату с его матерью. Она постеснялась сменить спальню сразу после свадьбы, да и речь шла всего о паре ночей. Теперь же он смущенно улегся на узкую койку рядом с ней, но когда они обвили руками друг друга, то сразу же почувствовали себя раскованно и счастливо. Это не было необузданной страстью юности, да и вряд ли она была возможна: ведь рядом спал маленький Коля. Им надо было соблюдать тишину. Может, это и к лучшему: над ними не довлела необходимость неистово метаться, как подобает любовникам... и потому они оба временами жалели об этом.

Они двигались осторожно и молча, тишина нарушалась лишь поскрипыванием деревянных частей судна да плеском волн. Никакие неприятные видения ее не посещали, только сквозь иллюминатор виделись вспышки маяка — когда-то знакомое, но забытое зрелище. В минуты

любви она не переставала вслушиваться в размеренное дыхание ребенка. Голова, покоившаяся на ее груди, тоже казалась почти детской. Вспышки маяка освещали седые волосы ее мужа.

В поездке было достигнуто все, чего она хотела, и даже больше. Когда прохладным утром позднего лета они встали на якорь в Одессе, она чувствовала, что их уже связывают семейные узы. Фотография, сделанная одним из пассажиров, выявила несомненные приметы будущего единства: прислонившись к спасательной шлюпке, стоит Виктор — высокий, ширококостный, в каракулевом пальто и меховой шапке, его полное дружелюбное лицо обращено к жене и светится гордостью, а она, с поднятым воротником пальто, с волосами, развеваемыми бризом, в свою очередь, с гордостью смотрит вниз на маленького мальчика, который встал между ними, держа их за руки. Он моргнул как раз в то мгновение, когда нажали на спуск, и поэтому улыбается в объектив с закрытыми глазами.

Лиза не узнала города, а город не узнавал ее. Пока они осматривали достопримечательности, она чувствовала себя даже не то чтобы умершей, но ненастоящей, как будто никогда не жила на свете. Кто-то все же узнал ее. Увядшая женщина

средних лет в нерешительности остановилась на тротуаре и, глядя ей прямо в глаза, спросила:

— Лиза Морозова?

Но Лиза покачала головой и прошла мимо, таща за собой Колю, чтобы догнать его отца. Женщина была когда-то ее близкой подругой: в балетной школе они учились в одном классе.

Виктор по-своему истолковал ее мрачное настроение и сочувственно взял ее под руку. Они находились в районе доков, и он подумал, что она расстроена видом запустения.

— Не волнуйся: это все в прошлом, — пробормотал он. Он стал объяснять ей, почему большая часть помещений в районе доков заколочена и наполовину заброшена, включая то, на котором когда-то красовалась надпись: «Морозов. Торговля зерном». Теперь на дверях была государственная вывеска, но краска на ней тоже поблекла, а окна были выбиты.

Коля захотел заглянуть внутрь, и отец поднял его к подоконнику. Но внутри ничего не было видно, кроме темноты и осколков стекла.

Они сели на автобус, шедший вдоль берега на восток, по направлению к ее старому дому. Беспорядочно выстроенный белый дом превратили в санаторий. Обычно туда не было доступа

для случайных отдыхающих, но Виктор, будучи известным советским артистом, сумел купить талоны на завтрак. Столовая, очень уютная, была полна народу; это, главным образом, были фабричные рабочие из Ростова. От прежних хозяев не сохранилось ни обстановки, ни картин; только деревья за большими французскими окнами были все те же. И одна пожилая официантка, которая подала им щи, прежде присматривала здесь за буфетной. Она обслуживала их с угрюмым видом и явно не узнавала Лизу; Лиза и не хотела быть узнанной, хотя в прошлом она часто перекидывалась с ней дружеским словом.

После завтрака они прогулялись по окрестностям. Теперь к крохотной бухточке и пляжу вела бетонная дорожка, но сам пляж не изменился. Единственно, что вместо небольшой семейной группы, как это было в детстве, в воде плескалось множество незнакомцев. Она помогла Коле раздеться и сама сняла туфли и чулки (подоткнув юбку за края панталон). Даже ее муж закатал брюки и походил по воде. Лиза высматривала в воде медуз, но их не было видно. Затем они лежали, суша ноги на солнце: оно было теплым, но совсем не таким жарким, каким она его помнила, — может, из-за того, что лето кончалось.

Да и растения, деревья и цветы в обширном парке оказались вовсе не субтропическими, какими их хранила ее память. Она была удивлена этой ошибкой. Возможно, воспоминания о собственном саде смешались в ее памяти с какими-то другими местами дальше к югу, куда они плавали на своей яхте. Оставив Виктора загорать на пляже, она вместе с мальчиком отправилась на разведку. Перемены не затронули густых деревьев в глубине сада; только беседка, разрушенная еще при ней, была теперь не более чем лабиринтом из зарослей кустарника и ежевики, проросших из камней и прогнившего дерева.

Ей казалось, что она всего лишь призрак. Она была нереальна, маленький мальчик — тоже. Ее отсекли от прошлого, и поэтому она не жила в настоящем. Но вдруг, когда она стояла рядом с сосной, вдыхая ее резкий, горьковатый запах, между ней и детством оказалось открытое пространство, словно налетевшим с моря ветром разогнало туман. Это была не память о прошлом, но само прошлое, живое и реальное; она чувствовала, что ребенок, живший сорок лет назад, и она сегодняшняя — одна и та же личность.

Это знание наполнило ее счастьем. Но сразу же последовало еще одно озарение, принесшее

с собой почти невыносимую радость. Ибо, глядя назад, в детство, она нигде не видела глухой стены — только бесконечное, уходящее вдаль пространство, на всем протяжении которого она оставалась самой собой, Лизой. Она видела себя даже в самом начале всего сущего. Когда же она взглянула в противоположном направлении, в неведомое будущее, в сторону смерти и бесконечного пространства после нее, то все равно различила там себя. Все это навеял запах сосны.

Остаток дня промелькнул мгновенно. Она положила цветы на могилу матери, а муж помог ей расчистить ее от колючек; зашла в крематорий и нашла в поминальной книге имя отца; написала и отправила открытки тете Магде, брату Джорджу и венской подруге, а заодно и крестнику (которого скоро должна была увидеть); они сводили Колю в парк на детскую площадку и купили ему дорогую игрушку за то, что он так хорошо себя вел. Потом сели на ночной поезд до Киева. Они собирались спокойно пообедать после того,– как Коля заснет (он наверняка очень устал). Но на деле он почти всю ночь не спал и, конечно, заставил их тоже бодрствовать. Он хныкал, дулся, его тошнило, он требовал бабушку, укусил Лизу за палец и не давал покоя другим пассажирам

своими криками. К утру, когда они, пошатываясь, выбрались из поезда, Виктор и Лиза выглядели такими изнуренными, что встречавшие их друзья — влиятельные настолько, что у них была персональная машина, — отпустили несколько не вполне приличных замечаний. Коля к этому времени с ангельским видом дремал на руках у отца.

СССР,
Киев,
Крещатик, 118, кв.5
4 ноября1936 г.

Дорогая тетя Магда,

Не могу поверить, что совсем скоро Рождество. Надеюсь, тебе понравились подарки. Твое письмо, как всегда, получила с радостью. Мне очень жаль, что ты так сильно прикована к постели, ты всегда была такой деятельной. Очень мило со стороны Джорджа и Натали, что они украсили твою спальню и подарили тебе радиоприемник. Как ты сама говоришь, тебе очень повезло, что находишься в таких хороших руках. Пожалуйста, поцелуй их за меня. Рада была услышать о продвижении Джорджа по службе, хотя уверена, что он заслуживает большего. И, пожалуйста, поздравь

от меня Тони с присвоением ей докторской степени. Доктор Моррис! Звучит неплохо. Ее родители должны ею гордиться, уверена, что так оно и есть. К тому же она такая хорошенькая! В этой мантии и шапочке она выглядит бесподобно, и бьюсь об заклад, что у нее куча поклонников. Даже не верится, что это та самая маленькая девочка, которая жила у нас в Вене. Жаль, что я не могу с ней сейчас увидеться. Уверена, что она считает меня (если только вообще помнит) тощей теткой, подавленной настолько, что ей ни до кого нет дела. Досадно, что мы не можем познакомиться поближе. Это, конечно, относится и к Полю. Рада, что он преуспевает в своей бизнес-школе.

Последнее время мы живем как в лихорадке. Коля пошел в школу, и через несколько дней ему там понравилось. Но он тот еще мечтатель! Однажды явился домой еще утром — думал, что уже обед, хотя была только первая перемена! Сам прошел через весь город домой! Он растет не по дням, а по часам, и поспеть за его нуждами нелегко. Одежда стоит довольно дорого, да и не всегда можно найти. Но мы справляемся, нам все удается. Виктор иногда ворчит, что стареет, но это вздор, говорю я ему, ведь он здоров и молод в

душе. Он ставит новую оперу — о строительстве плотины; это не так уж плохо, как звучит. В ней немало прекрасных мелодий. Они очень боялись, что не успеют подготовить костюмы, и я пару недель ходила помогать: шила, обметывала. Было очень весело, мы работали наперегонки и много смеялись. А еще у меня есть двое очень хороших учеников, которые три раза в неделю приходят к нам домой заниматься. Так что время просто летит.

Как раз за две недели до того, как должна была состояться премьера новой оперы, нас известили, что умерла мать Виктора, и пришлось поспешить в Тифлис на похороны. Это было не так уж неожиданно: она была совсем старенькой и долго болела, но это всегда удар, когда бы оно ни случилось. Хорошо, что он был так занят, работа помогла ему отвлечься от горя. За Колей, пока нас не было, присмотрели наши друзья. Мы уезжали всего на несколько дней, но скучали по нему, и, думаю, он очень обрадовался, когда мы вернулись.

Жаль, что ты не смогла поехать погостить у Ханны и что она не смогла выбраться к тебе. Хорошо хоть, что она позвонила тебе в день твоего рождения. (Рада, что наш подарок был доставлен

вовремя.) Телефон — удивительная вещь. Я все собираюсь написать ей, хотя бы о том, как высоко ценю ее великолепное преподавание, особенно теперь, когда у меня самой появились ученики! Будешь ей писать — передавай наилучшие пожелания и от меня.

Да, чудесно было бы, если бы мы с тобой могли вдвоем посидеть за чаем., Я все время о тебе думаю. Надеюсь, лечение золотом окажется действенным. Слава Богу, что со зрением у тебя стало лучше. Думаю, тебе понравятся платки, я их сама расшила, — это тебе привет от Украины. За окном пошел снег — впервые этой зимой, — и мне пора одеваться, чтобы забрать Колю из школы. Целуем вас всех и желаем всего наилучшего.

ЧАСТЬ 5
спальный вагон

Он проснулся, наверное, в десятый раз за ночь и застонал про себя, поняв, что все еще не светает. Прислушался к шуршанию на стене. Больше никогда не услышит он этих звуков. Во рту у него пересыхало от волнения, если бы мог, он приказал бы солнцу взойти, чтобы они поскорее отправились в путешествие. Когда он впервые «переезжал», речь шла всего лишь о том, чтобы пересечь город, к тому же о том обмене можно было только пожалеть. Это жилье — настоящая дыра. Но на этот раз они будут пересекать границы, пустыни, горные хребты — и конца этому не видно. Завтра ночью он будет спать в поезде! Он ждал не дождался, когда же это начнется. Наверное, утро уже скоро и вот-вот он услышит, как встает мама?

В поезде они с Павлом будут играть в карты. Жаль все-таки, что остальные не едут, вчетвером играть куда интереснее. Павел хороший парень, но с ним одним не так уж весело. Он будет скучать по остальным. Ему будет недоставать нескольких

вещей: возможности рыскать по окрестностям, высматривая, что где плохо лежит; а еще — свободы от школы. Ужас, конечно, что придется опять ходить в школу, хотя мать будет довольна. Не то чтобы она не заставляла его заниматься и так, но, слава Богу, уже часа через два уставала и разрешала пойти погулять. Будет ли он скучать по этой комнате? Да, немножко, потому что это хоть и дыра, но здесь он был дома. Но будет много всего, что заставит его быстро забыть об этом.

По ком он по-настоящему будет скучать, так это по Шуре. Что ни говори, а Шура его лучший друг. Хотя порой ему казалось, что Шуре больше нравится Павел. Он ни за что не признался бы в том, что немного ревнует. Мать говорит, что другим детям, может быть, разрешат поехать вслед за ними немного позже. Ему будет недоставать Шуриного дома, там всегда было что перехватить. Еще ему нравилась Шурина мать, она такая молодая и подвижная. Жаль, что его мама такая старая. Он этого стеснялся. К тому же у нее был сильный кашель, который никак не проходил, и он боялся, как бы она не умерла. Он и сейчас слышал, как она кашляет, лежа по ту сторону занавески. Хорошо, значит, наверное, скоро вставать.

Странно, что, проснувшись, никогда не знаешь, который час. Иногда можно узнать примерное время, посмотрев в окно, но из-за занавески, ограждавшей его кровать, окна не было видно. Было темно, как в погребе. А вдруг сейчас всего лишь около полуночи! Он ужаснулся от этой мысли. Нет, не может быть! Как-то чувствовалось, что ночь на исходе; а он знал, что встать они должны очень рано, до рассвета.

Он перевернулся на другой бок и попробовал скоротать время, воображая себе те места, куда они поедут. Единственным подспорьем его воображению были библейские истории, которые иногда рассказывала мать; но от них мало проку. К тому же они такие скучные. Лучше думать о самом путешествии. Он любил поезда. Когда он в первый раз ехал на поезде, ему было плохо и он страшно всех измучил, говорила мать, — он был тогда совсем маленьким. Сам он ничего такого не помнил. Самым долгим путешествием была поездка в Ленинград. Это тогда он спал в доме, который раньше был настоящим дворцом. Ему было тогда всего пять или шесть лет, но он очень многое запомнил. Там был старик и человек помоложе; а когда он глянул поверх подоконника, то с удивлением увидел воду. Он помнил, как был

однажды на корабле, но очень смутно. Все-таки память — странная вещь, ведь, по правде говоря, он был уверен, что помнит свой первый день рождения. Он вспоминал, как бабушка держала его на руках, чтобы он задул свечку на пироге. А ведь это было задолго до того, как мама и папа взяли его с собой на корабль. Но, может, он только воображает, что помнит тот день, — ведь в альбоме есть такая фотография: бабушка держит его на руках, чтобы он задул свечку, а отец стоит рядом, улыбаясь.

Воображаемый стук колес поезда, везшего их в Ленинград и обратно, смешивался с шуршанием тараканов на стене. Это было странное сочетание. Ему нравились самые разные звуки, а больше всего он любил прислушиваться по ночам к тишине или вспоминать какое-нибудь звучание. В школе по музыке он был чуть ли не последним учеником, и, к огорчению родителей, говорил им, что музыку терпеть не может. В какой-то мере это было правдой — он ненавидел ту музыку, которую его заставляли учить. Все эти скучные ноты! Но (это была великая тайна) он хотел стать композитором, когда вырастет. Мама будет поражена. Если доживет до этого времени. Он беспокойно заворочался.

Его отец тоже был старым, но все равно, хоть бы только он вернулся! Он вспомнил, как в последний раз видел отца, — был еще в полусне, когда тот его обнял, поцеловал и велел быть послушным и заботиться о маме. Это — самое плохое воспоминание в его жизни (так же, как поездка в Ленинград — самое хорошее). Не только та ночь, но и несколько последующих недель, на протяжении которых другие дети дразнили его и задирали, говоря, что его отец — предатель. Это было еще до того, как *их собственные* отцы попали в тюрьму; после же стало еще хуже. Его били. Тогда-то им и пришлось переехать. Но он был уверен, что его отец не предатель. Мама тоже была в этом уверена. Он не мог понять, почему его отца надо сажать в тюрьму за то, что когда-то, давным-давно, он ездил за границу, или за то, что он поставил оперу о жестоком царе. Конечно, тюрьма, где бы она ни была, скоро переполнится; когда же отец вернется, он станет их искать — а их здесь уже и не будет! Мысль об отъезде вдруг перестала казаться такой заманчивой. Он представил, как отец стучится в дверь, а потом поворачивается, чтобы уйти, и лицо у него грустное.

Он снова услышал кашель матери и понял,

что она совсем проснулась. Скоро она встанет, зажжет огонь и станет готовить завтрак. Он свернулся калачиком, наслаждаясь теплом постели. Она перестала кашлять, и снова наступила тишина; она словно решалась подняться. Он ждал знакомых звуков: скрипа кровати, потрескивания половиц, вздоха, свистящего шуршания надеваемой одежды, шарканья туфель. Но они не раздавались, лишь изредка покашливала мать, и он снова наполовину задремал, ему приснилось, что вернулся отец и они втроем едут на санях по заснеженной улице.

Пожилая женщина лежала, перебирая в уме все, что ей еще предстояло сделать. Затем она выбралась, дрожа, из постели — было холодное осеннее утро, совсем еще темное. Встав пораньше, они смогут занять места в поезде. Она прислушалась, не раздаются ли шаги наверху, но Щаденко еще не поднимались. Женщина медленно оделась, и ей стало теплее, хотя дрожь не проходила. Это, она знала, было больше от неопределенности и тревожных предчувствий, чем от ночного холода, потому что как раз для такого случая она сберегла кое-какие теплые вещи и припасла теплое нижнее белье для Коли — оно лежало сейчас наготове на стуле возле его кровати. Им

придется ехать всю ночь или даже две ночи, а в поезде может оказаться очень холодно. Она ходила по комнате в одних чулках — не хотела будить Колю стуком туфель. Пусть поспит до последней минуты. В дороге он порядком намается.

Она зажгла свечу, которую приберегала к Рождеству, потом остатками стружки растопила в печи огонь. В мерцании огня и свечи было видно, что она не такая уж старая, несмотря на седину и скованные движения, — по-видимому, не старше пятидесяти. Она лишь казалась старой Коле и — увы, слишком часто — себе самой. Когда огонь как следует разгорелся, она сунула ноги в туфли, накинула на плечи пальто, осторожно подняла щеколду и на ощупь стала пробираться по двору. Скрипнула, открываясь, дверь уборной. Сидя на корточках над очком и стараясь не вдыхать мерзкую вонь, она услышала позади себя шорох: что-то длинное, серое, лишенное отчетливых очертаний, скользнуло мимо ее ног и исчезло в двери, которую она приучилась оставлять приоткрытой как раз для таких целей. Содрогаясь, все еще чувствуя мягкое прикосновение крысиной шерсти к своей лодыжке, она оторвала клочок от «Украинского слова», быстро подтерлась, встала и опустила платье. Снова оказавшись во дворе,

глубоко вздохнула. Воздух и там не был свежим — Подол дышал всегдашним запахом прогорклого жира и гнили, исходящим от мусорных куч; но она привыкла к нему, и, по сравнению с воздухом уборной, он казался чистым и сладким. Затем она вошла в дом.

Стараясь двигаться как можно тише, она сняла пальто, расстегнула платье и налила воды из ведра в таз, проследив, чтобы оставалось достаточно. Вода была драгоценна: одному из них приходилось каждый день ходить за нею на Днепр. Опустив на плечах платье, она умылась. Теперь было слышно, как наверху ходят Щаденко, доносилось торопливое шарканье ног. Хорошо, что они будут в обществе Любы. Она положила на сковороду лепешки из картофельных очисток. Лепешки согреют Колю перед дорогой. Когда они зашипели, она с наслаждением вдохнула их запах.

Пора было поднимать сына. Не так давно она будила его, шепча ему что-нибудь на ушко и щекоча. Но в последнее время он сделался стеснительным недотрогой, и ей пришлось разделить комнату старой занавеской, чтобы дать ему возможность почувствовать себя чуть более независимым. Поэтому она лишь встала в прорези

занавески и позвала его по имени. Когда он тяжко вздохнул в ответ, она сказала, что завтрак почти готов. «У нас лепешки!» — говорила она, соблазняя его. Хотя он снова вздохнул и перевернулся на другой бок, она знала, что скоро он выпрыгнет из постели. Он был очень взволнован предстоящим путешествием.

Пока она занималась завтраком, он появился, уже в брюках и в фуфайке, хорошенько принюхался к аппетитным лепешкам и уселся за стол. Она сказала, что сперва надо умыться, но еще раньше — сходить в туалет, потому что воды у них мало — не хватит, чтобы мыться дважды. По ее глубокому убеждению, живя последние три года в такой грязи, они оставались здоровыми только благодаря тому, что очень тщательно следили за чистотой. Ворча, что ему пока в туалет не надо, он натянул поверх фуфайки жакет и распахнул дверь.

Когда они сидели и ели лепешки, он опять спросил ее, как выглядит то место, куда они едут. Она могла удовлетворить его любопытство лишь обрывками своих детских уроков — благоухающие апельсиновые рощи, кедры Ливана... Иисус, шагающий по воде... «Я — роза Шарона...» География и Священное Писание смешались у нее в

памяти, и ей трудно было нарисовать убедительную картину. Она чувствовала себя безнадежно невежественной. Она никогда не была сильна в географии. Начинало светать, и она выглянула в мрачный двор с лоснящимися кучами мусора и задворками других трущоб.

— По сравнению с этим там просто рай, Коля, — сказала она.– Увидишь сам. Там мы будем счастливы.

Но Коля был полон сомнений. Он был очень расстроен из-за того, что двое его лучших друзей, Шура и Бобик, не были евреями и не могли поехать с ними. И еще, она знала, его беспокоило то, что отец не сможет их отыскать.

— Не переживай, — сказала она, — он найдет нас. Будут списки всех, кто эмигрировал. Когда он вернется в Киев, он сможет точно выяснить, где мы, и сразу же приедет.

Она старалась, чтобы ее голос и выражение лица были убедительными, и кратким жестом коснулась распятия у себя на груди. Ни разу не было подходящего момента, чтобы сказать ему, что отец никогда не вернется. Ладно, она скажет об этом, когда они поселятся в каком-нибудь безопасном месте, подальше отсюда, где смогут начать новую жизнь.

Когда они покончили с едой, она вымыла тарелки оставшейся водой, вытерла и поставила их стопкой в потрепанный чемодан. Хотя их вещи были большей частью проданы или заложены, чтобы было на что жить, в чемодан еще немало чего предстояло втиснуть. Коле пришлось сесть на него, чтобы она смогла защелкнуть замки. Потом она обвязала его веревкой, чтобы не распахнулся по дороге. К счастью, этот чемодан мог выдержать немало испытаний. В свое время, когда она купила его на те деньги, что дал ей отец в день семнадцатилетия, он стоил недешево. В ее памяти ожил день отъезда из Одессы, с которого прошло больше тридцати лет, и она ощутила то же подташнивание. Грудь казалась пустой и в то же время словно налитой свинцом.

Кроме чемодана, у них был перевязанный бечевкой бумажный пакет, в котором находилась бутылка воды и немного луку и картошки. Коля где-то стянул все это несколько дней назад, поддавшись воровскому побуждению. Ей становилось дурно от страха при мысли о том, какому риску он подвергался, но все же она решила сохранить эту еду. Доказать, что овощи украдены, было бы нелегко, к тому же попытка вернуть их обратно могла оказаться почти настолько же

опасной. Она поручила пакет Коле, наказав ему держать его хорошенько и не ронять.

Они надели пальто и растерянно посмотрели друг на друга. Она знала, что не должна показывать боязни.

— Что ж, попрощайся с тараканами! — пошутила она. Коля, казалось, вот-вот заплачет, и, глядя на него, она поняла, что он по-прежнему остается ребенком, несмотря на все свои взрослые замашки. Обняв его, она сказала, что все будет хорошо и что она рада тому, что у нее есть он: есть кому о ней позаботиться.

Свалив свой багаж в крохотной прихожей, они поднялись этажом выше посмотреть, готовы ли Щаденко. Но Люба и ее дети все еще носились в полной неразберихе. С тремя детьми и свекровью — старухой, которой требовались уход и поддержка при ходьбе, — Люба выглядела усталой уже теперь, когда этот долгий день даже не начинался. По полу была разбросана одежда, а сама она сражалась со своей младшей дочерью, Надей, пытаясь ее одеть. Павел и Ольга, как всегда, ничем ей не помогали, старуха причитала в углу, а Надя ревела, потому что только сейчас поняла, что им придется оставить свою кошку, в бытность котенком по ошибке названную Васькой. Мать

пыталась уверить ее, что кошке будет хорошо, она сможет досыта питаться объедками на задних дворах, но Надя оставалась безутешной.

— Могу я чем-нибудь помочь? — спросила Лиза. Люба в ответ покачала головой и сказала, что им лучше идти и попытаться занять свободное купе, она со своим выводком присоединится к ним позже. Как она доставит на станцию свекровь, она и сама не знала, но как-нибудь да справятся, всегда ведь справлялись.

Взгляд Лизы упал на сапожные инструменты, уложенные в деревянный ящик. Она вопросительно посмотрела на Любу, а та покраснела и опустила глаза. Лиза знала, что говорить что-либо бесполезно, она *возьмет с* собой инструменты мужа, хотя можно было поставить миллион против одного, что никогда Ване не удастся отыскать свою семью, даже если его когда-нибудь освободят. В то же время Лиза ощутила вину — ведь у нее почти ничего не осталось из вещей Виктора. Все было распродано, чтобы добыть пропитание. Но с другой стороны, все посылки и письма ей вернули, а это почти наверняка означало, что Виктор умер, в то время как муж ее подруги, насколько известно, еще оставался в живых. Он был арестован и осужден из-за того, что пожаловался

заказчику — дескать, с каким дрянным материалом ему приходится работать.

Из других квартир, выходивших на задний двор, тоже доносились признаки жизни.

— Вам лучше идти, — сказала Люба.– Если повезет, народу будет еще немного.

Коля нетерпеливо пятился к двери, но Лиза мешкала в нерешительности. Хотя это и казалось наилучшим решением — выйти пораньше и занять места. Две седые женщины обнялись, и Люба прослезилась. Она была очень впечатлительна. Пока она вытирала глаза, Коля вынул из кармана старую колоду карт и показал ее Павлу — не забыл, мол. Потом мама вслед за ним спустилась по лестнице, они взяли чемодан и пакет и вышли на дорожку, выводившую на улицу. Уже рассвело, но было все еще сумрачно.

Оказавшись на улице, они были ошеломлены. Весь Подол пришел в движение. Они рассчитывали на безмятежную прогулку, но вместо этого пришлось проталкиваться вперед в огромной, медленно перемещавшейся толпе, запрудившей всю улицу. Это было похоже на ту толчею, в которую Лиза как-то раз попала возле стадиона. Но та толпа состояла главным образом из мужчин, и шли они налегке. Здесь же народ, медленно вла-

чившийся вверх по Глубочице, на собственных спинах тащил свои дома: старые фанерные чемоданы, плетеные корзины, плотницкие ящики... И поскольку здоровые мужчины в большинстве своем были в армии, которая отступила, эта толпа состояла из инвалидов, калек, женщин и плачущих детей. Старые и немощные поднялись с кроватей и побрели. У некоторых старух на шеях, как огромные ожерелья, висели связки лука. Впереди Лизы и ее сына здоровенный парень нес на закорках древнюю старуху. Другие семьи — очевидно, вскладчину — наняли лошадей и телеги, чтобы перевезти своих стариков и скарб. На Подоле обитали только беднейшие из бедняков, но и у них вещей было больше, чем можно с собой унести. Толпа впереди была такой густой, что Лиза поняла — им очень повезет, если они найдут места для себя; о том, чтобы занять купе для Любы и ее детей, не могло быть и речи.

Чемодан был очень тяжелым — он оказался непосильным для Коли, когда он вежливо предложил ей на время поменяться ношами, — и она поначалу была рада, что порой случались долгие остановки, когда толпу впереди, казалось, намертво заклинивало. Можно было поставить чемодан на землю. Он был настолько лучше всех

чемоданов вокруг, что она стала его стыдиться. Затем, во время одного из невольных привалов, случилось нечто ужасное: из какого-то двора вынырнула старуха в грязном платке, схватила чемодан и бросилась с ним обратно во двор. Крича на нее, Лиза и Коля протолкались к воротам, но из-за стены вышли двое крепких мужиков и преградили им путь. За спиной у них был целый штабель разного добра. Лиза умоляла, плакала, но те были непоколебимы. Толпа медленно продвигалась дальше, люди отводили глаза. Поблизости не было ни полиции, ни солдат, к которым Лиза могла бы обратиться за помощью. Она отвернулась от ворот, по лицу ее текли слезы. Коля робко вложил свою руку в ее, и толпа повлекла их за собой. Она перестала плакать и вытерла глаза, но при мысли о навсегда утраченных сокровищах — одежде, письмах, фотоальбоме, гравюре Леонида Пастернака и других драгоценностях, так любовно упакованных накануне вечером, — ее охватывало чувство безысходности.

К окнам домов прижимались лица, следившие за густой толпой переселенцев. Кое-кто жалел их, но другие смеялись и издевались. Теперь в воротах в свободных позах стояли солдаты, пристально глядя на проходивших мимо. От одной

из их групп донесся возглас, адресованный молодой женщине, шедшей впереди Коли: «Komm waschen![47]» Они указывали на двор позади себя, как бы говоря: «Его надо почистить». Девушка повернула голову в их сторону, скользнув взглядом по Лизе, но ничем не выдав того, что ее знает. Лиза же узнала ее сразу: это была дочь ведущего виолончелиста в Киевской опере. Она назвала ее по имени — Соня, — и девушка снова оглянулась на пожилую женщину, напрягая память. Наконец она ее вспомнила, хотя та сильно изменилась. Лиза боялась, что она отвергнет ее обращение, но не стала бы ее за это порицать. Было совершенно ясно, что для того, чтобы спасти свою семью, Виктор пожертвовал свободой и даже жизнью нескольких музыкантов из Оперы — в том числе отца этой девушки. Но Соня, казалось, была рада встретить знакомую, хоть и дальнюю, — она приостановилась, чтобы они пробрались к ней поближе.

Она спросила у Лизы, не знает ли та, в котором часу отправляется поезд. В ее голосе чувствовалось опасение опоздать. Они опять почти остановились, и молодая женщина приход-

47 notes: 47

* Иди помой! (нем.)

нималась на носки своих туфель с высокими каблуками, пытаясь взглянуть поверх толпы. Ничего не было видно, кроме серой массы голов и повозок со скарбом. Она нетерпеливо вздохнула. Чемодан ее был тяжел, и она устала.

— Вы правильно сделали, что пошли налегке, — сказала она, кивая на Колин пакет.

Лиза поделилась с ней скорбью по украденному чемодану. У них ничего не оставалось.

— Ну, не огорчайтесь, — сказала молодая женщина.– Ходит слух, что багаж отправят отдельно и разделят его поровну, когда мы доберемся до Палестины.

Слухи — ничего, кроме слухов, и не было с тех пор, как Коля и Павел вбежали вчера с криком, что на ограде висит объявление и вокруг него собралась целая толпа. Лиза и Люба, занимавшиеся шитьем, выбежали на улицу и протолкались сквозь толпу, чтобы прочесть прокламацию. Как обычно, она была напечатана на дешевой серой оберточной бумаге по-русски, по-украински и по-немецки. Приказ гласил, что все жиды, проживающие в Киеве и окрестностях, к восьми часам утра в понедельник, 29 сентября 1941 года, должны прибыть на угол улиц Мелъниковской и Дохтурова (около кладбища). С собой надле-

жит взять документы, деньги, ценности, а также теплую одежду, нижнее белье и проч. Каждый жид, не выполнивший настоящего распоряжения и обнаруженный где бы то ни было, будет расстрелян.

Домашние, обыденные слова (теплая одежда, нижнее белье и проч.) странным образом пугали больше, чем холодное и презрительное слово «жид».

Люди перечитывали приказание шепотом, как бы не понимая его. «Гетто, гетто», — прошептал кто-то, и какая-то старуха разразилась причитаниями. «Нас обвиняют в поджогах», — сказал белобородый старик. Люди вокруг него невольно взглянули в сторону центра, где воздух все еще дрожал от продолжавших пылать пожаров.

Немцы вошли в город неделю назад как триумфальные освободители от русского ига и были встречены хлебом и солью. Парикмахеры — украинцы и евреи — стригли любезных немецких офицеров. Никто не огорчался тому, что немецкие генералы — а не деятели Коммунистической партии и обласканные властями актеры и музыканты — заняли роскошные квартиры на Крещатике. Затем, когда новые хозяева чудесно устроились среди картин и роялей, Крещатик

обратился в сущий ад. И немцев, и украинцев разрывало в клочья. Лиза, как и все прочие, ходила взглянуть на необъятный пожар, охвативший исторический центр города, где она сама когда-то жила.

Было очевидно, что ответственность за взрывы несет Красная Армия — которая во всем обвиняла нацистских варваров, как будто они могли сами себя взрывать! Несколько солдат остались в городе и подорвали взрывчатку. Но затем прошел слух, что винить надо евреев. Вот почему расклеили этот приказ: немцы обвиняли евреев и высылали в гетто, по-видимому в Польшу. И все же, даже если бы евреи *были* виновны, зачем наказывать всех за то, что сделано несколькими?

Как раз когда они вдвоем стояли перед серой оберточной бумагой, Люба Щаденко сделала предложение, достойное святой. Она вывела Лизу из толпы и шепнула: *«Тебе* ехать не обязательно. Ты не еврейка. Я смогу присмотреть за Колей вместо тебя. Подумаешь, одним больше!» Лиза вспыхнула от гнева: как это Люба может воображать, что она пошлет своего сына в гетто, а сама останется! Но она тут же осознала все великодушие своей подруги. Глаза ее наполнились слезами. Чем только она уже не обязана

этой женщине! Когда Виктора забрали и им с Колей пришлось покинуть свою квартиру, Люба Щаденко, бедная одинокая женщина, работавшая швеей в театре, пришла и предложила ей комнату в своем крошечном обветшалом доме. Женщина, с которой Лиза была едва знакома! Она сказала, что делает это в благодарность за то, что Виктор дал ей работу, когда она осталась без кормильца, вынашивая Надю, и она только возвращает старый долг. Но выплата долга не ограничилась бесплатной комнатой. Она постоянно подбрасывала Лизе швейные заказы, чтобы они не голодали. А теперь — это предложение! Она больше, чем святая, — ангел. Лиза сжала ее руки и сказала: «Нет, спасибо тебе! Мы поедем все вместе».

К счастью, появились более милосердные вести. О высылке в гетто не могло быть и речи. Разве немцы не были достойной, цивилизованной нацией? Полжизни проведя среди дружественных немецких голосов, Лиза хорошо их знала. В последние два года перед войной даже коммунисты не говорили о немцах ничего, кроме хорошего. Вот и когда Крещатик был взорван, немцы рисковали собственными жизнями, рассылая по всему городу команды солдат и предупреждая жителей,

чтобы те покинули свои дома! Они спасали стариков, детей, инвалидов — тех самых, которых теперь они, как кое-кто думает, собираются отправить в гетто! Нет, они эвакуируют их дальше за линию фронта, для их же безопасности. Но почему, спрашивали некоторые, евреев эвакуируют первыми? Ответ был быстрым и уверенным: «Потому что евреи родственны немцам».

И все же — как объяснить жесткий, грубый тон прокламации? «Все жиды... Каждый жид...» Но это звучит грубо только для самих евреев; для немцев это такое же нейтральное выражение, как «теплая одежда, нижнее белье и проч.». И взгляните, — показала молодая женщина, — они написали: Мельниковская улица, улица Дохтурова, а таких ведь нет; имеются в виду улицы Мельникова и Дегтярева; так что очевидно, что приказ прошел через руки плохого переводчика. Это он (или она) придали ему неприятное звучание.

Лиза знала, что немецкий вариант написан в том же тоне, но промолчала об этом. Она не знала, что думать. Дар интуиции исчез у нее, как излишек плоти с костей. Она могла лишь надеяться и молиться, чтобы пророчившие гибель оказались неправы. Затем, лишь час спустя, как они начали

собираться, по Подолу молнией разнеслась хорошая весть: их отсылают в Палестину.

Час тянулся за часом, а конца все еще не было видно. Некое бутылочное горлышко где-то там, впереди, никак не хотело расширяться, и все же они продвигались вперед из-за напора толпы позади себя. Для матерей с маленькими детьми это было сущее бедствие, и Лизу стало беспокоить, как-то управится Люба. Им с Колей следовало подождать и помочь им; она ощущала вину. Хотя в то время казалось разумным отправиться занимать места. Она помогала перепуганной женщине, шедшей неподалеку и управлявшейся с четырьмя детьми, старшему из которых было лет десять или одиннадцать, а младшему — года полтора. Лиза взяла эту маленькую девочку, чтобы у ее матери отдохнули руки.

Девочка кричала, Лиза пыталась говорить с ней, как обычно разговаривают с младенцами, но это ее не успокаивало, и тогда она стала напевать ей песенку, из-за чего крик сменился всхлипами. Девочка была страшненькой, ее безобразила заячья губа, и от нее пахло. Требовалось ее перепеленать, но как перепеленать младенца в такой давке? Мать, вероятно, этого даже не замечала — к вони и всевозможным паразитам жители

Подола привыкли. Лизе с ними всегда было не по себе, и она мало с кем общалась, кроме Любы. Вскоре девочка у нее на руках снова закричала, и мать захотела ее забрать. Лиза отдала ее с облегчением. Но какую злость чувствовала она оттого, что несчастные дети и старики вынуждены вот так мучиться, — несомненно, по чьей-то нерадивости!

Коля был усталым и раздражительным — и кто мог винить его за это? Она попыталась было поиграть с ним в слова, но он не проявил никакого интереса. Когда в одном месте они остановились на целых двадцать минут, она стала уговаривать его показать Соне свои карточные фокусы, и он неохотно согласился. Столом послужил чемодан молодой женщины. Соня вежливо улыбалась фокусам, в то время как глаза ее блуждали поверх голов впереди стоящих.

Она пожаловалась Лизе, как огорчило ее то, что пришлось оставить отцовскую виолончель. В черные дни она была ее единственным другом. Лиза избегала смотреть ей в глаза. Ей хотелось произнести слова сочувствия, но она их не находила.

Минуты по две они семенящими шажками продвигались вперед, после чего минут по пять

стояли. К тому времени, когда они достигли высокой стены еврейского кладбища, солнце поднялось высоко, и стало сильно припекать. Лиза задыхалась в своем побитом молью зимнем пальто, но опасалась, что кто-нибудь уведет его, если она его снимет. Коле она разрешила снять свое, велев держать его покрепче; воды же обещала дать, как только сядут в поезд. Товарная станция Лукьяновка была совсем рядом с кладбищем, так что идти оставалось недалеко. Толпа, конечно, скоро продвинется, правда? Надо было получше все это организовать.

Они немного подались вперед и теперь ясно различали заграждение из колючей проволоки и выстроенных в ряд по обеим сторонам улицы немецких солдат и украинских полицейских. Как и на всех железнодорожных станциях, здесь царили невообразимые шум и давка — ведь, помимо отъезжающих, здесь было множество людей, русских и украинцев, пришедших проводить родственников, друзей или соседей, помочь им с их багажом и инвалидами. Одни из них проталкивались через толпу назад, другие с той же решимостью напирали вперед, чтобы удостовериться в том, что их близкие благополучно погрузились в поезд. Встречались там и мужья,

прощавшиеся с женами; неудивительно, что на несколько шагов приходилось тратить целую вечность.

Коля нетерпеливо вздохнул, и мать утешающе взъерошила ему волосы. Недолго оставалось ей так делать — он уже почти одного с ней роста и продолжает расти не по дням, а по часам. Соня передала сообщение, поступившее спереди, о том, что поезд только что отошел, набитый битком, а другой должны вот-вот подать с запасного пути. Говорили, что люди в поезде стояли даже в коридорах, придавленные друг к другу плечами. Приятного в этой поездке будет мало.

Им пришлось прижаться к стене кладбища, чтобы пропустить повозку. Возница яростно крутил кнутом, расчищая проезд. Доставив поклажу к ограждению станции, он хотел заполучить других пассажиров. Через образовавшуюся на мгновение брешь они увидели, что весь багаж складывают в штабель по левую сторону. Соня, по-видимому, была права: багаж отправят отдельно, другим поездом, а потом, когда они доберутся до места назначения, поделят его поровну. А может, предполагалось, что они пометят его бирками со своими именами? Этот вопрос Лизу больше не волновал, но многие вокруг нее

были в панике, и кое-кто мастерил импровизированные бирки из обрезков бечевки и клочков, оторванных от бумажных пакетов.

Было слишком поздно, потому что толпа неожиданно хлынула вперед. Тяжелая задача по быстрому и расторопному штабелированию багажа была поручена высокому и статному казаку с длинными черными усами. Трудно было не восхищаться его внушительным и строгим видом; равно как нельзя было теперь не ощутить некоторого сочувствия к солдатам и полицейским, вынужденным управляться с раздраженной, сыплющей проклятиями толпой. Наконец Лиза с сыном миновали барьер. Долгожданного поезда нигде не было видно, лишь та же толпа томилась вокруг в ожидании, разве что обстановка слегка изменилась, и все же создавалось впечатление, что теперь они на ступень ближе к цели. Вспомнилось, как в прежние времена приходилось стоять в очереди к кинотеатру, попадая наконец с улицы в запруженное толпою фойе. Как бы в подтверждение этого сравнения, всем пришлось снять с себя «теплую одежду». Солдат, подойдя к Лизе, вежливо помог ей снять пальто, а также взял пальтишко Коли, которое тот нес, перекинув через руку.

Никто не обращался так с нею с тех дней, когда она приезжала в театр на гала-представления.

Она стала дрожать, но совсем не от холода. Даже без пальто ей по-прежнему было душно. Странным было то, что неподалеку время от времени стучал пулемет. Беспокоиться было не из-за чего, но звук все равно внушал тревогу, и возникло подводное течение страха, выражавшегося в подчеркнутой сосредоточенности на обыденных вещах. Соня, к примеру, подкрашивала губы. Не может быть, чтобы кого-то расстреливали — может быть, тех, кто пытался нарушить приказ о депортации и был обнаружен? Плакали дети, и это было облегчением — слышать человеческий, понятный звук. Конечно, день был ясным, а в такую погоду звуки доносятся и со стрельбища, где упражняются немцы, и даже с линии фронта. Лиза обняла Колю за плечи и спросила, не хочет ли он пить, — он выглядел бледным и нездоровым. Коля кивнул.

Она развернула пакет и дала ему чашку и бутылку воды. Несколько луковиц и картофелин она дала Соне в обмен на краюху заплесневелого хлеба и два маленьких кусочка сыру. Другие тоже ели, сидя на узлах. Сцена как бы раскололась надвое: с одной стороны, растущая тревога и

даже паника, а с другой — позы, уместные на загородных пикниках. Низко над головами кружил самолет, и время от времени по-прежнему доносился пулеметный огонь, но его либо не слышали, либо старались о нем не думать, занятые едой.

Солдаты пропускали людей дальше партиями по нескольку человек. Они отсчитывали группу и отсылали ее, затем выжидали и отсылали следующую. Когда Лиза попыталась проглотить кусочек сыру, но обнаружила, что тот застревает у нее в горле, до нее дошло то, о чем она знала с того самого момента, как они заступили за ограждение: их расстреляют. Она вскочила на ноги, как двадцатилетняя, рывком заставила Колю встать и бросилась вместе с ним к барьеру. Таща сына за руку, она пробилась туда, где отдавал распоряжения высокий казак.

— Извините, я не еврейка, — сказала она, задыхаясь.

Он попросил показать удостоверение. Она порылась в сумочке и, слава богу, отыскала просроченное удостоверение, полученное ею по приезде в Россию, в котором говорилось, что ее фамилия — Эрдман, а национальность — украинка. Он сказал, что она может идти.

— А он? — спросила она, указывая на мальчи-

ка.– Это мой сын. Он тоже украинец!

Но он настаивал, чтобы показали документы, и, когда она притворилась, что те потеряны, схватил ее сумочку и нашел в ней продовольственную карточку.

— Беренштейн! — воскликнул он.– Жиденыш! А ну назад!

Он оттолкнул Колю, и тот сразу потерялся в непроглядной толчее. Лиза пыталась протиснуться мимо казака, но он загородил ей дорогу рукой.

— Ты не жидовка, тебе там нечего делать, старая, — сказал он.

— Но мне *надо!*— сказала она, задыхаясь.– Пожалуйста!

— Только жиды, — покачал головой казак.

— Я жидовка! — крикнула она, пытаясь отодвинуть его руку. — *Да,* я жидовка! Мой отец был жидом. Пожалуйста, поверьте мне!

Он мрачно улыбался, по-прежнему загораживая ей проход.

— Майим раббин ло юкхелу лекхаббот етха-ахавах у-не-харот ло йиштефуха[48]! — крикнула она пронзительным голосом. Казак презрительно пожал плечами, убрал руку и кивком разрешил

48 notes: 48

* Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.– Книга Песни Песней Соломона, 8:7.

ей пройти. Она разглядела бледное лицо Коли и пробилась к нему.

— Что случилось, мама? — спросил он.

— Не знаю, милый.– Она стояла, покачивая его в своих объятиях.

Огромный солдат подошел к девушке, стоявшей рядом с ними, и сказал:

— Пойдем, переспишь со мной, и я тебя отпущу. Лицо девушки не изменило своего оторопелого выражения, и солдат, выждав немного, побрел прочь. Лиза бросилась за ним и дернула за рукав. Он обернулся.

— Я слышала, о чем вы просили ту девушку, — сказала она.– Я согласна. Только выпустите меня и моего сына.

Он без выражения посмотрел сверху вниз на тронувшуюся умом старуху и снова отвернулся.

Они оказались среди тех, кого сгоняли в очередную группу. Коля спросил, пойдут ли они сейчас на поезд, и она, собравшись с духом, ответила — да, наверное; в любом случае она будет рядом, не надо бояться. Их группа пошла вперед. Все приумолкли. Некоторое время они шли в тишине между шеренгами немцев. Впереди тоже видны были солдаты с собаками на поводках.

Вскоре они оказались в длинном узком ко-

ридоре, образованном двумя рядами солдат с собаками. У солдат были закатаны рукава, и все они орудовали резиновыми дубинками или крепкими палками. С обеих сторон градом сыпались удары — по головам, спинам, плечам. Кровь затекала ей в рот, но она почти не замечала боли, стараясь хоть как-нибудь защитить Колину голову. Она ощущала страшные удары, достигавшие его, — в том числе хрусткий тычок дубинкой в пах, — но совсем не чувствовала тех, что доставались ей самой. Его вопль был лишь одной из нитей всеобщего крика, смешанного с веселыми возгласами солдат и лаем собак, но звучал громче всех остальных, громче даже ее собственного. Он споткнулся, она подхватила его под руки и удержала от падения. Они ступали прямо по упавшим, на которых натравливали собак. «Schnell, schnell!» — смеялись солдаты.

Пошатываясь, они вышли на оцепленное солдатами пространство — покрытый травою прямоугольник, усыпанный предметами одежды. Полицейские-украинцы хватали людей, били их и кричали: «Снимайте одежду! Быстро! Schnell!» Коля рыдал, боль сгибала его пополам, но она стала нащупывать пуговицу у ворота его рубашки. «Быстро, милый! Делай, как они

говорят», — она видела, что любого, кто мешкал, избивали ногами, кастетами или дубинками. Она стянула с себя платье и комбинацию, потом сняла туфли и чулки, успевая помочь и сыну, потому что у него тряслись руки и он не мог справиться с пуговицами и шнурками. Полицейский, оказавшийся рядом, стал лупить ее дубинкой по спине и плечам, но она в панике никак не могла быстро расстегнуть корсет, так что тот, все больше и больше злясь на нерасторопную вислогрудую старуху, сорвал его с ее тела.

Теперь, когда они были раздеты, наступила краткая передышка. Одну из групп обнаженных людей куда-то уводили. Нащупав среди разбросанной одежды свою сумочку, Лиза достала платок и осторожно вытерла кровь и слезы с Колиного лица.

В сумочке она увидела свое удостоверение и быстро приняла решение. Среди белых фигур оглушенных, обезумевших людей она различила немецкого офицера, имевшего начальственный вид. Она решительно подошла к нему, поднесла к его глазам удостоверение и по-немецки сказала, что они с сыном попали сюда по ошибке. Они пришли кого-то проводить, и их затянуло толпой.

— Вот, смотрите! — говорила она.– Я украинка

и замужем за немцем.

Офицер, нахмурясь, проворчал, что ошибок такого рода было слишком много.

— Оденьтесь и посидите на том пригорке, — он указал туда, где сидело несколько человек. Она бросилась обратно и велела Коле быстро одеваться и идти с ней.

Люди на пригорке молчали, обезумев от страха. Лиза обнаружила, что не может отвести взгляда от представления, разыгрывавшегося перед ними. Из живого коридора одна за другой вываливались группы кричащих, окровавленных людей, каждого из них хватали полицейские, опять избивали и срывали одежду. Это повторялось снова и снова. Кто-то истерически смеялся. Некоторые старели на глазах. Когда Лиза столь плачевно лишилась своего дара или проклятия предвидеть будущее и ее мужа забрали под покровом тьмы, она поседела за одну ночь — старая поговорка оказалась правдой. Теперь же она своими глазами видела, как это происходит. В группе, шедшей через одну после той, в которой были они, она заметила Соню — ее иссиня-черные волосы совершенно поседели, пока с нее срывали одежду перед отправкой на расстрел. Лиза наблюдала подобное снова и снова.

Выстрелы слышались из-за крутой песчаной стены. Людей заставляли выстраиваться в цепочки по нескольку человек, после чего проводили их через проход, наспех прорытый в стене песчаника. Эта стена все скрывала от глаз, но все, конечно, знали, что их ждет. Правый берег Днепра изрезан глубокими оврагами, и этот именно овраг был огромным, величественным, глубоким и широким, как горное ущелье. Если крикнуть, стоя на одном его краю, то на другом вряд ли будет слышно. Склоны были крутыми, в некоторых местах даже нависающими, а по дну бежал чистый ручеек. Вокруг были кладбища, лес и садовые участки. Местные жители называли этот овраг Бабьим Яром. Коля часто играл в нем с друзьями.

Она заметила, что все без исключения мужчины и женщины, которых гнали через проход, прикрывали руками свои половые органы. Многие дети делали так же. Некоторых мужчин и мальчиков терзала боль от ударов, полученных в промежность, но в большинстве случаев это был инстинктивный стыд — такой же, из-за которого Коля не хотел, чтобы она видела его раздетым. Он тоже, когда с него сорвали одежду, прижал руки к паху — отчасти от боли, но также из-за естественной стеснительности. Именно в такой позе был

похоронен Иисус. Женщины пытались прикрыть руками и груди. Было ужасно и странно видеть, как они пекутся о своей скромности, отправляясь на расстрел.

Коля все еще держал руки между бедер. Он сгорбился и не мог унять дрожь. Не мог, хотя она обняла его, согревая, и шептала слова утешения. Он ничего не говорил. Речь у него словно отшибло.

Она понимала, что ей самой никак нельзя сломиться, даже когда из коридора, шатаясь, вышла Люба Щаденко, прижимавшая к себе свою младшенькую, Надю. Рот трехгодовалой девочки был широко раскрыт в беззвучном реве. Лицо у Любы было все в крови, так же, как у Ольги и Павла, бредших вслед за ней. Старухи-свекрови нигде не было видно. На мгновение, как раз когда Люба стянула через голову платье, показалось, что она смотрит прямо на свою подругу на пригорке и взгляд у нее осуждающий. Но вряд ли она могла сейчас что-либо видеть. Раздевшись, она стала возиться с пуговицами Нади, но слишком медленно. Полицейский со злостью схватил девочку, поднес ее, как мешок картошки, к песчаной стене и перекинул на ту сторону.

«Пресвятая Богородица…», «Ora pro nobis…»

— бормотала Лиза слова молитв, заученных с детства, и слезы, не переставая, лились у нее из-под век.

Никто не мог вообразить этой сцены, все происходило наяву. Несмотря на крики, вопли и стук пулеметов, Лиза ничего не слышала. Все было как в немом фильме, и белые кучевые облака медленно плыли по голубому небу. Она даже начала верить, что за песчаной стеной не происходило ничего ужасного. Такого кошмара просто не могло быть. Она не знала, куда забирали людей, но, конечно же, их не убивали. Она сказала Коле:

— Нас просто пугают. Вот увидишь, придем домой, и окажется, что Павел и все остальные целы и невредимы.

Ей всегда было трудно убить даже таракана; а убивать всех этих людей просто не было причин. Немцы выстраивали их в ряд у края обрыва, стреляли поверх голов, смеялись своей шутке и приказывали переодеваться в чистое и садиться на поезд. Это было безумием, но не настолько страшным, как то, что можно было предположить взамен. Она продолжала наполовину верить в это, даже когда офицер-украинец произнес:

— Мы сперва перестреляем евреев, а потом вас отпустим.

Эти слова были сказаны молодой женщине, с которой она когда-то была слегка знакома, — Дине Проничевой, актрисе Киевского кукольного театра. Лиза узнала ее, когда та появилась из «живого коридора». Двое стариков, наверное ее родители, помахали Дине из другой группы, по-видимому, веля ей попробовать избежать общей участи. Вместо того чтобы раздеться, Дина направилась к офицеру-украинцу, стоявшему перед пригорком, и Лиза услышала, как она потребовала, чтобы ее отпустили. Она показала ему содержимое своей сумки. Она была совсем не похожа на еврейку — меньше даже, чем Лиза, с ее довольно большим носом. У Дины была русская фамилия, и она говорила по-украински. Ей удалось убедить офицера, и он сказал, что позже ее отпустят. Дина сидела теперь через несколько человек от Лизы, ниже на пригорке, спрятав, как и большинство остальных, лицо в ладони: от потрясения, горя и, может быть, страха, что кто-нибудь ее узнает и закричит: «Она грязная жидовка!» — надеясь тем самым спасти собственную шкуру.

Лиза вспомнила молитву, которой научила ее няня, чтобы избавляться от ночных кошмаров. «Спаситель наш...» В иную явь так трудно

поверить, что от нее хочется проснуться. Но, хотя молитва и помогла ей немного, кошмар продолжался. В этом мире маленьких детей швыряли через стену, как швыряют в вагон мешки с зерном, молотили по мягкой белой плоти, как крестьянки молотят высыхающую одежду, и по лоснящемуся черному сапогу постукивал черный хлыст утомленного офицера, стоявшего перед бугром. «Спаситель наш...»

Она чувствовала, что бессильна помочь Коле. Ничего не оставалось делать, только эгоистично молиться, чтобы остальные были убиты — и, во имя милосердия, побыстрее, — а тем, кто сидел на пригорке, разрешили разойтись по домам. Она непрерывно бормотала эту себялюбивую молитву. Но ни на миг не жалела о том, что не приняла предложения Любы и не осталась. Теперь она понимала, почему ей никогда не следовало иметь детей. И все же мысль о Коле, ее сыне, который мог оказаться здесь среди незнакомых ребят, может быть, среди детей из сиротского дома, была в сотни раз хуже страха смерти.

Она впала в транс, в котором все, что происходило вокруг совершалось медленно и беззвучно. Может быть, она действительно оглохла. Было тише, чем самой тихой ночью. И облака плыли

по небу все с той же ужасной, ледяной, нечеловеческой медленностью. Краски тоже изменились. Все приобрело розовато-лиловый оттенок. Она видела, как у горизонта собралось кучевое облако; как оно разделилось на три части; как, непрерывно меняя очертания и цвет, эти облака отправились в путешествие через все небо. Они не знали о том, что совершалось. Они думали, что это обычный день. Им следовало бы изумиться. Крохотный паучок, бежавший по стеблю травы, полагал, что это простая, самая обычная полевая былинка.

День, который не воспринимался как отрезок времени, все тянулся, и стало темнеть.

Неожиданно подъехала открытая машина, в которой сидел высокий, хорошо сложенный и щегольски одетый офицер с хлыстом наездника в руке. Поодаль находился русский заключенный.

— Кто эти люди? — через переводчика спросил офицер у полицейского, указывая на пригорок, где к тому времени собралось около пятидесяти человек.

— Это наши, украинцы. Они провожали знакомых, их надо выпустить.

Офицер закричал:

— Всех немедленно расстрелять! Если хоть

один из них выберется отсюда и станет болтать в городе, завтра мы здесь не дождемся ни единого еврея.

Лиза схватила Колю за руку и сильно сжимала ее, пока заключенный слово в слово переводил приказ офицера. Мальчик стал задыхаться, рука его неистово дрожала, но она впилась в нее еще сильнее.

— Господь позаботится о нас, милый, вот увидишь, — шепнула она.

По внезапному резкому неприятному запаху она поняла, что кишечник вышел у него из повиновения. Она крепко обняла его и поцеловала; слезы, которые большую часть дня удавалось сдерживать, теперь скатывались у нее по щекам. Он же за все время, что они провели на бугре, не сказал ни слова, не пролил ни слезинки.

— Что ж, пойдемте! Пошли! Поднимайтесь! — кричал полицейский. Люди вставали, пошатываясь, как пьяные. Они вели себя спокойно и послушно, как будто им сказали идти на ужин. Может быть, из-за того, что было уже поздно, немцы не стали обременять себя их раздеванием и одетыми повели через брешь в стене.

Лиза и Коля были в числе последних. Они прошли через брешь и оказались в песчаном карьере,

края которого почти нависали над оврагом. Уже наполовину стемнело, и она не могла толком разглядеть карьер. Одного за другим их подгоняли, направляя налево по очень узкому уступу.

Слева от них была стена карьера, справа — глубокая пропасть; уступ, по-видимому, прорыли именно для казни, он был таким узким, что, проходя по нему, люди невольно прижимались к стене песчаника, чтобы не упасть. У Коли подгибались колени, и он не устоял бы, не держи его мать под руку.

Им приказали остановиться и повернули лицом к оврагу. Лиза взглянула вниз, и у нее закружилась голова, казалось, она стоит очень высоко. Под ней было целое море окровавленных тел. На другой стороне оврага видны были только пулеметы и несколько солдат. Немцы разожгли костер и вроде бы варили на нем кофе.

Она сжала Колину ладонь и сказала, чтобы он закрыл глаза. Больно не будет, а когда они окажутся на небесах, она по-прежнему будет с ним рядом. Увидев, чтохлаза у него закрыты, Лиза подумала, не сказать ли ему, что его папа и настоящая мама уже там и готовы его встретить; но решила, что этого делать не следует. Один из немцев допил кофе и побрел к пулемету. Она

стала шептать «Отче наш» и услышала рядом с собой слабый голос сына, произносивший ту же молитву. Она не столько видела, сколько чувствовала, как тела падают с уступа и поток пуль приближается к ним. За миг до того, как он достиг их, она потянула Колю за руку, крикнула: «Прыгай!» — и вместе с ним бросилась с уступа.

Ей показалось, что она падала очень долго, — пропасть, наверное, была очень глубокой. Ударившись о дно, она лишилась сознания. Она была у себя дома, стояла ночь, она лежала на правом боку в полудреме, и тараканы шуршали на стенах и под кроватью. Потом она стала понимать, что этот звук создавала масса людей, слегка шевелившаяся и оседавшая, сжимаясь все плотнее из-за движений тех, кто был еще жив.

Она упала в лужу крови и лежала на правом боку, а правая рука под неестественным углом подвернулась под тело, но не болела. Она не могла ни двинуться, ни повернуться — что-то еще, предположительно, другое тело (может быть, Колино), придавило ей правую руку. Боли нигде не чувствовалось. Помимо шороха, доносились и другие странные подземные звуки, заунывный хор стонов, вздохов и всхлипов. Она пыталась выговорить имя сына, но голос ей не повиновался.

Когда стемнеет, она найдет Колю и они вылезут из оврага, проберутся в лес и убегут.

Несколько солдат подошли к краю обрыва и осветили тела фонариками, стреляя из револьверов в любого, кто казался еще живым. Но кто-то неподалеку от Лизы продолжал громко стонать.

Потом она услышала, что к ней приближаются несколько человек, очевидно, шагая по трупам. Это были немцы, спустившиеся вниз, они нагибались и забирали вещи у мертвых, время от времени стреляя по тем, кто подавал признаки жизни.

Эсэсовец нагнулся над лежавшей на боку старухой, привлеченный каким-то ярким отблеском. Когда он стал снимать с нее распятие, его рука коснулась ее груди и он, должно быть, уловил искорку жизни. Отпустив распятие, он выпрямился, замахнулся ногой и нанес ей сокрушительный удар подкованным сапогом. Удар пришелся в левую грудь и был так силен, что она сдвинулась, но не издала ни звука. Все еще неудовлетворенный, он снова занес ногу и обрушил на нее еще один удар, пришедшийся по области таза. И вновь единственным звуком был отчетливый хруст костей. Довольный наконец, он сорвал с нее распятие и пошел прочь, ощупью находя себе

дорогу по трупам.

Женщина, чьи крики не могли прорваться сквозь глотку, все кричала, потом крики превратились в стоны, но ее по-прежнему никто не слышал. В тиши оврага раздался громкий голос сверху:

— Демиденко! Валяй, начинай закапывать!

Послышался лязг лопат, а потом тяжелые глухие удары, с которыми падали на трупы земля и песок, все ближе и ближе к женщине, еще остававшейся в живых. Быть похороненной заживо казалось невыносимым. Ужаснувшись, она крикнула изо всех сил:

— Я жива! Прошу, застрелите меня! Наружу вырвался только задыхающийся шепот, но Демиденко его услышал.

— Эй, Семашко! — крикнул он.– Эта еще живая!

Семашко двигаясь легко для человека его сложения, подошел поближе. Он глянул вниз и узнал старуху, пытавшуюся подкупить его, чтобы он ее выпустил.

— Что ж, кинь ей палку! — хохотнул он.

Демиденко ухмыльнулся и принялся расстегивать пряжку ремня. Семашко положил винтовку и толкнул женщину, чтобы лежала ровнее. Ее

голова перекатилась налево, и она теперь смотрела прямо в открытые глаза мальчика. Затем Демиденко рывком раздвинул ей ноги.

Вскоре Семашко стал потешаться над ним, а Демиденко ворчал в ответ, что слишком холодно и что старуха чересчур безобразна. Он заправился и подобрал винтовку. С помощью Семашко он отыскал отверстие, и они перешучивались между собой, когда он осторожно, едва ли не нежно, вводил туда штык. Женщина не издавала ни звука, хотя они видели, что она еще дышит. По-прежнему очень осторожно Демиденко стал подражать толчкам полового акта, и, когда тело женщины стало дергаться и расслабляться, дергаться и расслабляться, Семашко разразился гоготом, который эхом отдавался от стен оврага. Но после этих спазмов больше не было никаких признаков, что она что-либо ощущает; она, казалось, перестала дышать. Семашко проворчал, что они попусту тратят время. Демиденко повернул лезвие и глубоко вогнал его внутрь.

* * *

Всю ночь успокаивались тела. То и дело чуть сдвигалась чья-нибудь рука, заставляя соседнюю голову слегка повернуться. Черты лиц незаметно

изменялись. «Спящей ночи трепетанье», — так сказал об этом Пушкин; только он имел в виду успокоение человеческого жилища.

Душа человека — это далекая страна, к которой нельзя приблизиться и которую невозможно исследовать. Большинство мертвых были бедны и неграмотны. Но каждому из них снились сны, каждому являлись видения, каждый обладал неповторимым опытом, даже грудные дети (возможно, грудные дети — в особенности). Хотя мало кто из них когда-либо жил за чертой подольских трущоб, их жизни были так же богаты и сложны, как жизнь Лизы Эрдман-Беренштейн. Если бы Зигмунд Фрейд выслушивал и записывал человеческие истории со времен Адама, он все равно еще не исследовал бы полностью ни одной группы, ни одного человека.

И это был только первый день.

После наступления темноты одна женщина *действительно* взбиралась по склону оврага. Это была Дина Проничева. И когда она ухватилась за куст, чтобы подтянуться выше, она *действительно* столкнулась лицом к лицу с мальчиком, одетым в фуфайку и брюки, который тоже медленно полз вверх. Он испугал Дину своим шепотом:

— Не бойтесь, тетя! Я тоже живой.

Лизе когда-то пригрезились эти слова, когда она была в Гастайне на теплых ваннах вместе с тетей Магдой. Но это не удивительно, ведь у нее был дар предвидения и, естественно, часть ее продолжала существовать вместе с этими выжившими людьми: Диной и маленьким мальчиком, которого всего колотила дрожь. Его звали Мотя.

Мотя был застрелен немцами, когда крикнул об опасности женщине, на которую теперь смотрел как на мать — так добра была она к нему. Дина выжила, чтобы стать единственной свидетельницей, только она могла подтвердить все то, что видела и чувствовала Лиза. Но это происходило тридцать тысяч раз — всегда одинаково и всякий раз по-иному. И не могут живущие говорить за мертвых.

Позже эти тридцать тысяч стали четвертью миллиона. Четверть миллиона белых отелей в Бабьем Яру. (В каждом из них был свой Фогель, своя мадам Коттен, священник, проститутка, чета молодоженов, майор-стихотворец, булочник, шеф-повар и цыганский оркестр.) Нижние слои оказались сжатыми в единую массу. Когда немцы решили замести следы этого массового убийства, оказалось, что даже бульдозерам нелегко отделять друг от друга тела, которые теперь

приобрели серовато-голубой оттенок. Нижние слои пришлось взрывать динамитом, а порой в дело пускались топоры. Люди здесь были, за некоторыми исключениями, обнаженными; но ближе к поверхности они были в нижнем белье, а еще выше — полностью одетыми; это напоминало различные формации скальных пород. Внизу лежали евреи, затем шли украинцы, цыгане, русские и проч.

Был создан огромный участок разнообразных работ. *Землекопы* рыли землю, *извлекатели* на крюках вытаскивали трупы, *старатели (Goldsucher)* собирали ценности. Было странно и трогательно, что почти всем жертвам, включая обнаженных, удалось утаить какой-нибудь предмет сентиментального характера, чтобы унести с собою в овраг. Там были даже ремесленные инструменты. Многие ценности приходилось извлекать из тел. Коронки, которые Лизе поставили вскоре после ее возвращения из Милана, были смешаны со множеством других — в том числе с добытыми изо ртов четырех престарелых сестер Фрейда — и превращены в партию золотых слитков.

Гардеробщики собирали мало-мальски сносную одежду; *строители* сооружали гигантские по-

гребальные костры; *истопники* разводили огонь, поджигая человеческие волосы; *дробильщики* просеивали пепел в поисках золота, которое могло ускользнуть от *старателей; садовники* грузили пепел на тачки, чтобы рассыпать его по садовым участкам поблизости от оврага.

Это была тяжелая работа. Стражники выдерживали зловоние, только глуша целыми днями водку. Русским пленным не давали еды (но горе им, если ослабеют!), и время от времени кого-нибудь из них, обезумевшего от аппетитного запаха жареной плоти, хватали при попытке вытащить из пламени кусок мяса; уличенные в подобном варварстве сами усиливали соблазнительный аромат — их готовили живьем, как омаров. Заключенные знали, что в конечном итоге, когда будет сожжен последний труп, их тоже скормят огню — тех, кто до этого доживет. Стражники знали, что те знают, и это служило источником добродушного подшучивания одной стороны над другой. В один из дней прибыл истребительный фургон, полный женщин. Когда пустили газ, изнутри послышались обычные крики и стук по стенам, но вскоре наступила тишина и можно было открывать двери. Вытащили более сотни нагих девушек. Подвыпившие стражники заходились

в хохоте: «Не робей, хлопцы! Каждой по палке! Обновите им целки!» Они едва не захлебывались водкой от смеха: соль шутки состояла в том, что девушки эти были официантками в ночных клубах Киева, а посему — вряд ли непорочными девственницами. Даже у одного или двоих пленных костлявые лица искривились в ухмылке, когда они укладывали девушек — и мертвых, и еще живых — в погребальный костер.

Когда война окончилась, усилия уничтожить мертвых продолжались, хотя и предпринимались другими. Через некоторое время Дина Проничева перестала признаваться в том, что совершила побег из Бабьего Яра. Инженеры перегородили устье оврага дамбой и закачали туда насосами воду и грязь из соседних карьеров, создав зеленое, стоячее и зловонное озеро. Дамбу прорвало, огромную часть Киева затопило грязью. Застывших в предсмертных позах, как в Помпее, людей продолжали выкапывать и двумя годами позже.

Никто, однако, не посчитал нужным умиротворить овраг мемориалом. Он был залит бетоном, над ним пролегла магистраль, на нем воздвигли телецентр и высотные жилые дома. Трупы захоронили, сожгли, утопили и погребли вновь под бетоном и сталью.

Но все это не имеет отношения к гостье, душе, изнемогающей от любви невесте, дщери Иерусалима.

ЧАСТЬ 6
лагерь

После хаоса и неразберихи кошмарной поездки они высыпали из вагонов на маленькую пыльную платформу посреди пустыни и, толкаясь, перешли через небольшой мост. Было так чудесно вдыхать сладкий воздух, когда безо всяких угроз и формальностей их провели к выходу. Снаружи застыли в ожидании выстроенные в ряд автобусы.

Молодой лейтенант, отвечавший за автобус, в который попала Лиза, заикался от застенчивости, и это разрядило обстановку во время переклички. Он смущенно улыбался, когда пассажиры со смехом сообщали ему, что то или иное трудное имя он произнес неправильно. Особенно нелегко ему пришлось с Лизой. Под слоем пота — день был очень жаркий — вверх по щеке и через лоб у него протянулся белый шрам, а один из рукавов праздно покоился в кармане форменной рубашки.

Когда автобус, подняв облако пыли, тронулся с места, лейтенанта качнуло и он с размаху уселся на пустое сиденье впереди Лизы.

— Извините! — сказал он с улыбкой.

— Не волнуйтесь! — улыбнулась она в ответ.

— Это польская фамилия, по-моему? — спросил он, и она подтвердила, что это так. На самом деле она была смущена своей ошибкой. Приняв решение не пользоваться ни своей еврейской фамилией — Беренштейн, ни немецкой — Эрдман из-за всех тех неприятнрстей, которые ей приходилось испытывать, когда ее просили предъявить документы, она намеревалась указать свою девичью фамилию — Морозова. Но по какой-то странной причине назвала вместо нее девичью фамилию своей матери: Конопницка. Было слишком поздно что-либо предпринимать. Молодой лейтенант спросил ее, как прошла поездка.

— Ужасно! Ужасно! — сказала Лиза.

Он сочувственно покивал и заметил, что, по крайней мере, они смогут отдохнуть в лагере. Там не дворец, но довольно удобно. Позже их отправят дальше. Лиза сказала, что ему никогда не понять, как много это значит — услышать доброе слово. Она засмотрелась на однообразную пустыню под выжженным небом и не расслышала его следующего вопроса — чем она занималась в прежней жизни. Ему пришлось переспросить. Он обрадовался, узнав, что она была певицей. Хотя

и не особенно разбираясь в музыке, он очень ее любил, и одной из его задач было устроительство концертов в лагере. Может быть, она захочет принять участие? Лиза сказала, что будет рада, если ее голос сочтут достаточно хорошим.

— Меня зовут Ричард Лайонз, — сказал он, протягивая ей левую руку поверх спинки сидения. Она неловко пожала ее, тоже не той рукой. Его имя всколыхнуло воспоминание, и, ко взаимному изумлению, оказалось, что она знакома с его дядей. Она повстречалась с ним, отдыхая в Австрийских Альпах.

— Он думал, что вы умерли, — сказала она.

— Не совсем, — ответил лейтенант с кривой усмешкой.

Разумеется, он знал отель, в котором они останавливались, — он часто ездил туда, чтобы покататься на лыжах.

— Красивое место, — заметил он.

— Да, но и здесь красиво, — отвечала она, снова глядя на песчаные дюны.– Прекрасный мир.

Воспользовавшись случаем, она спросила у него, как можно попытаться найти родственников. Вынув из нагрудного кармана записную книжку и карандаш, лейтенант, умудряясь одной левой рукой и удерживать книжку, и орудовать

карандашом, вписал имя Берешштейн. Он обещал навести справки.

— Будьте уверены, ваши родственники тоже будут просматривать новые списки, — сказал он. Она поблагодарила его за доброту, на что он сказал, что это пустое, он счастлив помочь.

Извинившись, он отправился дальше по автобусу, чтобы перекинуться дружеским словом с другими пассажирами. Коля, совершенно вымотанный, спал, его голова покачивалась у нее на плече. Она изменила позу, чтобы ему было удобнее. Грудь ее была полна нежности. Вскоре, однако, ей пришлось разбудить его — автобус приехал. Несмотря на усталость, пассажиры радостно восклицали при виде оазиса — зеленой травы, пальм, искрящейся воды. Само же здание больше походило на отель, чем на пересыльный лагерь. Лизе и ее сыну предоставили отдельную комнату. Там стоял сладкий запах древесины. Балки были из кедра, а стропила — из ели.

Вскоре Коля вместе с Павлом Щаденко отправился изучать окрестности, Лиза же так устала, что сразу повалилась на кровать. В сумеречном полусвете ее разбудил робкий стук в дверь. Она подумала, что стучится Коля, не вполне уверенный, их ли это комната. Как была, раздетая (они

еще не распаковали вещи), она пошла открывать. За дверью стоял лейтенант. Он, покраснев при виде ее наготы, извинился, что помешал ей отдыхать; ему следовало бы предвидеть, что она ляжет спать рано. Он так сильно заикался, что его с трудом можно было понять. Он лишь хотел сказать ей, что не смог отыскать в списках Виктора Беренштейна, зато нашел Веру Беренштейн. Может это чем-нибудь помочь? Лиза задохнулась от радости.

— Спасибо! — сказала она.

Он снова покраснел и сказал, что постарается найти имя ее мужа. И ему кажется, что она будет рада узнать, что здесь есть кто-то еще с такой же необычной фамилией — женщина по имени Мария Конопницка.

— Но это же моя мать! — воскликнула она в восторге. Довольный, он обещал продолжать наводить справки.

Дни мелькали за днями. Во время еды она всегда глядела на соседние столы, и всякий раз ей казалось, что она узнала чье-то лицо. Однажды ей даже показалось, что она узнаёт Зигмунда Фрейда в старике с плотно забинтованной челюстью, который ел — или пытался есть, — сидя за столом в полном одиночестве. Она относилась

к нему со слишком большим пиететом, чтобы просто подойти и заговорить. К тому же это, возможно, был вовсе не Фрейд: говорили, что этот старик прибыл из Англии. Но разве можно было не узнать это благородное лицо? Увидев, как он с трудом несколько раз затянулся сигарой, вставляя ее в крохотное отверстие рта, она почти уверилась. У нее появилось озорное побуждение отправить ему открытку (с изображением пересыльного лагеря — здесь были только такие), написав: «Фрау Анна Г. низко Вам кланяется; не удостоите ли Вы ее чести распить вместе с нею стакан молока?» Может быть, это заставит его улыбнуться, вспомнив о шеф-поваре из белого отеля. Поигрывая открыткой и решая, стоит ли ее покупать, Лиза вдруг осознала, что старый, добрый, отправленный «на просыхание» священник из ее дневника имел прообразом Фрейда; она недоумевала, как могла не понимать этого в свое время. Это же так очевидно. Потом ей сделалось сразу и холодно, и жарко, потому что сам Фрейд, такой проницательный и мудрый, должно быть, знал об этом с самого начала и, наверное, думал, что она над ним смеется. Поэтому вряд ли будет тактично посылать ему открытку, которая напомнит обо всем этом.

Однажды она прошла мимо него, когда его везли в медпункт в кресле на колесиках. Его голова свисала на грудь, и он не увидел ее. Он выглядел ужасно больным и несчастным. Если бы она дала ему о себе знать, ей пришлось бы подвергнуть точность его диагноза еще более серьезным сомнениям, а это могло его еще сильнее омрачить. Лучше держаться в стороне и лишь молиться, чтобы врачи сумели ему помочь. Они, несомненно, знают, что делают. Молодой, измученный недосыпанием врач, осматривавший ее, действовал энергично, но осторожно. Несмотря на это, она дергалась, когда он осматривал больные места.

— Что, вы думаете, у вас не в порядке? — спросил он, когда она отпрянула от его прикосновения.

— Anagnorisis, — выдохнула она. Лекарства, которые он прописал, облегчили боль.

Она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы начать посещать занятия по языку, — в классе, который был рядом с классом Коли! Она хотела как следует изучить иврит. Все, что она знала, была цитата, которой ее научила Кедрова: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Языки всегда легко ей давались, и преподаватели были довольны ее успехами.

Но казалось, что совсем необязательно быть

евреем, чтобы жить здесь; ведь ее мать тоже была в списках.

На второй вечер — она полагала, что на второй, — молодой лейтенант подошел к ее столу и, стесняясь, пригласил ее на танец. Поскольку среди иммигрантов было много музыкантов, включая некоторых из Киевского оркестра, они быстро образовали танцевальный ансамбль. За едой царил счастливый дух общительности, семейные пары не замыкались в самих себе, но старались, чтобы многочисленные вдовцы и вдовы были вовлечены в общее веселье. Лиза не думала, что справится с танцем, ведь у нее болело бедро, но не хотела обидеть застенчивого молодого офицера, который был с нею так мил. Им кое-как удалось выдержать вальс: ему, с одной рукой, и ей, почти что с одной ногой! Они смеялись, говоря об этом. Она вышла вместе с ним побродить в вечерней прохладе. Возле оазиса он показал ей прекрасный ковер из ландышей. Его не огорчило то, что у нее было кровотечение.

Что было на самом деле поразительно, что единогласно признали чудом, так это появление «нелегальной иммигрантки», случившееся через несколько недель после прибытия первого поезда из Киева. Она ковыляла через виноградник,

и сборщики приостановили работу, глядя на нее в изумлении. Люба Щаденко в то утро была в своей комнате вместе с детьми и свекровью и услышала, что в дверь кто-то скребется. Она открыла ее и увидела у своих ног маленькую черную кошку, жалобно мяукавшую. Это была их кошка, по недоразумению названная Васькой, — тощая как скелет, со сбитыми в кровь лапками, но, несомненно, Васька. Вскоре она, налакавшись молока с блюдца, свернулась клубочком, мурлыча на руках у Нади. Каким-то образом, благодаря удивительному инстинкту, присущему кошкам, она ползком преодолела улицы, пустыни и горы, чтобы вновь их найти. Она быстро поправилась и стала очертя голову носиться по лагерю, сделавшись всеобщей любимицей.

Черная кошка приняла надлежащее участие в шумном праздновании сбора винограда. Урожай выдался щедрым, грозди были превосходны. Лиза в первый раз попробовала свой голос — негромко, в застольной хоровой песне. Он оказался сиплым и неуверенным, но она не огорчилась, а кое-кто даже повернул голову в ее сторону, интересуясь, кому принадлежит это приятное сопрано.

Черную кошку можно было встретить буквально повсюду! Однажды вечером она даже сорвала

показ фильма. Лиза обычно ходила на эти сеансы: фильмы, хотя зачастую и неинтересные — плохо снятая документалистика, — помогали ей в изучении языка. В тот вечер они с Любой смотрели документальный сюжет о поселении в Эммаусе. Показывали тюремную больницу, в которой добились выдающихся успехов в лечении заключенных строгого режима. Среди интервьюируемых пациентов был один, которого Лиза, как ей казалось, узнала, — приятный молодой человек в очках. Вооруженные стражники сопровождали его по бокам, проводя между зданиями. Показывали, как он играет с детьми в спортивном зале, но даже там вооруженная охрана внимательно за ним наблюдала. Диктор назвал его имя — Кюртен — так, словно зрителям оно было хорошо знакомо; и Лиза *действительно* думала, что когда-то слышала это имя и, возможно, видела в газетах фотографии этого человека, но не могла вспомнить, когда и где. Она собиралась шепотом обратиться к Любе, как вдруг весь экран заполнился Васькой… Силуэтным изображением Васьки! Зрители оживились и разразились смехом. Каким-то образом кошка проникла в проекторскую, а теперь безмятежно умывала на экране свою мордочку! Зрители за-

хлопали, требуя продолжения, — это было куда занятнее фильма!

А однажды утром появились четверо черно-белых котят, мяукающих и мокрых, тычущихся в Васькины соски. Люба сказала, что это чудо, потому что кошка была кастрирована... Но котята были несомненно всамделишными, и Васька сделалась еще большей героиней, чем прежде. Все дети в лагере по очереди приходили поиграть с самыми последними иммигрантами и всячески подлизывались к Наде, чтобы та позволила им взять кого-нибудь из них к себе домой.

Но величайшим из чудес было то — как, смеясь, говорила Люба, — что у котят должен иметься отец, а откуда он мог здесь взяться?

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Голубица моя в ущелий скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой; потому что голос

твой сладок и лице твое приятно[49].

Эта цитата приводилась в письме, пришедшем от совершенно неожиданного отправителя. Лиза была в поле, когда появился человек с почтой, и, увидев знакомый, но давно забытый почерк, она была вынуждена покинуть длинную цепочку сборщиц винограда и броситься в единственно доступное ей место уединения — в уборную. На нее обрушилось так много эмоций, принадлежавших умершему прошлому, что ей и в самом деле не мешало туда пойти. Живя в Киеве, она часто встречала имя Алексея в газетах и видела его фотографию — он стоял по стойке «смирно» среди одетых в форму людей. Потом она прочла о его аресте и сенсационных признаниях. Она была на седьмом небе оттого, что его не расстреляли, а позволили воссоединиться с диаспорой.

Он писал, что некоторое время провел в заключении в Эммаусе, после чего стал совершенно другим человеком. Жил он теперь на поселении в Бетерских горах. Условия суровые, но они трудятся не покладая рук, чтобы жизнь стала лучше. Увидев в списках имя Лизы, он сразу же понял, что по-прежнему любит ее и хочет, чтобы она

---

49 notes: 49

* Книга Песни Песней Соломона, 2, 10-14.

приехала и разделила с ним его жизнь.

Люба не хотела, чтобы подруга уезжала, и именно поэтому наперекор себе доказывала ей преимущества переезда к Алексею. Конечно, он не упоминал о женитьбе, но законы новой земли не требовали формальных уз.

Лиза, однако, написала в ответ, что начинать сначала слишком поздно. Она его тоже любит, как и прежде, но если поедет к нему жить, их всегда будет преследовать образ нерожденного ребенка. У них обоих слишком много всего на совести.

Однажды она услышала по радио серебряный голос Веры Беренштейн, и дрожь пробежала у нее по телу. Что было необычно для Веры, она исполняла религиозную песню — положенный на музыку Двадцать третий псалом. Голос ее казался прекраснее, чем когда-либо. Позже, благодаря дружбе с Ричардом Лайонзом, Лиза услышала этот серебристый голос по потрескивавшему телефону. Вера подтвердила, что ее мужа здесь еще нет — пока нет. Она была взволнована и подробно расспрашивала о сыне. Лиза готовила его к встрече с настоящей матерью: часто, как будто невзначай, произносила ее имя, вспоминала о ней.

Для нее это было тяжело, гораздо тяжелее тех работ, которые она начала выполнять в поле. Немало слез пролила она наедине с собой. Трудно было потому, что она ощущала себя матерью Коли, более того — *он сам* ощущал ее своей матерью, а она тем не менее мостила дорогу, по которой он сможет вернуться к родившей его женщине. Гораздо легче будет отпустить от себя Виктора, как только он здесь окажется. Втайне она была рада тому, что его еще нет, — и в то же время раскаивалась в этой радости. Она его очень любила, но в душе не видела его своим истинным и вечным супругом. Как бы во искупление этого греха, она старалась как можно больше помогать людям.

Она попыталась помочь старику, которого полагала Фрейдом. Ричард позволил ей просмотреть списки тех, кого отправили в поселения. Трудность состояла в том, что она не помнила фамилию дочери Фрейда по мужу. Но, увидев имя Софи Гальберштадт, с маленьким сыном Гейнцем, она уверилась, что это именно те, кого она ищет, и написала фрау Гальберштадт небольшое письмо. Как будто в награду за благое дело, Лиза наткнулась на запись о своей старой петербургской подруге — Людмиле Кедровой. А когда вернулась к себе в комнату, то, по одному

из бытующих странных совпадений, нашла на кровати ожидавшее ее письмо от Людмилы. Та писала, что обнаружила ее имя в списках и была рада, что Лиза в безопасности. Ей лечат грудь радием, это больно и тошнотворно. Лизе это показалось странным, она помнила, что грудь Людмиле удалили, пытаясь спасти ей жизнь. Она встревожилась, боясь, не означает ли это, что у нее оказалась зараженной и вторая грудь.

Жарким, безветренным днем Ричард Лайонз подвез ее в армейском джипе к отлогому берегу озера. Мать хотела встретиться с нею где-нибудь в уединенном месте. Он остановил джип в тени пальм и сказал, чтобы она взошла на дюну. На гребне дюны Лиза посмотрела в сторону озера, за которым виднелись холмы Иудеи, и увидела стоявшую на берегу женщину. Лицо ее было повернуто в сторону, как будто все ее внимание было поглощено облаком красной пыли на горизонте, пылавшим у нее над плечом. Ни единая складка на ее платье не шелохнулась. Когда она повернулась к Лизе, та увидела, что слева кожа у нее на лице совершенно омертвела.

Они молча пошли вдоль берега. Обе не знали, что сказать. Наконец Лиза нарушила молчание, сказав, что сожалеет об ожогах на лице матери.

— Да, но я их заслужила; кроме того, здесь очень хорошо лечат.

Дочь узнала этот голос, которого не слышала полвека, и грудь ее затрепетала.

Женщина напряженно всматривалась в лицо Лизы, начиная узнавать черты своего ребенка. Заметив распятие у нее на груди, она сказала:

— Это мое, так ведь? Я рада, что ты его сохранила.

Их по-прежнему одолевали смущение и неловкость.

Лиза, чтобы нарушить болезненное молчание, спросила, каковы условия в поселении матери — та жила в Кане.

Мать отвечала с печальной улыбкой:

— Что ж, это ни в коем случае не нижний круг.

Лиза тоже вежливо улыбнулась, но была озадачена. Она вспомнила, что у матери была раздражающая привычка никогда-не отвечать на вопросы прямо.

— Твоя тетя собирается приехать сюда, — сказала мать.

— О! И когда?

— Скоро.

По-над водой пролетел ворон с куском хлеба в клюве.

— И Юрий тоже, совсем скоро.– Задумчивые, красивые карие глаза матери искоса глянули на Лизу.– Тебе стоит узнать своего брата поближе. Конечно, он ревновал, когда появилась ты, я в этом уверена. Ты совсем другая, а он удался в отца, это очевидно.

Лиза взяла мать за руку. Их руки неловко ощупывали друг друга.

— Здесь твой отец, ты знаешь об этом? — спросила мать.– Он живет один.

— Один? Это на него очень похоже! — сказала Лиза, и ее колкость заставила их обеих рассмеяться и разбила наконец лед отчужденности.

— Ты видишься с ним? — спросила Лиза.

— О да.

— Поцелуешь его за меня?

— Да, конечно. Кстати, его родные — и мои тоже — все тебя целуют и очень хотят с тобой повидаться.

Молодая женщина радостно кивнула. Они приноровились идти в ногу, медленно ступая по песку.

Лиза открыла было рот, собираясь задать вопрос, но промолчала. Было еще слишком рано. Кроме того, этот вопрос, по сути, диктовался чистым любопытством; знать на него ответ не

было насущной необходимостью. Единственно важной вещью была *смерть*, а теперь она знала, что об этом речи не шло — ее мать не умерла, а эмигрировала.

Но словно по наитию, мать вздохнула и спросила:

— Ты, наверное, знаешь, что случилось?

— Я знаю голые факты, не обстоятельства. Но если не хочешь, не надо об этом говорить. Правда, это не важно. Я бы точно так же поразилась, если бы вдруг узнала, что ты ходишь на собрания монахинь.

Мать засмеялась.

— Ну, это вряд ли! Нет, я не против того, чтобы поговорить об этом. Твой дядя — чудесный человек. С Магдой ему приходилось нелегко. Он был здоровым и нормальным, но ее желания простирались совершенно в противоположном направлении. Она очень мало могла для него сделать. Не стоит винить ее за это, она ни о чем не догадывалась, пока не стало слишком поздно. Мы обе были ужасно невинны, когда вышли замуж. И молоды. Невежественны, как мотыльки. Ты понимаешь?

— Да, — сказала Лиза.– Да, это начинает становиться понятным.

— Она знала, что происходит между нами, по крайней мере в самом начале, и, по-моему, даже испытывала огромное облегчение. — Мать встревоженно взглянула на дочь.

— Значит, — сказала Лиза, чувствуя, как проясняется мгла, — когда вы все трое... *она действительно* хотела?..– Она взглянула на мать, покраснела и снова стала смотреть в сторону.

— Да, пожалуй. Это было ее предложение. Нам с Францем было очень неловко. Но позже она захотела все это прекратить — думаю, из-за того, что оставалась одинокой, а это усиливало ее ревность, — и нам с твоим дядей пришлось встречаться тайно. Это был непростительный грех.

— А отец знал?

— Знал, но никогда об этом не упоминал. Мы не спали вместе с тех пор... практически с тех пор, как родился Юрий. Ну, это не совсем так — конечно же! Однажды, при голубой луне... Он был очень занят. У него была работа, подпольная деятельность, любовница. Ему было все равно, что я делаю, пока соблюдались внешние приличия.

Солнце нестерпимо жгло, и Лиза начала чувствовать дурноту. Исповедь матери истощала ее силы. Она спросила, нельзя ли им присесть; скала неподалеку отбрасывала небольшую тень. Они

сели, прислонившись спинами к раскаленному камню.

— Как ты себя чувствуешь? — встревоженно спросила мать, и Лиза сказала, что ей стало немного нехорошо из-за прогулки под раскаленным солнцем. Тогда мать спросила, не хочет ли она пить, и, когда, Лиза ответила утвердительно, расстегнула платье и обняла дочь за плечи, привлекая ее к своей груди. Первые освежающие капли охладили кровь Лизы, и голова у нее перестала кружиться. Она отняла губы и благоговейно положила руку на полную белую грудь матери, увенчанную розовым соском.

— Я помню ее! — сказала она с улыбкой. Мать улыбнулась в ответ со словами:

— Пей, сколько хочешь. У меня, слава богу, всегда было вдосталь молока.

— Но откуда?..– спросила Лиза, и мать со вздохом объяснила:

— Сюда присылают очень много сирот, а кормилиц всегда не хватает. Я таким образом могу приносить пользу.

Лиза с удовольствием приникла сначала к одной груди, потом к другой. Рука ее, обнимавшая мать под платьем, ощутила жесткие грани, и она улыбнулась про себя, подумав о том, что мать

до сих пор носит старомодный корсет. Когда она напилась и мать запахнула платье, Лиза расстегнула блузку и, в свою очередь, дала матери пососать из груди. Чувствуя прикосновение ее губ к своему соску, она испытывала ни с чем не сравнимое счастье. Поглаживая все еще густые светлые волосы матери, она сказала, что завидует ей, — ведь у нее были грудные дети! Застегивая блузку, она покраснела от вопроса матери и объяснила, что молоко у нее появилось благодаря молодому лейтенанту-англичанину. Она сказала, что он ей очень нравится, и ей кажется, что его нужно накормить и утешить, он пробуждает в ней материнские чувства.

Освеженные и восстановившие силы, они поднялись и продолжили свою прогулку вдоль берега озера. Мария Конопницка сказала:

— У меня ощущение, что то же самое я испытывала к твоему дяде. Я никому не собиралась причинить незаслуженную боль. Хотела лишь утешить его. Конечно, мы отчасти обманывали самих себя.

— Да, я *видела,* как ты его утешала! — с лукавой улыбкой сказала молодая женщина.

— Я знаю! О, это было ужасно! Мы чуть сквозь землю не провалились со стыда! Оставалось

только молиться, чтобы ты оказалась слишком маленькой, чтобы что-то понять, но, очевидно, это было не так. Лиза, милая, мне очень жаль. Видишь ли, мы понятия не имели о том, что ты все еще на яхте. Соне было строго наказано...

— Я не тот раз имею в виду: я говорю о беседке! — Она улыбнулась дразнящей улыбкой, но мать выглядела озадаченной.

— Мы *никогда* ничего не позволяли себе ни в беседке, ни где-либо еще, где нас могли увидеть. Почти всегда это было на яхте, если отец был занят работой, а твоя тетя предпочитала остаться дома. Мы всегда были очень осторожны.

Она вдруг сделалась пунцовой, как закат за холмами.

— Постой! Ах да, теперь я вспомнила! Да, всего один только раз! О, как это было глупо с нашей стороны! И ты нас *видела?* Мне кажется, ты тогда и ходить не умела! Да, конечно, я помню! Я рисовала на берегу, так ведь? Мысли блуждали... Это, наверное, была ужасная картина! Был очень жаркий день, правда? Почти как сегодня. Потом твои дядя и тетя спустились на берег, и Магде захотелось полежать на солнце, а мы с Францем пошли прогуляться по парку. Да, о Боже! — Она улыбнулась, и румянец на необожженной сто-

роне ее лица стал еще сильнее. — Мы только целовались, так же?

Лиза энергично и озорно потрясла головой.

— Вы были только наполовину раздеты!

– *Правда?* О Господи! Так оно и было! Я помню! Мы, должно быть, сошли с ума! — Она вдруг звонко рассмеялась, и Лиза увидела жемчужно-ровные зубы, так хорошо ей знакомые.– Должна признать, что между нами было очень сильное сексуальное влечение. Конечно, я пыталась убедить себя в том, что влюблена навеки. Знаешь, как это у Пушкина: «В день свиданья / Под небом вечно голубым, / В тени олив, любви лобзанья / Мы вновь, мой друг, соединим», — ну, и все в таком духе. Нам, женщинам, всегда трудно признать, что сексуальное желание — это главное. Ты, наверное, сочла бы это более простительным, если бы у нас была бессмертная любовь; но, если честно, я не могу этого сказать.

— Нет, ты неверно меня поняла, — сказала Лиза.– Мне нечего прощать. Мне это кажется просто *интересным.* — Она снова взяла мать за руку. — В сущности, я могу это понять. Как это возбуждает — мчаться навстречу возлюбленному, зная, что он, такой же взволнованный, едет навстречу *тебе.* Я немало думала об этом.

— Да! — печально улыбаясь, согласилась мать.

— Соединить линии, пересекающие карту! Изнемогать от желания — быть не в силах ждать! И наслаждаться тем, что это — запретно.

Мать склонила голову.

— Да, и это тоже! Это великий грех.

— Что ж, даже если и так, важно только будущее, а не прошлое. Знаю, что это звучит банально, но это так.

Мать остановилась, обхватив голову руками, и содрогнулась.

— Огонь! Это было ужасно, ужасно!

Она еще долго дрожала. Потом опустила руки и сказала нетвердым голосом:

— Кажется, это было на вторую ночь. Мы не виделись три месяца и были полностью поглощены друг другом. Ты, наверное, знаешь, как это бывает, когда лежишь в постели с мужчиной и все твои чувства приглушены, чтобы оградить тебя от всего внешнего. Мы не слышали ни звуков, ни запахов. Потом, успокоившись, почуяли запах дыма и закашлялись. За дверью слышался рев. Франц пошел открыть ее, а снаружи оказался сущий ад.– Она извивалась, как будто снова попала в пламя, сама при этом напоминая огненный язык.

— Ну, это позади, — сказала Лиза, взяв мать за руку. Та мало-помалу пришла в себя.

— Так или иначе, — сказала Лиза, — я думаю, что там, где есть любовь, какой бы она ни была, есть надежда на спасение.– Она вспомнила о штыке, поблескивавшем над раздвинутыми бедрами, и быстро поправилась: — Там, где любовь в сердце.

— Нежность.

— Да, именно!

Они шли все дальше по берегу. Солнце опустилось ниже, и стало прохладнее. Ворон, паря над водой, возвращался обратно, и у Лизы по спине пробежала дрожь.

— Это Мертвое море? — спросила она.

— Вовсе нет! — сказала мать с серебристым смехом; она объяснила, что в озеро впадает река Иордан, которую, в свою очередь, питает ручей Шерит. — Поэтому, как видишь, вода здесь всегда чистая и свежая.

Дочь кивнула, испытывая огромное облегчение, и они пошли дальше.

Ветер, дувший с холмов, казался белым. Солнце садилось в пустыне, и его свет, пронизывая отдаленную песчаную бурю, собирался кругами, образуя подобие розы.

Прогулка вдоль озера привела их в небольшую деревушку, и они зашли в таверну перекусить. Обе почувствовали себя там чужими, вокруг были одни мужчины — рыбаки, судачившие за стаканом вина о дневном улове. Завсегдатаи вежливо не обращали внимания на незнакомок. Хозяин, учтиво приветствовавший их, трясся от старости. Когда их стаканы опустели, он, шаркая, подошел, чтобы вновь долить им вина. Горлышко отклонилось, когда стакан Лизы был полон на две трети, и она прикрыла его рукой, показывая, что больше не хочет. Но хозяин возобновил свое гостеприимное занятие, и вино полилось у женщины по руке, растекаясь оттуда по всему столу. Она не убирала руку, а хозяин продолжал лить. Лиза поблагодарила его с серьезным лицом, но когда он, шаркая, удалился с пустой бутылкой, обе они затряслись от беззвучного смеха. Мать Лизы ничего не могла с собой поделать, она прижимала руки к животу, извивалась на стуле, прикрывала лицо рукой, чтобы скрыть слезы, брызжущие из глаз, закусывала губу, показывала на мокрую руку Лизы — и ее одолевал новый приступ смеха. В таверне была телефонная будка. Лиза все еще задыхалась от веселья, когда вошла в нее и сняла трубку. Она попросила соединить ее с номером,

который дала ей мать. Когда отец ответил, все было так же, как в прежние времена:

— Как поживаешь, отец?

— Вполне благополучно. Как ты?

— О, у меня все прекрасно.

— В деньгах не нуждаешься?

— Нет, все в порядке.

— Что ж, дай мне знать в случае чего. Береги себя.

— Да. И ты тоже.

Но по крайней мере, она поговорила с ним, хоть и по плохой линии, а когда-нибудь они смогут даже побеседовать по-настоящему.

Когда Лиза вернулась в лагерь, на небе, усыпанном безмятежными звездами, сияла полная луна. Но в картине, открывшейся ее глазам, безмятежности не было. На территории лагеря и далеко за ее пределами, в пустыне, виднелись палатки — уже разбитые или разбиваемые. Они с обеих сторон тянулись до самого горизонта. Этой огромной работой руководили молодые офицеры. Лиза мельком увидела Ричарда Лайонза, его тонко очерченное лицо блестело в лунном свете от пота, а шрам казался синевато-багровым. Он носился то туда, то сюда, единственной здоровой рукой указывая помощникам, что делать, и его

жезл порхал, как у шамана. Увидев Лизу, он приказал сержанту продолжать и подошел к ней.

— А-а, р-роза Шар-рона! — сказал он, улыбаясь. Это было любовное прозвище, которым он повадился ее называть. Он объяснил, что за день прибыло более десятка эшелонов. С каждым днем их становилось все больше. Чем быстрее строились хижины, тем скорее они заполнялись людьми, и требовались новые. Но никого нельзя было отправить восвояси, и никого не отправят, потому что им больше некуда деваться. Заткнув за пояс свой жезл, он выудил из кармана пачку сигарет, раскрыл ее, вынул сигарету, вставил ее себе в рот, выудил коробок, достал из него спичку, чиркнул ею, прикурил, положил сигареты и спички обратно в карман, и все это — единственной ловкой рукой. Выдохнув дым сигареты, он вместе с нею стал смотреть на безмолвно-неистовую, залитую лунным светом картину.

— «В ночи шатры Израиля сияют!» — процитировал он.

Многие тысячи иммигрантов стояли в ожидании рядом со своими жалкими деревянными чемоданчиками, держа в руках перевязанные веревками узлы с тряпьем. Они выглядели не грустными — безучастными, не худыми — из-

можденными, не озлобленными — терпеливыми. Лиза вздохнула.

— Почему это так, Ричард? Ведь мы созданы для счастья, для наслаждения жизнью. Что случилось?

Он помотал головой с недоуменным видом и выдохнул клуб дыма.

— Мы созданы для счастья? Ну, старушка, ты неисправимая оптимистка!

Он затушил сигарету и вынул из-за пояса свой жезл.

— Нам отчаянно не хватает сиделок, — сказал он.– Ты можешь помочь?

Он указал жезлом в сторону медпункта. Поодаль все было усеяно санитарными носилками. Между ними сновали белые фигурки.

— Да, конечно! — сказала она. Она торопливо направилась в сторону медпункта, потом перешла на бег — и только в этот миг осознала, что на протяжении целого дня у нее не болели ни яичник, ни грудь.

Она уловила сосновый запах. Откуда ему здесь взяться?.. Он вселял непостижимую тревогу, но в то же время наполнял ее счастьем.

георгий яропольский. *постояльцы отеля «вечность».* (заметки на полях перевода)

Насколько очевидно для каждого здравомыслящего человека, что романы Дональда Майкла Томаса не могли быть переведены на русский язык, скажем, двадцать лет назад, — настолько же поражает и то обстоятельство, что первое знакомство широкого читателя с его творчеством состоится только сейчас.

Д. М. Томас — очень необычный писатель. «Белый отель», третий его роман, практически мгновенно стал международным бестселлером. Совершенно обманчива прозрачность его языка. Тонкий стилист, он создает произведения, как сам выражается, *импровизационные.* Сейчас, когда человечество накопило громадный духовный опыт, писатель не может быть одинок в своем творчестве. Соавторами Д. М. Томаса выступают такие фигуры, как З. Фрейд (в «Белом отеле»), А. С. Пушкин, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, Г. Р. Хаггард и многие, многие другие (это уже в серии романов «Квинтет русских ночей», которая сейчас пере-

водится и о которой мы непременно поговорим позже).

Линии романа, даже, скорее, плоскости его, странным, но гармоничным образом пересекаются друг с другом, образуя сложную систему зеркал, и пресловутая прозрачность, о которой я говорил выше, оказывается не более чем фикцией. Д. М. Томаса, как сам он указывает в предисловии к «Ласточке» — второму роману из «Квинтета...», интересует тот «таинственный способ, с помощью которого один образ порождает другой, связанный с исходным, но самостоятельный».

Могут спросить: к чему все эти переклички, эти зеркала? Что они могут дать, кроме замысловатых калейдоскопических узоров? Ответ прост: мир, по мысли Д. М. Томаса, может обрести гармонию отнюдь не с помощью границ, не путем разведения высокого и низкого, но лишь путем сведения всего в некое единое целое. Недаром в биографии Солженицына «Век в его жизни» (1998) Томас часто цитирует «Починку стены» Р. Фроста: «Есть что-то, что не любит ограждений, / Что осыпью под ними землю пучит / И сверху осыпает валуны» (перевод М. Зенкевича).

А что до зеркал, то приходит на ум и такая метафора: что есть перископ, как не система зер-

кал, повернутых друг к другу под определенным углом? А ведь именно так можно прорваться за пределы видимого... Но, видимо, пришла уже пора поговорить конкретно о «Белом отеле».

* * *

Мое первое впечатление от «белого отеля» — именно так, со строчной буквы: не от всего романа в целом, а только от первых двух его частей, представляющих собой сочинения героини, оперной певицы Лизы Морозовой, страдающей от жестокого невроза и лечащейся у Зигмунда Фрейда, — полностью совпадает с тем, что высказано в одном из писем «Пролога» («Ее фантазия поразила меня так же, как Рай до грехопадения, — не потому, что там не было любви и смерти, а потому, что не было *времени,* в котором они могли бы обрести смысл»), а также в третьей части, написанной в виде статьи, якобы вышедшей из-под пера самого основателя психоанализа («Все, кто до сих пор имел возможность в познавательных целях прочесть дневник фрау Анны, испытывали именно это чувство: „белый отель“ им знаком... Это место, где нет греха, лишенное нашего бремени раскаяния»).

Идея остановленного времени — пожалуй, одна

из наиболее характерных художественных идей XX века, когда — кто бы что ни говорил — атеизм (в той или иной мере научный) или обыденное безверие (не нуждающееся ни в каком научном обосновании) охватили значительную часть человечества, отняв у него надежду на бессмертие (в этом смысле достаточно показателен имеющийся в романе эпизод со Святой Плащаницей: увидев запечатленный на ней образ Христа, Лиза перестает верить в Его Воскресение: «Человек, на которого я смотрела, мертв. Так выглядят засушенные цветы»). Тем насущнее становится некое объединяющее, синтезирующее начало, без которого жизнь каждого индивида оказывается лишенной какого-либо смысла. Может быть, поэтому, взамен религиозного представления о бессмертной душе и загробной жизни, возникло (или еще только возникает) представление о некоем вневременном существовании, вообразить которое пока так же трудно, как физически ощутить реальность постулатов Эйнштейна. Так или иначе, но именно в нашем веке понятие времени стало одним из основных объектов не только научных, но и художественных исследований. Вырабатывается новое восприятие времени — не биологическое, но духовное; создается сво-

его рода машина времени, способная совместить любые временные точки «со скоростью мысли». Антология, составленная из произведений, в какой-то мере связанных с идеей уплотненного времени, заняла бы не один том. Это новое ощущение приближается к религиозному ощущению вечности — за исключением того, что религиозный компонент становится для него необязательным. Таким образом человечество заново обретает вечность — мир с остановленным временем, где все, что произошло, происходит или готовится произойти, присутствует в едином и неразрывном пространстве. Ощущение не то чтобы «уже виденного», а, скорее, «уже думанного» не покидало меня все месяцы работы над переводом «Белого отеля»: я действительно думал об этом раньше.

Время сжато. Оно
неподвижно. И спорить – предвзято.
Для меня все равно,
что вчера, что сегодня, что завтра.

Ничего не ушло.
Все, что есть, миновало, оставшись.
А грядущее зло —

и для нас ощутимая тяжесть...

Героиня романа наделена как раз такой способностью ощущать грядущую боль и грядущее зло: врачи — и сам великий Фрейд в их числе — не могут найти «физический субстрат» болей, терзающих ее в левой груди и в тазовой области, — а это не что иное, как фантомные боли «наоборот»: Лиза Морозова, точнее, тело ее предчувствует удары подкованного эсэсовского сапога за два десятка лет до того, как они будут нанесены!

(Здесь просто невозможно не процитировать несколько фраз из подлинного Фрейда: «Кантовское положение, что время и пространство суть необходимые формы нашего мышления, в настоящее время может быть подвергнуто дискуссии. ...Бессознательные душевные процессы сами по себе находятся „вне времени“. Это, прежде всего, означает то, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не изменяет, что представление о времени нельзя применить к ним... Я знаю, что эти утверждения звучат весьма туманно, но должен ограничиться лишь такими намеками».)

И все фантазии Лизы, все мучительные галлюцинации — и падение в пропасть, и гибель людей в охваченном пожаром отеле, и заживо

погребенная похоронная процессия, и смерть от наводнения — все находит свое воплощение в самой фантасмагоричной, самой невероятной сцене романа, изображающей массовое убийство евреев в Бабьем Яру. «Трупы захоронили, сожгли, утопили и погребли вновь под бетоном и сталью...»

* * *

Сквозной для романа образ поезда — образ, трактуемый Фрейдом как знамение смерти, — не может не вызвать в памяти скорбную фигурку мальчика из другого романа — мальчика, которого «забыли на платформе родители» и который «вдруг заметил странную вещь: поезд сошел с путей и начал подниматься вверх, в дымно-серое небо». Речь идет о трилогии израильского писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля: герой его «Ночи», «Рассвета» и «Дня» — это человек, для которого слова Ницше «Бог умер» — самая доподлинная реальность, ощущенная им в нацистском концлагере; это человек без прошлого и без будущего, а значит — и без настоящего; это человек, выброшенный из вечности.

Ассоциация эта кажется мне тем более уместной, что и в «Белом отеле» все, как в воронке,

сходится именно в ужасе Бабьего Яра, в фантасмагории уничтожения евреев как нации. Позволю себе привести основательную — и весьма характерную — цитату из Эли Визеля, курсивом выделяя ключевые для нашей мысли понятия: «Чтобы измениться, необходимо изменить *прошлое.* А это нам не по силам. У *прошлого* жесткое, неподатливое устройство... Все перевернулось. Счастья нет даже в мечтах. Оно тоже умерло. Оно тоже там, в небе. Все укрылось в небе. И какая же *пустота* здесь, на земле! Но это и есть *подлинная жизнь.* Здесь нет ничего. Здесь бесплодная пустыня. Пустыня, где нет даже миражей. Это железнодорожная станция, где оставшийся на платформе ребенок видит, как его родителей уносит поезд. А на их месте остается черный паровозный дым. Дым — это и есть они. Счастье? Ребенок был бы счастлив, если бы поезд повернул назад. Но ведь поезда — известное дело! — всегда идут вперед. Один только дым возвращается назад. Да, это страшная станция! Наши предки уносят с собой в иной мир... *будущее* своих потомков. На земле не осталось ничего... планета опустошена... гигантский поезд унес все на небо».

Насколько же разные поезда уносят героев Ви-

зеля и героиню Томаса, которая даже после своей гибели утверждает, что мы рождены для счастья! Здесь, во избежание путаницы, необходимо четко определить два — полярно противоположных — понятия «вневременья»: первое — когда настоящее отсечено и от прошлого, и от будущего, а следовательно, не существует вообще, и второе — когда время ощущается как непрерывное целое, как некий сгусток бесконечной протяженности.

Франсуа Мориак в предисловии к первой части трилогии Эли Визеля размышляет: «А я, верующий в то, что Бог есть любовь, — что я мог ответить своему молодому собеседнику?.. Говорил ли я ему о том израильтянине, его брате, который, быть может, был на него похож, о том Распятом, чей Крест покорил мир? Сказал ли я ему, что то, что оказалось камнем преткновения для него, стало краеугольным камнем моей веры?.. Все благодать. Если Вечный — и в самом деле Вечный, то последнее слово для каждого из нас остается за Ним. Вот что я должен был сказать этому еврейскому мальчику. Но я смог лишь обнять его в слезах».

Итак, Мориак не сказал ничего. Что ж, может быть, в какой-то мере ответом этому «еврейскому мальчику» послужит роман «Белый отель», где

вечность жива, даже если нет Иисуса.

* * *

Вообще говоря, уже первая часть романа, «Дон Жуан», прочитанная не как «неуклюжие вирши, порнографические и лишенные всякого смысла», но как произведение, которое «могло бы научить нас очень многому, если бы мы только были в состоянии все в нем правильно истолковать», содержит все основные идеи «Белого отеля» — да и не только «Белого отеля»; кажется, все наше столетие со всеми его катаклизмами, кошмарами, жертвами, похотью и любовью вместилось в этот «документ» — так в русских сказках скатывают целое царство в яичко.

Все остальное — как концентрические круги (или витки спирали), помогающие именно правильному истолкованию центра. В этом смысле роман оказывается удивительно цельным — наподобие описанного в нем неба, превратившегося на закате в розу, которая «была совершенно неподвижной, но все же казалось, что она по спирали ввинчивается внутрь себя». Первые две части романа, фантасмагорические и проникнутые сновидческой логикой, — точнее, видимым отсутствием логики как таковой — только внешне

разнятся от прозрачной повествовательное остальных частей; внимательный читатель не сможет не заметить точек соприкосновения, повторяющихся эпизодов, сквозных мотивов: уже упомянутый поезд, отель в горах, звездное небо... Реальность нет-нет да и подернется рябью галлюцинации — или томительным ощущением *deja vu.* Даже названия «объективных» частей романа повторяют ключевые моменты исходной фантазии Лизы Морозовой: «Санаторий», «Спальный вагон», «Лагерь». При всем этом роман, создающий вневременное пространство, с самого начала предельно привязан к историческому контексту эпохи: беспорядки в Одессе, петербургские анархисты, нетопленая и голодная Вена, предчувствие грядущей всемирной катастрофы, оккупированный Киев, ужас Бабьего Яра — весь хаос, вся пена XX века обозначены четко и зримо.

В столкновении временной конкретики и ощущения вечности и рождается философский заряд «Белого отеля», который в этом плане представляет собой попытку ответа на извечный вопрос, прямо поставленный Лизой Морозовой в письме Фрейду: «Жизнь — это добро или зло?» Символическим выражением этого вопроса в романе стала

сцена, изображающая сестер-близнецов, у одной из которых было искаженное мукой, испуганное выражение лица, а у другой — умиротворенное и улыбающееся. В то же время «гримаса была полна радости, а улыбка — печали». Медуза, отраженная как Церера; совокупление добра и зла для сотворения мира; битва Эроса и Танатоса — казалось бы, Томас остается верен фрейдовской диалектике, однако на самом деле ответ его в итоге звучит, на мой взгляд, достаточно однозначно и романтично: «там, где есть любовь, есть надежда на спасение».

К этому выводу Томас приходит путем «доказательства от противного»: уже эпиграф из Йейтса взят им как постулат, требующий опровержения. «Сердце вскормлено хлебом фантазий», — говорит Йейтс, но правильнее было бы сказать: «иллюзий». Вкус насилия притягательнее «пресной любви» лишь в том случае, если на веру принята иллюзия — возможности ли насильственно осчастливить человечество, национального ли превосходства или необходимости установления «нового порядка». Эти иллюзии, воспринятые обществом, в свою очередь, порождают новую иллюзию — или, по выражению Томаса, «миф» — инстинкт смерти, свойственный отдельному

человеку и всему человечеству. Ведь, согласно сюжету романа, именно случай Лизы Морозовой заставляет Фрейда вернуться к мыслям своей тогда еще не оконченной работы «По ту сторону принципа удовольствия», в которой он впервые сформулировал выводы об этом инстинкте. Однако развитие сюжета неумолимо приводит к опровержению умозрительных построений Фрейда. Лиза, страдающая разрушительными галлюцинациями и, казалось бы, безукоризненно воплощающая идеи Фрейда, на самом деле не испытывает никакой тяги к гибели — напротив, обладая способностью воспринимать то, что мы условимся называть «внебиологическим временем», а попросту говоря, даром предвидения, она безмерно страшится того, что, как она подсознательно знает, с нею произойдет. Отсюда и проистекают ее боли и галлюцинации, точно так же, как нежелание иметь детей обусловлено предчувствием несчастий, которые их ожидают.

Намеренно или нет, но Томас сталкивает свою идею с ее наиболее явным и аргументированным опровержением, и она, согласно художественной логике романа, выходит победительницей.

* * *

Получилось так, что, взявшись за перевод «Белого отеля», я оказался в том же положении, что и большинство тех, кто впервые прочтет его по-русски: имя Д. М. Томаса было мне совершенно незнакомо. И вот, по иронии судьбы, уже закончив работу, в «Иностранной литературе» (1990, № 9) наткнулся на статью Е. Клепиковой «Плагиат: преступление без наказания». В этой статье Д. М. Томас характеризуется как изощренный плагиатор — на том основании, что в пятой части «Белого отеля» для воссоздания атмосферы оккупированного гитлеровцами Киева и расстрела евреев в Бабьем Яру он опирался на материалы «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова. Как ни парадоксально это звучит, но особое возмущение у Клепиковой вызвал тот факт, что автор не только не скрывает использования этих материалов, но и выражает признательность за таковое использование... Не будем сейчас вдаваться в дискуссию о природе плагиата, о допустимых пределах «заимствований» из чужих текстов; напомним лишь слова Эйзенштейна, говорившего о том, что художественный смысл порождают не только кадры фильма как таковые, но и последователь-

ность их стыковки между собой (и кстати, раз уж речь зашла о кадрах: во многих художественных картинах широко используется кинохроника — почему же это еще не привлекло внимания ловцов «плагиаторов»?!). В романе «Арарат» сам Д. М. Томас устами своего героя говорит совершенно недвусмысленно: «Просто-напросто все искусство представляет собой сотворчество, перевод, если угодно. Но плагиат — это совсем другое».

Произведение искусства рассматривается как нечто «отдельно взятое», и цельность его определяется тем, объединены ли все его компоненты внутренней художественной логикой, если не сказать — гармонией. В какой мере это относится к роману «Белый отель», мы уже говорили выше.

* * *

Очень важно правильно понять значение последней части романа, изображающей некое запредельное бытие, в котором, однако, много примет того, что уже знакомо по гастайнскому дневнику: поезд, остановившийся на затерянном в пустыне полустанке, черная кошка, чудом отыскавшая хозяев... Здесь Лиза встречает погибшую при пожаре мать, говорит по телефону с умершим отцом; это место вне времени — и

необходимость его изображения продиктована всем предыдущим развитием внутреннего («подводного») сюжета романа. Круг замыкается; именно в этой части происходит синтез между тезой («любовь Божия... простирается сплошным целым, без стыков и швов, пронизывая все, что Он создал») и антитезой (все катастрофы, преступления, гекатомбы XX века, так или иначе затронутые в романе). Это как бы квинтэссенция тех мыслей и образов, которые во множестве разбросаны по тексту «Белого отеля», тем или иным образом касаясь понятия непрерывного, единого времени.

Необходимо отметить еще одну деталь, возможно, спорную. В «Прологе» говорится о том, что где-то на севере Германии были найдены останки доисторических людей, то ли утонувших, то ли захороненных в торфяных болотах и сохранившихся благодаря содержавшейся там гуминовой кислоте. Эпизод, казалось бы, совершенно необязательный, однако он обретает совершенно новый смысл, когда речь заходит о посмертной судьбе жертв Бабьего Яра: «Устье оврага перегородили дамбой и закачали туда насосами воду и грязь из соседних карьеров, создав зеленое, стоячее и зловонное озеро. Дам-

бу прорвало, огромную часть Киева затопило грязью. Застывших в предсмертных позах, как в Помпее, людей продолжали выкапывать и двумя годами позже». Еще один круг замыкается; идея «закольцованного» времени получает еще одно воплощение.

* * *

Итак, «Белый отель», на мой взгляд, представляет собой попытку вернуть человечеству бессмертие — не наивно-религиозное, но духовное, основанное на осознании личностью своего присутствия не только и не столько в локальном, замкнутом времени, сколько во времени общечеловеческом, более того — бесконечно уходящем и в прошлое, и в будущее. Вне такого восприятия времени существование человека зыбко и призрачно, обретая же его... Впрочем, дадим слово автору:

«Когда она стояла рядом с сосной, вдыхая ее резкий, горьковатый запах, между ней и детством оказалось открытое пространство, словно налетевшим с моря ветром разогнало туман. Это была не память о прошлом, но само прошлое, живое и реальное; она чувствовала, что ребенок, живший сорок лет назад, и она сегодняшняя — одна и та

же личность. Это знание наполняло ее счастьем. Но сразу же последовало еще одно озарение, принесшее с собой почти невыносимую радость. Ибо, глядя назад, в детство, она нигде не видела глухой стены — только бесконечное, уходящее вдаль пространство, на всем протяжении которого она оставалась самой собой, Лизой. Она видела себя даже в самом начале всего сущего. Когда же она взглянула в противоположном направлении, в неведомое будущее, в сторону смерти и бесконечного пространства после нее, то все равно различила там себя».

Кто знает, может быть, «шестое чувство», о котором с тоской писал Гумилев, и есть не что иное, как это вновь обретаемое ощущение вечности?

Так век от века. Скоро ли, Господь?
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

ПРИЛОЖЕНИЕ. зигмунд фрейд. *по ту сторону принципа удовольствия*–*

*** notes: 50**

* Перевод под редакцией Е. Е. Соколовой.

I

В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия (Lustprinzip), возбуждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с устранением неудовольствия (Unlust) или получением удовольствия (Lust). Рассматривая изучаемые нами психические процессы в связи с таким характером их протекания, мы вводим тем самым в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы полагаем, что теория, которая кроме топического и динамического момента учитывает еще и экономический, является самой совершенной, какую только мы можем себе представить в настоящее время, и заслуживает названия метапсихологической.

При этом для нас совершенно не важно, насколько с введением «принципа удовольствия» мы приблизились или присоединились к какой-либо определенной, исторически обоснованной

философской системе. К таким спекулятивным положениям мы приходим путем описания и учета фактов, встречающихся в нашей области в каждодневных наблюдениях. Приоритет и оригинальность не является целью психоаналитической работы, и явления, которые привели к установлению этого принципа, настолько очевидны, что почти невозможно проглядеть их. Напротив, мы были бы очень признательны той философской или психологической теории, которая могла бы нам пояснить, каково значение того императивного характера, какой имеет для нас чувство удовольствия или неудовольствия.

К сожалению, нам не предлагают ничего приемлемого в этом смысле. Это самая темная и недоступная область психической жизни, и если для нас никак невозможно обойти ее совсем, то, по моему мнению, самое свободное предположение будет и самым лучшим. Мы решились поставить удовольствие и неудовольствие в зависимость от количества имеющегося в душевной жизни и не связанного как-либо возбуждения таким образом, что неудовольствие соответствует повышению, а удовольствие — понижению этого количества. При этом мы не думаем о простом отношении между силой этих чувств и теми

количественными изменениями, которыми они вызваны; менее же всего, согласно со всеми данными психофизиологии, можно предполагать здесь прямую пропорциональность; возможно, что решающим моментом для чувства является большая или меньшая длительность этих изменений. Возможно, что эксперимент нашел бы себе доступ в эту область; для нас, аналитиков, трудно посоветовать дальнейшее углубление в эту проблему, поскольку здесь нами не будут руководить совершенно точные наблюдения.

Для нас, однако, не может быть безразличным то, что такой глубокий исследователь, как Т. Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в существенном совпадающую с той, к которой приводит нас психоаналитическая работа. Положение Фехнера, высказанное в его небольшой статье «Einige Ideen zur Schopfunds– und Entwicklungsgeschichte der Organismen», 1873, Abschn. 9, Zusatz, S. 94, гласит следующее: «Поскольку определенные стремления всегда находятся в связи с удовольствием или неудовольствием, можно также удовольствие и неудовольствие мыслить в психофизической связи с условиями устойчивости и неустойчивости, и это позволяет обосновать развитую мной в другом

месте гипотезу, что всякое психофизическое движение, переходящее за порог сознания, связано до известной степени с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной устойчивости, и — с неудовольствием, когда, также переходя известный предел, оно отдаляется от этого; между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, в определенных границах лежит известная область чувственной индифферентности...»

Факты, побудившие нас признать господство принципа удовольствия в психической жизни, находят свое выражение также в предположении, что психический аппарат обладает тенденцией удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низком или, по меньшей мере, постоянном уровне. Это то же самое, лишь выраженное иначе, так как если работа психического аппарата направлена к тому, чтобы удерживать количество возбуждения на низком уровне, то все, что содействует нарастанию напряжения, должно быть рассматриваемо как нарушающее нормальные функции организма, т. е. как неудовольствие. Принцип удовольствия выводится из принципа констант-

ности (Konstanzprinzip). В действительности к принципу константности приводят нас те же факты, которые заставляют нас признать принцип удовольствия. При подробном рассмотрении мы найдем также, что эта предполагаемая нами тенденция душевного аппарата подчиняется, в качестве частного случая, указанной Фехнером *тенденции к устойчивости,* с которой он поставил в связь ощущение удовольствия и неудовольствия.

Мы должны, однако, сказать, что, собственно, неправильно говорить о том, что принцип удовольствия управляет течением психических процессов. Если бы это было так, то подавляющее большинство наших психических процессов должно было бы сопровождаться удовольствием или вести к удовольствию, в то время как весь наш обычный опыт резко противоречит этому. Следовательно, дело может обстоять лишь так, что в душе имеется сильная тенденция к господству принципа удовольствия, которой, однако, противостоят различные другие силы или условия, и, таким образом, конечный исход не всегда будет соответствовать принципу удовольствия. Ср. примечание Фехнера при подобном же рассуждении (там же, с. 90): «Причем, однако,

стремление к цели еще не означает достижения этой цели, и вообще цель достижима только в приближении...» Если мы теперь обратимся к вопросу, какие обстоятельства могут затруднить осуществление принципа удовольствия, то мы снова вступим на твердую и известную почву и можем в широкой мере использовать наш аналитический опыт.

Первый закономерный случай такого торможения принципа удовольствия нам известен. Мы знаем, что принцип удовольствия присущ первичному способу работы психического аппарата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным.

Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется *«принципом реальности»,* который, не оставляя конечной цели — достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию. Принцип удовольствия остается еще долгое время господствовать в сфере трудно «воспитываемых» сексуальных влечений, и часто бывает так, что он в сфере этих влечений,

или же в самом *Я,* берет верх над принципом реальности даже во вред всему организму.

Между тем несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объясняет нам лишь незначительную и притом не самую главную часть опыта, связанного с неудовольствием. Другой, не менее закономерный, источник неудовольствия заключается в конфликтах и расщеплениях психического аппарата, в то время как *Я* развивается до более сложных форм организации. Почти вся энергия, заполняющая этот аппарат, возникает из наличествующих в нем влечений, но не все эти влечения допускаются до одинаковых фаз развития. Вместе с тем постоянно случается так, что отдельные влечения или их компоненты оказываются несовместными с другими в своих целях или требованиях и не могут объединиться во всеохватывающее единство нашего *Я.* Благодаря процессу вытеснения они откалываются от этого единства, задерживаются на низших ступенях психического развития, и для них отнимается на ближайшее время возможность удовлетворения. Если им удается, что легко случается с вытесненными сексуальными влечениями, окольным путем достичь прямого удовлетворения или

замещения его, то этот успех, который вообще мог бы быть удовольствием, ощущается #как неудовольствие. Вследствие старого вытеснения конфликта принцип удовольствия испытывает новый прорыв как раз тогда, когда известные влечения были близки к получению, согласно тому же принципу, нового удовольствия. Детали этого процесса, посредством которого вытеснение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, еще недостаточно поняты или не могут быть ясно описаны, но бесспорно, что всякое невротическое неудовольствие есть подобного рода удовольствие, которое не может быть воспринято как таковое[51].

Оба отмеченных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают полностью всего многообразия наших неприятных переживаний, но об остальной их части можно, по-видимому, утверждать с полным правом, что ее существование не противоречит господству принципа удовольствия. Ведь чаще всего нам приходится ощущать неудовольствие от восприятия (Wahrnehmungsunlust), будь то восприятие напряжения от неудовлетворенных влечений или

51 notes: 51

* Существенным является то, что удовольствие и неудовольствие связаны как сознательные ощущения с Я.

внешнее восприятие, все равно, является ли оно мучительным само по себе или же возбуждает в психическом аппарате неприятные ожидания, признаваемые им в качестве «опасности». Реакция на требования этих влечений и сигналы опасности, в которых, собственно, и выражается деятельность психического аппарата, может быть должным образом направляема принципом удовольствия или видоизменяющим его принципом реальности. Это как будто бы не заставляет признать дальнейшее ограничение принципа удовольствия, и как раз исследование психической реакции на внешние опасности может дать новый материал и новую постановку обсуждаемой здесь проблемы.

II

Уже давно описано то состояние, которое носит название «травматического невроза» и наступает после тяжелых механических потрясений, таких, как столкновение поездов и другие несчастья, связанные с опасностью для жизни. Ужасная, только недавно пережитая война подала повод к возникновению большого количества таких заболеваний и положила конец попыткам сводить это заболевание к органическому поражению нервной системы вследствие влияния механического воздействия[52]. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее сильно выраженными признаками субъективных страданий, близких к ипохондрии или меланхолии, и симптомами широко разлитой общей слабости и нарушения психических функций. Полного понимания как военных неврозов, так и травма-

52 notes: 52

* Ср. «Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen» с докладами Ференци, Абрахама, Зиммеля, Э. Джонса (Internationale Psycho-analytische Bibliothek, 1919, Bd. 1).

тических неврозов мирного времени мы еще не достигли. В военных неврозах проясняет дело, но вместе с тем и запутывает то, что та же картина болезни иногда возникала и без участия грубого механического повреждения. В обыкновенном травматическом неврозе привлекают внимание две основные возможности: первая — когда главным этиологическим условием является момент внезапного испуга, и вторая — когда одновременно перенесенное ранение или повреждение препятствовало возникновению невроза.

Испуг (Schreck), страх (Angst), боязнь (Furcht) неправильно употребляются как синонимы. В их отношении к опасности их легко разграничить. Страх означает определенное состояние ожидания опасности и приготовление к последней, если она даже и неизвестна; боязнь предполагает определенный объект, которого боятся; испуг имеет в виду состояние, возникающее при опасности, когда субъект оказывается к ней не подготовлен, он подчеркивает момент неожиданности. Я не думаю, что страх может вызвать травматический невроз; в страхе есть что-то, что защищает от испуга и, следовательно, защищает и от невроза, вызываемого испугом. К этому положению мы впоследствии еще вернемся.

Изучение сновидения мы должны рассматривать как самый надежный путь к исследованию глубинных психических процессов. Состояние больного травматическим неврозом во время сна носит тот интересный характер, что он постоянно возвращает больного в ситуацию катастрофы, поведшей к его заболеванию, и больной просыпается с новым испугом. К сожалению, этому слишком мало удивляются. Обычно думают, что это только доказательство силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, если это впечатление не оставляет больного даже во сне. Больной, если можно так выразиться, фиксирован психически на этой травме. Такого рода фиксация на переживаниях, вызвавших болезнь, давно уже нам известна при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году выставили такое положение: истерики по большей части страдают от воспоминаний. И при так называемых «военных неврозах» исследователи, как, например, Ференци и Зиммель, объясняют некоторые моторные симптомы как следствие фиксации на моменте травмы.

Однако мне не известно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрствующем состоянии уделяли много времени воспоминаниям

о постигшем их несчастном случае. Возможно, что они скорей стараются вовсе о нем не думать. Принимая как само собой разумеющееся, что сон снова возвращает их в обстановку, вызвавшую их болезнь, они обычно не считаются с природой сна. Природе сна больше отвечало бы, если бы сон рисовал больному сцены из того времени, когда он был здоров, или картины ожидаемого выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны травматических невротиков ввели нас в заблуждение относительно тенденции сновидения исполнять желание, нам остается заключить, что в этом состоянии функция сна так же нарушена и отклонена от своих целей, как и многое другое, или мы должны были бы подумать о загадочных мазохистских тенденциях *Я.*

Я предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к изучению работы психического аппарата в его наиболее ранних нормальных формах деятельности. Я имею в виду игру детей.

Различные теории детской игры лишь недавно сопоставлены и оценены с аналитической точки зрения З. Пфейфером в «Imago» (V, H. 4). Я могу здесь лишь сослаться на эту работу. Эти теории пытаются разгадать мотивы игры детей, не вы-

ставляя на первый план экономическую точку зрения, т. е. учитывая получение удовольствия. Не имея в виду охватить все многообразия проявлений игры, я использовал представившийся мне случай разъяснить первую самостоятельно созданную игру полуторагодовалого ребенка. Это было больше чем мимолетное наблюдение, так как я жил в течение нескольких недель под одной крышей с этим ребенком и его родителями и наблюдение мое продолжалось довольно долго, пока это загадочное и постоянно повторяемое действие не раскрыло передо мной свой смысл.

Ребенок был не слишком продвинувшимся вперед в своем интеллектуальном развитии, он говорил в свои полтора года только несколько понятных слов и произносил, кроме того, много полных значения звуков, которые были понятны окружающим. Он хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его хвалили за его «приличный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблюдал запрещение трогать некоторые вещи и ходить куда нельзя, и, прежде всего, он никогда не плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посто-

ронней помощи ухаживала за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу. При этом он произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное «о-о-о-о!», которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, но означало «прочь» (fort). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. Однажды я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, т. е. пытаться играть с ней как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, через сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное «о-о-о-о!», вытаскивая затем катушку за нитку, снова из кровати, и встречал ее появление радостным «тут» (da). Это была законченная игра, исчезновение и появле-

ние, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом[53].

Толкование игры не представляло уже труда. Это находилось в связи с большой культурной работой ребенка над самим собой, с ограничением своих влечений (отказом от их удовлетворения), сказавшемся в том, что ребенок не сопротивлялся больше уходу матери. Он возмещал себе этот отказ тем, что посредством бывших в его распоряжении предметов сам представлял такое исчезновение и появление как бы на сцене. Для аффективной оценки этой игры безразлично, конечно, сам ли ребенок изобрел ее или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес должен остановиться на другом пункте. Уход матери не может быть для ребенка приятным или хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом

53 notes: 53

* Это толкование было потом вполне подтверждено дальнейшим наблюдением. Когда однажды мать отсутствовала несколько часов, она была по своем возвращении встречена известием «Беби о-о-о», которое вначале осталось непонятным. Скоро обнаружилось, что ребенок во время этого долгого одиночества нашел для себя средство исчезать. Он открыл свое изображение в стоячем зеркале, спускавшемся почти до полу, и затем приседал на корточки, так что изображение в зеркале уходило «прочь».

удовольствия то, что это мучительное переживание ребенок повторяет в виде игры? Может быть, на это ответят, что этот уход должен сыграть роль залога радостного возвращения, собственной целью игры и является это последнее. Этому противоречило бы наблюдение, которое показывало, что первый акт, уход как таковой, был инсценирован ради самого себя, для игры, и даже гораздо чаще, чем вся игра в целом, доведенная до приятного конца.

Анализ такого единичного случая не дает точного разрешения вопроса. При беспристрастном размышлении возникает впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры из других мотивов. Он был до этого пассивен, был поражен переживанием и ставит теперь себя в активную роль, повторяя это же переживание, несмотря на то, что оно причиняет неудовольствие, в качестве игры. Это побуждение можно было бы приписать стремлению к овладению (Bemachtigungstrieb), независимому от того, приятно ли воспоминание само по себе или нет. Но можно попытаться дать и другое толкование. Отбрасывание предмета, так что он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мщения матери за то, что она

ушла от ребенка, и может иметь значение упрямого непослушания: «да, иди прочь, мне тебя не надо, я сам тебя отсылаю».

Этот же самый ребенок, которого я наблюдал в возрасте 1 1/, года, при его первой игре, имел обыкновение годом позже бросать об пол игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» («Gen in K(r)ieg!»). Ему тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он вовсе не чувствовал отсутствия отца, но обнаруживал ясные признаки того, что не желал бы, чтобы кто-нибудь мешал ему одному обладать матерью[54]. Мы знаем и о других детях, которые пытаются выразить подобные свои враждебные побуждения, отбрасывая предметы вместо лиц[55]. Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать какое-либо сильное впечатление, полностью овладеть им, выявиться как нечто первичное и независимое от принципа удовольствия. В обсуждаемом

---

54 notes: 54

* Когда ребенку было 53/4 года, умерла мать. Теперь, когда она действительно ушла «прочь» (о-о-о), мальчик не выказывал печали. Но незадолго перед этим родился другой ребенок, который возбудил в нем сильнейшую ревность.

55 notes: 55

* Ср. воспоминание из детства из Dichtung und Wahrhait // Imago, Bd. V, H. 4; Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, IV Folge.

здесь случае ребенок мог только потому повторять в игре неприятное впечатление, что с этим повторением было связано другое, но прямое удовольствие.

Также и дальнейшее наблюдение детской игры не разрешает нашего колебания между двумя возможными толкованиями. Часто можно видеть, что дети повторяют в игре то, что в жизни производит на них большое впечатление, что они могут при этом отрегулировать силу впечатления и, так сказать, сделаться господами положения. Но с другой стороны, достаточно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в их возрасте, — стать взрослыми и делать так, как это делают взрослые. Можно наблюдать также, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным в качестве предмета игры. Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это страшное происшествие, наверно, станет предметом ближайшей игры, но здесь нельзя не заметить, что получаемое при этом удовольствие проистекает из другого источника. В то время как ребенок переходит от пассивности переживания к активности игры, он переносит это неприятное, которое ему самому пришлось

пережить, на товарища по игре и мстит таким образом тому, кого этот последний замещает.

Из этого, во всяком случае, вытекает, что излишне предполагать особое влечение к подражанию в качестве мотива для игры. Напомним еще, что артистическая игра и подражание взрослым, которое, в отличие от поведения ребенка, рассчитано на зрителей, доставляет им, как, например, в трагедии, самые болезненные впечатления и все же может восприниматься ими как высшее наслаждение. Мы приходим, таким образом, к убеждению, что и при господстве принципа удовольствия есть средства и пути к тому, чтобы само по себе неприятное сделать предметом воспоминания и психической обработки. Пусть этими случаями и ситуациями, разрешающимися в конечном счете в удовольствие, займется построенная на экономическом принципе эстетика; для наших целей они ничего не дают, так как они предполагают существование и господство принципа удовольствия и не обнаруживают действия тенденций, находящихся по ту сторону принципа удовольствия, т. е. таких, которые первично выступали бы как таковые и были бы независимы от него.

III

Двадцать лет интенсивной работы привели к тому, что непосредственные задачи психоаналитической техники в настоящее время совсем другие, чем были вначале. Вначале анализирующий врач не мог стремиться ни к чему другому, как к тому, чтобы разгадать у больного скрытое бессознательное, привести его в связный вид и в подходящую минуту сообщить ему. Психоанализ прежде всего был искусством толкования. Так как терапевтическая задача этим не была решена, вскоре выступило новое стремление — понудить больного подтвердить построение психоаналитика посредством собственного воспоминания. При этом главное внимание уделялось сопротивлению больного: искусство теперь заключалось в том, чтобы возможно скорее вскрыть его, указать на него больному и посредством дружеского воздействия побудить оставить сопротивление (здесь остается место для внушения, действующего как перенесение).

Постепенно становилось все яснее, что скрытая цель сделать сознательным бессознательное и на этом пути оставалась не вполне достижимой.

Больной может вспомнить не все вытесненное; больше того, он не может вспомнить как раз самого главного и не может убедиться в правильности сообщенного ему. Он скорее вынужден *повторить* вытесненное в виде новых переживаний, чем *вспомнить* это как часть прошлых переживаний, как хотел бы врач[56]. Это воспроизведение (Reproduktion), выступающее со столь неожиданной точностью и верностью, имеет всегда своим содержанием часть инфантильной сексуальной жизни, Эдипова комплекса или его модификаций и закономерно отражается в области перенесения, т. е. на отношениях к врачу. Если при лечении дело зашло так далеко, то можно сказать, что прежний невроз лишь заменен новым — неврозом перенесения. Врач старался возможно глубже проникнуть в воспоминания и возможно меньше допустить к повторению. Отношение, устанавливающееся между воспоминаниями и воспроизведениями, для каждого случая бывает различным. Врач, как правило, не может миновать эту фазу лечения. Он должен заставить больного снова пережить

56 notes: 56

* См.: Zur Technik der Psychoanalyse, Errinern, Wiederholen und Durcharbeiten // Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, IVFolge, S. 441, 1918.

часть забытой жизни и должен следить за тем, чтобы было сохранено в должной мере то, в силу чего кажущаяся реальность сознается всегда как отражение забытого прошлого. Если это удается, то достигается нужное убеждение больного и зависящий от этого терапевтический эффект.

Чтобы отчетливее выявить это «навязчивое повторение» (Wiederholungszwang), которое обнаруживается во время психоаналитического лечения невротиков, нужно прежде всего освободиться от ошибочного мнения, будто при преодолении сопротивления имеешь дело с сопротивлением бессознательного. Бессознательное, т. е. вытесненное, не оказывает вовсе никакого сопротивления стараниям врача, оно даже само стремится только к тому, чтобы прорваться в сознание, несмотря на оказываемое на него давление, или выявиться посредством реального поступка. Сопротивление лечению исходит из тех же самых высших слоев и систем психики, которые в свое время произвели вытеснение. Так как мотивы сопротивления и даже самое сопротивление представляются нам во время лечения бессознательными, то мы вынуждены избрать более целесообразный способ выражения. Мы избегаем неясности, если мы, вместо противо-

поставления бессознательного сознательному, будем противополагать *Я и* вытесненное. Многое в *Я* безусловно бессознательно, именно то, что следует назвать «ядром *Я*».

Лишь незначительную часть этого *Я* мы можем назвать *предсознательным.* После этой замены чисто описательного выражения выражением систематическим или динамическим мы можем сказать, что сопротивление анализируемых исходит из их *Я,* и тогда мы тотчас начинаем понимать, что «навязчивое повторение» следует приписать вытесненному бессознательному. Эта тенденция, вероятно, могла бы выявиться не раньше, чем идущая навстречу работа лечения ослабит вытеснение.

Нет сомнения в том, что сопротивление сознательного и предсознательного *Я* находится на службе у принципа удовольствия, оно имеет в виду избежать неудовольствия, которое возникает благодаря освобождению вытесненного, и наше усилие направляется к тому, чтобы посредством принципа реальности достигнуть примирения с существующим неудовольствием. Но в каком отношении стоит «навязчивое повторение», как проявление вытесненного, к принципу удовольствия? Ясно, что большая часть из того, что

«навязчивое повторение» заставляет пережить вновь, должно причинять *Я* неудовольствие, так как оно способствует реализации вытесненных влечений, а это и есть, по нашей оценке, неудовольствие, не противоречащее указанному «принципу удовольствия», неудовольствие для одной системы и одновременно удовлетворение для другой. Новый и удивительный факт, который мы хотим теперь описать, состоит в том, что «навязчивое повторение» воспроизводит также и такие переживания из прошлого, которые не содержат никакой возможности удовольствия, которые не могли повлечь за собой удовлетворения даже вытесненных прежде влечений.

Ранний расцвет инфантильной сексуальности был, вследствие несовместимости господствовавших в этот период желаний с реальностью и недостаточной степени развития ребенка, обречен на гибель. Он погиб в самых мучительных условиях и при глубоко болезненных переживаниях. Утрата любви и неудачи оставили длительное нарушение самочувствия в качестве нарциссического рубца, который, по моим наблюдениям и исследованиям Марциновского[57],

57 notes: 57

* Marcinowski. Die erotische Quellen der Minderwertigkeit // Zeitschrift fur Sexualwissenschaft, IV, 1918.

является наиболее живым элементом в часто встречающемся у невротиков чувстве неполноценности. «Сексуальноеисследование», ко-, торое было ограничено физическим развитием ребенка, не привело ни к какому удовлетворительному результату; отсюда позднейшие жалобы: я ничего не могу сделать, мне ничего не удается. Нежная связь, по большей части, с одним из родителей другого пола приводила к разочарованию, к напрасному ожиданию удовлетворения, к ревности при рождении нового ребенка, недвусмысленно указывавшем на «неверность» любимого отца или матери; собственная же попытка произвести такое дитя, предпринятая с трагической серьезностью, позорно не удавалась; уменьшение ласки, отдаваемой теперь маленькому братцу, возрастающие требования воспитания, строгие слова и иногда даже наказание — все это в конце концов раскрыло в полном объеме всю выпавшую на его долю *обиду*. Существует несколько определенных типов такого переживания, регулярно возвращающихся после того, как приходит конец эпохи инфантильной любви.

Все эти тягостные остатки опыта и болезненные аффективные состояния повторяются невротиком в перенесении, снова переживаются

с большим искусством. Невротики стремятся к срыву незаконченного лечения, они умеют снова создать для себя переживание обиды, заставляют врача прибегать к резким словам и к холодному обращению, они находят подходящие объекты для своей ревности, они заменяют горячо желанное дитя инфантильной эпохи намерением или обещанием большого подарка, который обыкновенно остается так же мало реальным, как и прежнее желание. Ничто из всего этого не могло бы тогда принести удовольствия; нужно было думать, что теперь это вызовет меньшее неудовольствие, если оно возникнет как воспоминание, чем если бы это претворилось в новое переживание. Дело идет, естественно, о проявлении влечений, которые должны были бы привести к удовлетворению, но знание, что они вместо этого и тогда приводили к неудовольствию, ничему не научило. Несмотря на это, они снова повторяются; их вызывает принудительная сила.

То же самое, что психоанализ раскрывает на перенесении у невротиков, можно также найти в жизни не невротических людей. У последних эти явления производят впечатление преследующей судьбы, демонической силы, и психоанализ с

самого начала считал такую судьбу автоматически возникающей и обусловленной ранними инфантильными влияниями. Навязчивость, которая при этом обнаруживается, не отличается от характерного для невротиков «навязчивого повторения», хотя эти лица никогда не обнаруживали признаков невротического конфликта, вылившегося в образование симптомов. Так, известны лица, у которых отношение к каждому человеку складывается по одному образцу благодетели, покидаемые с ненавистью своими питомцами; как бы различны ни были отдельные случаи, этим людям, кажется, суждено испытать всю горечь неблагодарности; мужчины, у которых каждая дружба кончается тем, что им изменяет друг; другие, которые часто в своей жизни выдвигают для себя или для общества какое-нибудь лицо в качестве авторитета и этот авторитет затем после известного времени сами отбрасывают, чтобы заменить его новым; влюбленные, у которых каждое нежное отношение к женщине проделывает те же фазы и ведет к одинаковому концу, и т. д. Мы мало удивляемся этому «вечному возвращению одного и того же», когда дело идет об активном отношении такого лица и когда мы находим постоянную

черту характера, которая должна выражаться в повторении этих переживаний. Гораздо большее впечатление производят на нас те случаи, где такое лицо, кажется, переживает нечто пассивно, где никакого его влияния не имеется и, однако, его судьба все снова и снова повторяется. Вспомним, например, историю той женщины, которая три раза подряд выходила замуж, причем все мужья ее заболевали и ей приходилось ухаживать за ними до смерти[58]. Самое захватывающее поэтическое представление такого случая дал Тассо в романтическом эпосе «Освобожденный Иерусалим». Герой его, Танкред, нечаянно убил любимую им Клоринду, когда она сражалась с ним в вооружении неприятельского рыцаря. Он проникает после ее похорон в страшный волшебный лес, который пугает войско крестоносцев. Он разрубает там своим мечом высокое дерево, и из раны дерева течет кровь, и он слышит голос Клоринды, душа которой была заключена в этом дереве; она жалуется на то, что он снова причинил боль своей возлюбленной.

На основании таких наблюдений над работой

---

58 notes: 58

* Ср. меткие замечания к этому в статье: Jung C. G. Die Bedeutung des Vaters fur Schicksal des Einzelnen // Jahrbuch f. Psychoanalyse. 1, 1909. (В русск. переводе см.: Психол. и психо-аналит. библиотека, вып. II, 1924).

перенесения и над судьбой отдельных людей мы найдем в себе смелость выдвинуть гипотезу, что в психической жизни действительно имеется тенденция к навязчивому повторению, которая выходит за пределы принципа удовольствия, и мы будем теперь склонны свести сны травматических невротиков и склонность ребенка к игре — к этой тенденции. Во всяком случае, мы должны сказать, что мы только в редких случаях можем отделить влияние навязчивого повторения от действия других мотивов. Мы уже упоминали, какие иные толкования допускает возникновение детской игры. Страсть к повторению и прямое, дающее наслаждение удовлетворение влечений кажутся здесь соединенными во внутреннюю связь. Явления перенесения состоят, по-видимому, на службе у сопротивления со стороны вытесняющего *Я;* навязчивое повторение также призывается на помощь нашим *Я,* которое твердо поддерживает принцип удовольствия. Рационально взвесив обстоятельства, мы уясним себе многое в том, что можно было бы назвать «судьбой», и перестанем ощущать вовсе потребность во введении нового таинственного мотива. Менее всего подозрительным является случай сновидений, предвещающих несчастья, но при более

близком рассмотрении нужно все же принять, что в других примерах факты не исчерпываются известными мотивами. Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия. Если же в психической жизни существует такое навязчивое повторение, то мы хотели бы узнать что-нибудь о том, какой функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отношении стоит оно к принципу удовольствия, которому мы до сих пор приписывали господство над течением процессов возбуждения в психической жизни.

IV

Теперь мы переходим к спекуляции, иногда далеко заходящей, которую каждый, в зависимости от своей личной установки, может принять или отвергнуть. Дальнейшая попытка последовательной разработки этой идеи сделана только из любопытства, заставляющего посмотреть, куда это может привести.

Психоаналитическая спекуляция связана с фактом, получаемым при исследовании бессознательных процессов и состоящим в том, что сознательность является не обязательным признаком психических процессов, но служит лишь особой функцией их. Выражаясь метапсихологически, можно утверждать, что сознание есть работа отдельной системы, которую можно назвать «Bw». Так как сознание есть главным образом восприятие раздражений, приходящих к нам из внешнего мира, а также чувств удовольствия и неудовольствия, которые могут проистекать лишь изнутри нашего психического

аппарата, системе W —Bw[59] может быть указано пространственное местоположение. Она должна лежать на границе внешнего и внутреннего, будучи обращенной к внешнему миру и облекая другие психические системы. Мы, далее, замечаем, что с принятием этого мы не открыли ничего нового, но лишь присоединились к анатомии мозга, которая локализует сознание в мозговой коре, в этом внешнем окутывающем слое нашего центрального аппарата. Анатомия мозга вовсе не должна задавать себе вопроса, почему, рассуждая анатомически, сознание локализовано как раз в наружной стороне мозга, вместо того чтобы пребывать хорошо защищенным где-нибудь глубоко внутри. Может быть, мы воспользуемся этими данными для дальнейшего объяснения нашей системы W—Bw.

Сознательность не есть единственное свойство, которое мы приписываем происходящим в этой системе процессам. Мы опираемся на данные психоанализа, допуская, что процессы возбуждения оставляют в других системах длительные следы

59 notes: 59

* Bw — сокращенное BewuBtsein — система сознания; W — Bw — система Wahrnehmung —BewuBtsein — восприятие—сознание, указывающая на одно из важных положений Фрейда, выводящее сознание из системы восприятий внешнего мира. (Примеч. пер.)

как основу памяти, т. е. следы воспоминаний, которые не имеют ничего общего с сознанием. Часто они остаются наиболее стойкими и продолжительными, если вызвавший их процесс никогда не доходил до сознания. Однако трудно предположить, что такие длительные следы возбуждения остаются и в системе W—Bw. Они очень скоро ограничили бы способность этой системы к восприятию новых возбуждений[60], если бы оставались всегда сознательными; наоборот, если бы они всегда оставались бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бессознательных процессов в системе, функционирование которой обыкновенно сопровождается феноменом сознания. Таким допущением, которое выделяет сознание в особую систему, мы, так сказать, ничего не изменили бы и ничего не выиграли бы. Если это и не является абсолютно решающим соображением, то все же оно может побудить нас предположить, что сознание и оставление следа в памяти несовместимы друг с другом внутри одной и той же системы. Мы могли бы сказать, что в системе Bw процесс возбуждения совершается сознательно,

60 notes: 60

* Ср. выводы И. Брейера в теоретической части его «Studien iiber Hysterie», 1895.

но не оставляет никакого длительного следа; все следы этого процесса, на которых базируется воспоминание, при распространении этого возбуждения переносятся на ближайшие внутренние системы. В этом смысле я набросал схему, которую выставил в 1900 году в спекулятивной части «Толкования сновидений». Если подумать, как мало мы знаем из других источников о возникновении сознания, то нужно отвести известное значение хоть несколько обоснованному утверждению, что *сознание возникает на месте следа воспоминания.*

Таким образом, система Bw должна была отличаться той особенностью, что процесс возбуждения не оставляет в ней, как во всех других психических системах, длительного изменения ее элементов, но ведет как бы к вспышке в явлении осознания. Такое уклонение от всеобщего правила требует разъяснения посредством одного момента, приходящего на ум исключительно при исследовании этой системы, и этим моментом, отсутствующим в других системах, могло бы легко оказаться вынесенное наружу положение системы Bw, ее непосредственное соприкосновение с внешним миром.

Представим себе живой организм в самой

упрощенной форме его в качестве недифференцированного пузырька раздражимой субстанции; тогда его поверхность, обращенная к внешнему миру, является дифференцированной в силу своего положения и служит органом, воспринимающим раздражение. Эмбриология, как повторение филогенеза, действительно показывает, что центральная нервная система происходит из эктодермы и что серая мозговая кора есть все же потомок примитивной наружной поверхности, который перенимает посредством унаследования существенные ее свойства. Казалось бы вполне возможным, что вследствие непрекращающегося натиска внешних раздражений на поверхность пузырька его субстанция до известной глубины изменяется, так что процесс возбуждения иначе протекает на поверхности, чем в более глубоких слоях. Таким образом, образовалась такая кора, которая в конце концов оказалась настолько прожженной раздражениями, что доставляет для восприятия раздражений наилучшие условия и не способна уже к дальнейшему видоизменению. При перенесении этого на систему Bw это означало бы, что ее элементы не могли бы подвергаться никакому длительному изменению при прохождении возбуждения, так

как они уже модифицированы до крайности этим влиянием. Тогда они уже подготовлены к возникновению сознания. В чем состоит модификация субстанции и происходящего в ней процесса возбуждения, об этом можно составить себе некоторое представление, которое, однако, в настоящее время не удастся еще проверить. Можно предположить, что возбуждение при переходе от одного элемента к другому должно преодолеть известное сопротивление, и это уменьшение сопротивления оставляет длительно существующий след возбуждения (проторение путей); в системе Bw такое сопротивление при переходе от одного элемента к другому не возникает. С этим представлением можно связать брейеровское различение покоящейся (связанной) и свободноподвижной энергии[61] в элементах психических систем; элементы системы Bw обладали бы в таком случае не связанной, но исключительно свободно-отводимой энергией. Но я полагаю, что пока лучше об этих вещах высказываться с возможной неопределенностью. Все же мы связали посредством этих рассуждений возникновение сознания с положением системы Bw и с приписы-

61 notes: 61

* Studien iiber Hysterie von J. Breuer und S. Freud, 3 unverand. Aufl., 1917.

ваемыми ей особенностями протекания процесса возбуждения.

Мы должны осветить еще один момент в живом пузырьке с его корковым слоем, воспринимающим раздражение. Этот кусочек живой материи носится среди внешнего мира, заряженного энергией огромной силы, и если бы он не был снабжен защитой от раздражения (Reizschutz), он давно погиб бы от действия этих раздражений. Он вырабатывает это предохраняющее приспособление посредством того, что его наружная поверхность изменяет структуру, присущую живому, становится в известной степени неорганической и теперь уже в качестве особой оболочки или мембраны действует сдерживающе на раздражение, т. е. ведет к тому, чтобы энергия внешнего мира распространялась на ближайшие оставшиеся живыми слои лишь небольшой частью своей прежней силы. Эти слои, защищенные от всей первоначальной силы раздражения, могут посвятить себя усвоению всех допущенных к ним раздражений. Этот внешний слой благодаря своему отмиранию предохраняет зато все более глубокие слои от подобной участи по крайней мере до тех пор, пока раздражение не достигает такой силы, что оно проламывает эту защиту. Для

живого организма такая защита от раздражений является, пожалуй, более важной задачей, чем восприятие раздражения; он снабжен собственным запасом энергии и должен больше всего стремиться защищать свои особенные формы преобразования этой энергии от нивелирующего, следовательно, разрушающего влияния энергии, действующей извне и превышающей его собственную по силе. Восприятие раздражений имеет, главным образом, своей целью ориентироваться в направлении и свойствах идущих извне раздражений, а для этого оказывается достаточным брать из внешнего мира лишь небольшие пробы и оценивать их в небольших дозах. У высокоразвитых организмов воспринимающий корковый слой бывшего пузырька давно погрузился в глубину организма, оставив часть этого слоя на поверхности под непосредственной общей защитой от раздражения. Это и есть органы чувств, которые содержат в себе приспособления для восприятия специфических раздражителей и особые средства для защиты от слишком сильных раздражений и для задержки неадекватных видов раздражений. Для них характерно то, что они перерабатывают лишь очень незначительные количества внешнего раздражения, они берут

лишь его мельчайшие пробы из внешнего мира. Эти органы чувств можно сравнить с щупальцами, которые ощупывают внешний мир и потом опять оттягиваются от него.

Я разрешу себе на этом месте кратко затронуть вопрос, который заслуживает самого основательного изучения. Кантовское положение, что время и пространство суть необходимые формы нашего мышления, в настоящее время может под влиянием известных психоаналитических данных быть подвергнуто дискуссии. Мы установили, что бессознательные душевные процессы сами по себе находятся «вне времени». Это прежде всего означает то, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не изменяет, что представление о времени нельзя применить к ним. Это негативное свойство можно понять лишь путем сравнения с сознательными психическими процессами. Наше абстрактное представление о времени должно почти исключительно зависеть от свойства работы системы W—Bw и должно соответствовать самовосприятию этой последней. При таком способе функционирования системы должен быть избран другой путь защиты от раздражения. Я знаю, что эти утверждения звучат весьма туманно, но должен ограничиться лишь

такими намеками.

Мы до сих пор указывали, что живой пузырек должен быть снабжен защитой от раздражений внешнего мира. Перед тем мы утверждали, что ближайший его корковый слой должен быть дифференцированным органом для восприятий раздражений извне. Этот чувствительный корковый слой, будущая система Bw, также получает возбуждения изнутри. Положение этой системы между наружными и внутренними влияниями и различия условий для влияний с той и другой стороны являются решающими для работы этой системы и всего психического аппарата. Против внешних влияний существует защита, которая уменьшает силу этих приходящих раздражений до весьма малых доз; по отношению к внутренним влияниям такая защита невозможна, возбуждение глубоких слоев непосредственно и не уменьшаясь распространяется на эту систему, причем известный характер их протекания вызывает ряд ощущений удовольствия и неудовольствия. Во всяком случае возбуждения, происходящие от них, будут более адекватны способу работы этой системы по своей интенсивности и по другим качественным свойствам (например, по своей амплитуде), чем

раздражения, приходящие из внешнего мира. Эти обстоятельства окончательно определяют две вещи: во-первых, превалирование ощущений удовольствия и неудовольствия, которые являются индикатором для процессов, происходящих внутри аппарата, над всеми внешними раздражениями; во-вторых, деятельность, направленную против таких внутренних возбуждений, которые ведут к слишком большому увеличению неудовольствия. Отсюда может возникнуть склонность относиться к ним таким образом, как будто они влияют не изнутри, а снаружи, чтобы к ним возможно было применить те же защитные меры от раздражений. Таково происхождение *проекции,* которой принадлежит столь большая роль в происхождении патологических процессов.

У меня складывается впечатление, что мы приблизились посредством последних рассуждений к пониманию господства принципа удовольствия; но мы еще не разъяснили тех случаев, которые ему противоречат. Поэтому сделаем шаг дальше. Такие возбуждения извне, которые достаточно сильны, чтобы проломать защиту от раздражения, мы называем *травматическими.* Я полагаю, что понятие травмы включает в себя понятие нарушения защиты от раздражения. Та-

кое происшествие, как внешняя травма, вызовет, наверное, громадное расстройство в энергетике организма и приведет в движение все защитные средства; принцип удовольствия при этом остается бессильным. Организм оказывается не в силах сдержать переполнение психического аппарата столь большими количествами раздражений. Возникает, скорее, другая задача, состоящая в том, чтобы победить это раздражение, психически связать эту огромную массу ворвавшихся раздражений, чтобы затем свести их на нет.

Вероятно, специфическое неудовольствие от физической боли есть следствие того, что защита от раздражений в известной степени прорвана. От этого места периферии текут, вследствие этого, к психическому аппарату постоянные возбуждения таким же образом, каким они обыкновенно могут приходить лишь изнутри[62]. И какую иную реакцию мы можем ожидать на этот прорыв?

Со всех сторон будет привлечена активная энергия (Besetzungsenergie), чтобы создать соответственное высокое энергетическое заполнение вокруг пострадавшего места. Создается силь-

---

62 notes: 62

* Ср.: Triebe u. Triebschicksale // Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. (В русск. переводе см.: Психол. и психоана-лит. библиотека, вып. III, статья «Влечения и их судьба».– М., 1923.)

нейшая компенсация (Gegenbesetzung), для осуществления которой поступаются своим запасом все другие психические системы, так что получается обширное ослабление и понижение обычной работоспособности других психических функций. На подобных примерах мы хотим научиться прилагать наши мета-психологические построения к такого рода первичным фактам. Из этого обстоятельства мы делаем вывод, что даже система с высоким энергетическим потенциалом (hochbesetzte System) может воспринимать вновь приходящую несвязанную энергию, превращая ее в покоящуюся, т. е. «связать» ее психически. Чем выше потенциал собственной покоящейся энергии, тем выше будет ее связывающая сила; и наоборот, чем ниже этот потенциал, тем меньше эта система будет в состоянии воспринимать, усваивать энергию, тем сокрушительнее должны быть последствия такого прорыва «защиты от раздражения». Неправильно было бы возражение против такого понимания, что увеличение энергетического потенциала (Besetzungen) вокруг места прорыва объясняется гораздо проще прямым следствием проникающих сюда возбуждений. Если бы это было так, то психический аппарат испытал бы только увеличение своего

энергетического потенциала, а ослабляющий характер боли, ослабление всех других систем остались бы необъяснимыми. Даже самые сильные защитные действия боли не противоречат нашему объяснению, так как они происходят рефлекторно, т. е. возникают без посредства психического аппарата. Неопределенность всех наших построений, которые мы называем метапсихоло-гическими, происходит, конечно, от того, что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем и не чувствуем себя вправе делать даже какое-либо предположение: в этом отношении мы оперируем, таким образом, с большим *X*, который мы переносим в каждую новую формулу. Что этот процесс совершается с количественно различной энергией — это легко допустимое предположение; что он имеет также больше чем одно качество (например, в виде амплитуды), может быть для нас невероятным; мы принимаем в качестве новой формулировки предположение Брейера, что дело идет здесь о двух формах энергии: текущей свободно, стремящейся к разряду, и покоящемся запасе психических систем (или их элементов). Возможно, что мы уделим место предположению, что «связывание» втекающей

в психический аппарат энергии состоит в переведении ее из свободно текущего в покоящееся состояние.

Я полагаю, что нужно сделать попытку к пониманию обыкновенного травматического невроза как последствия обширного прорыва «защиты от раздражений». Этим восстановлено было бы в своих правах старое наивное учение о шоке, в противоположность, по-видимому, более новому и психологически более требовательному учению, которое приписывает этиологическое значение не механическому воздействию силы, а испугу и угрозе жизни. Но эти противоречия нетрудно примирить; ведь психоаналитическое понятие травматического невроза не идентично с грубой формой теории шока. Если последняя объясняет сущность шока непосредственным повреждением молекулярной или гистологической структуры нервных элементов, то мы стараемся понять его влияние из прорыва «защиты от раздражений» и из возникающих отсюда задач. Условием для него служит отсутствие подготовленности в виде страха (Angstbereitschaft), который создает переизбыток энергии (Uberbesetzung) в системах, прежде всего воспринимающих раздражение. Вследствие такого пониженного

энергетического потенциала системы не в состоянии связывать приходящие к ним количества возбуждения, и тем легче осуществляются указанные последствия такого прорыва «защиты от раздражений». Мы находим, таким образом, что подготовленность в виде страха с повышением энергетического потенциала воспринимающей системы представляет последнюю линию защиты от раздражения. Для целого ряда травм такая разница между неподготовленными и подготовленными посредством повышения потенциала системами может быть решающим моментом для их исхода; он больше не будет зависеть от самой силы травмы. Если сновидения травматических невротиков возвращают больных так регулярно в обстановку катастрофы, то они во всяком случае не являются исполнением желания, галлюцинаторное осуществление которого сделалось функцией при господстве принципа удовольствия. Но мы должны допустить, что они осуществляют другую задачу, разрешение которой должно произойти раньше, чем принцип удовольствия начнет осуществлять свое господство. Эти сновидения стараются справиться с раздражением посредством развития чувства страха, отсутствие которого стало причиной

травматического невроза. Они проливают, таким образом, свет на функцию психического аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, все же независима от него и кажется первоначаль-нее, чем стремление к удовольствию и избегание неудовольствия.

Здесь было бы уместно впервые признать исключение из правила, что сновидение есть исполнение желания. Страшные сновидения (Angsttraume) не представляют подобного исключения, как я неоднократно и подробно доказывал, также и сновидения-наказания (Straftraume), так как они воздают должное наказанию за исполнение запрещенного желания и являются, таким образом, исполнением желания особого «чувства вины», реагирующего на вытесненное влечение. Но вышеупомянутые сновидения травматических невротиков нельзя рассматривать под углом зрения исполнения желания,, и в такой же малой степени это возможно по отношению к встречающимся в психоанализе сновидениям, которые воспроизводят воспоминания о психических инфантильных травмах. Они скорее повинуются тенденции к навязчивому повторению, которое подкрепляется в процессе психоанализа далеко не бессознательным желанием — выявить за-

бытое и вытесненное. Таким образом, функция сновидения, заключающаяся в устранении поводов к прекращению сновидения посредством исполнения мешающих ему желаний, оказывается не первоначальной: сновидение могло бы лишь в том случае осилить эти мешающие ему возбуждения, если бы вся психическая жизнь признала бы господство принципа удовольствия. Если же существует «та сторона принципа удовольствия», то вполне можно допустить и некоторую эпоху, предшествующую тенденции исполнения желания во сне.

Это не противоречит более поздней функции сна. Однако если эта тенденция в чем-либо нарушена, встает следующий вопрос: возможны ли в психоанализе такие сны, которые в интересах психического связывания травматических впечатлений следуют тенденции навязчивого воспроизведения? На это нужно ответить безусловно утвердительно.

По отношению к «военным» неврозам, поскольку это название обозначает нечто большее, чем простое отношение к обстоятельствам этого заболевания, я доказал в другом месте, что они очень легко могли бы быть травматическим неврозом, возникновение которого было облегчено *Я*— кон-

фликтом (Ich-Konflikt)[63].

Упомянутый выше факт, что одновременное большое ранение уменьшает посредством большой травмы шансы на возникновение травматического невроза, теперь будет более понятен, особенно если вспомнить о двух обстоятельствах, подчеркнутых психоаналитическим исследованием: во-первых, что механические потрясения должно рассматривать как один из источников сексуального возбуждения (ср. замечания о влиянии качания и езды по железной дороге в «Трех очерках по теории сексуальности»), и, во-вторых, что болезненное и лихорадочное состояние сильно влияет во время своего течения на распределение либидо. Таким образом, механическая сила травмы освобождает то количество сексуального возбуждения, которое действует травматически вследствие недостаточной готовности в виде страха, одновременное же ранение тела при помощи нарциссического сосредоточения либидо в пострадавшем органе

63 notes: 63

* Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, Einleitung // Internationale Psyhoanalytische Bibliothek, 1, 1919

связывает излишек возбуждения[64].

Известно также, что недостаточно оценено для теории либидо то, что такие тяжелые нарушения в распределении либидо, как меланхолия, могут быть на время ликвидированы посредством какой-либо привходящей органической болезни и что даже состояние вполне развитой dementia ргаесох при названных условиях может быть временно задержано и даже возвращено к прежним, менее болезненным состояниям.

64 notes: 64

* См.: Zur Einfiihrung des Narzi8mus//Samml. kleiner Schriften z. Neurosenlehre, 1918.– Русск. перевод: Психол. и психоанал. библиот.— ГИЗ, 1921.– Вып. VIII.

V

Отсутствие защиты от раздражений у воспринимающего внутренние раздражения коркового слоя имеет своим последствием то, что перемещение раздражений получает большое экономическое значение и часто дает повод к нарушениям в экономике организма, которые могут быть сопоставлены с травматическим неврозом. Самыми основными источниками такого внутреннего раздражения служат так называемые влечения организма, которые являются представителями всех действующих сил, возникающих внутри организма и переносимых на психический аппарат; именно они и являются самым важным и самым темным элементом психологического исследования.

Пожалуй, мы не найдем слишком смелым предположение, что исходящие из этих влечений действия являются по типу не связанным, а свободно-подвижным, стремящимся к разряду нервным процессом. Самое большое, что мы знаем об этих процессах, да.ет изучение сновидений. При этом мы обнаружили, что процессы в бессознательных системах коренным образом

отличны от процессов (пред-) сознательных, что в бессознательном отдельные заряды энергии легко могут быть целиком перенесены, смещены, сгущены. Если бы то же самое случилось с материалом предсознательного, это привело бы к нелепым результатам; поэтому получаются известные нам странности в явном содержании сновидения, после того как предсознательные остатки дня подверглись переработке, согласно законам бессознательного. Я назвал это свойство таких процессов в бессознательном «первичным» психическим процессом, в отличие от соответствующих нашему нормальному бодрствованию «вторичных» процессов.

Так как все влечения возникают в бессознательных системах, вряд ли будет новым, если скажем, что они следуют первичному процессу; с другой же стороны, мы имеем мало основания отождествить первичный психический процесс со свободно движущимся зарядом, а вторичный процесс — с изменениями связанного или тонического нервного напряжения Брейера[65]. Задачей более высоких слоев психического аппарата было бы в таком случае связывать достигающие до

---

65 notes: 65

* Ср. Traumdeutung, VII.

него влечения, которые возникли в «первичном» процессе. Неудача этого связывания вызвала бы нарушение, аналогичное травматическому неврозу; только если последовало бы такое связывание, стало бы возможным беспрепятственное продолжение господства принципа удовольствия и его модификации — принципа реальности. Но до тех пор выступала бы на первое место другая задача психического аппарата, состоящая в овладении возбуждением или связывании его и, собственно, не противоречащая принципу удовольствия, но не зависящая от него, часто даже не имеющая его в виду.

Проявления навязчивого повторения, которое мы встретили в психической жизни раннего детства и в случаях из психоаналитической практики, отличаются непреодолимым, а там, где находятся в противоречии с принципом удовольствия, «демоническим» характером. Мы полагаем, что в детской игре ребенок повторяет даже неприятные переживания, так как он благодаря своей активности значительно лучше овладевает сильным впечатлением, чем это возможно при обыкновенном пассивном переживании. Каждое новое воспроизведение стремится как будто бы закрепить это желанное

овладение, и даже при приятных переживаниях ребенок не может насытиться этими повторениями и будет упрямо настаивать на повторении тех же впечатлений. Эта черта характера должна впоследствии исчезнуть. Услышанная во второй раз острота пройдет почти незамеченной, театральное представление никогда не доставит такого впечатления во второй раз, которое оно произвело в первый; взрослого трудно заставить тотчас же перечитать даже ту книгу, которая очень понравилась. Всегда условием удовольствия будет его новизна.

Ребенок же не устанет требовать повторения показанной ему взрослым игры, пока тот не откажет ему окончательно, и если ему рассказали интересную сказку, ему хочется слышать все снова и снова эту сказку вместо новой; он настаивает беспрестанно на повторении того же самого и исправляет всякое изменение, которое вставляет рассказчик для того, чтобы внести разнообразие. При этом здесь нет противоречия принципу удовольствия; бросается в глаза, что это повторение, нахождение того же самого составляет само по себе источник удовольствия. Наоборот, у подвергаемого анализу кажется ясным, что навязчивое повторение в перенесении отношений его ин-

фантильного периода *во всяком случае* выводит за пределы принципа удовольствия. Больной при этом ведет себя как ребенок и показывает нам, что вытесненные следы воспоминаний о его ранних переживаниях находятся в нем не в связанном состоянии, а также до известной степени не способны к переходу во вторичный процесс. Этому свойству обязаны они своими способностями образовывать посредством присоединения к следам дневных переживаний проявляющиеся во сне фантазии исполнения желаний. Это навязчивое повторение является для нас часто препятствием в терапевтической работе, когда мы в конце лечения хотим провести отрешение от лечащего врача, и нужно предположить, что тайная боязнь у людей, не посвященных в анализ, которые боятся пробудить что-либо, что, по их мнению, лучше оставить в спящем состоянии, имеет в основе именно страх перед наступлением такой демонической навязчивости.

Каким же образом связаны между собой влечения и навязчивое повторение? Здесь мы приходим к мысли, что мы набрели на следы самого характера этих влечений, возможно, даже всей органической жизни, до сих пор бывших для нас неясными или, во всяком случае, недостаточно

подчеркнутыми. *Влечение, с этой точки зрения, можно было бы определить как наличное в живом организме стремление к восстановлению какого-либо прежнего состояния,* которое под влиянием внешних препятствий живое существо принуждено было оставить, в некотором роде органическая эластичность или, если угодно, выражение косности в органической жизни[66].

Это определение влечения звучит странно, так как мы привыкли видеть во влечении момент, стремящийся к изменению и развитию, и должны теперь признать как раз противоположное, выражение консервативной природы живущего. С другой стороны, нам попадаются очень скоро примеры из жизни животных, которые как будто бы подтверждают историческую обусловленность влечений.

Если некоторые рыбы во время метания икры предпринимают трудные путешествия, чтобы отложить икру в известных водах, далеко удаленных от их обычного пребывания, то, по мнению многих биологов, они отыскивают лишь прежние места, которые они в течение времени переменили на другие. То же относится и к

---

66 notes: 66

* Я не сомневаюсь, что подобные предположения о природе влечений уже неоднократно высказывались.

странствованию перелетных птиц; но поиски дальнейших примеров указывают нам очень скоро, что в феноменах наследственности и фактах эмбриологии мы имеем великолепные примеры органического «навязчивого повторения». Мы видим, что зародыш животного принужден повторить в своем развитии структуру всех тех форм, пусть даже в беглом и укороченном виде, от которых происходит это животное, вместо того чтобы поспешить кратчайшим путем к его конечному образу; это обстоятельство мы можем объяснить механически лишь в незначительной степени и не должны оставлять в стороне историческое объяснение. Таким же образом далеко в историю животного мира восходит способность замещения утраченного органа посредством образования взамен другого, совершенно одинакового.

Следует тут же отметить и то возражение, что кроме консервативных влечений, которые принуждают к повторениям, есть и такие, которые стремятся дать новые формы и ведут к прогрессу; это возражение должно быть предусмотрено и позже в наших рассуждениях. Однако нам кажется заманчивым проследить до последних выводов то предположение, что все влечения

стремятся восстановить прежнее состояние. Пусть это покажется чересчур «глубокомысленным» или пусть прозвучит мистически, но все же мы стремились к чему-либо подобному. Мы ищем трезвых результатов исследования или основанного на нем рассуждения и не стремимся ни к чему другому, как к достоверности[67].

Если, таким образом, все органические влечения консервативны, приобретены исторически и направлены к регрессу, к восстановлению прежних состояний, то мы должны все последствия органического развития отнести за счет внешних, мешающих и отклоняющих влияний.

Элементарное живое существо с самого своего начала не должно стремиться к изменению, должно постоянно при неизменяющихся условиях повторять обычный жизненный путь. Но ведь в конечном счете именно история развития нашей Земли и ее отношений к Солнцу есть то, что наложило свой отпечаток на развитие организмов.

Консервативные органические влечения

---

67 notes: 67

* Не следует упускать из виду то, что нижеследующее представляет собой развитие крайних взглядов, которые впоследствии, когда будут приняты во внимание сексуальные влечения, подвергнутся ограничению и исправлению.

восприняли каждое из этих вынужденных отклонений от жизненного пути, сохранили их для повторения и должны произвести, таким образом, обманчивое впечатление сил, стремящихся к изменению и прогрессу, в то время как они пытаются достичь прежней цели на старых и новых путях. Однако и эта конечная цель всякого органического стремления могла бы легко быть узнана. Если бы целью жизни было еще никогда не достигнутое ею состояние, это противоречило бы консервативной природе влечений. Скорее здесь нужно было бы искать старое исходное состояние, которое живущее существо однажды оставило и к которому стремится обратно всеми окольными путями развития. Если мы примем как не допускающий исключений факт, что все живущее, вследствие *внутренних* причин, умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: *целью всякой жизни является смерть,* и обратно — *неживое было раньше, чем живое.*

Некогда, какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевленной материи свойства живого. Возможно, что это был процесс, подобный тому, каким в известном слое живой материи впоследствии должно было

образоваться сознание. Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это было первое стремление возвратиться к неживому. Тогда живая субстанция могла легко умереть, жизненный путь был, вероятно, короток, направление его было предопределено химической структурой молодой жизни. В течение долгого времени живая субстанция могла создаваться все снова и снова и легко могла умирать, пока внешние, определяющие причины не изменились настолько, что принуждали оставшуюся в живых субстанцию к все большим отклонениям от первоначального жизненного пути и к более сложным окольным путям для достижения цели — смерти. Эти окольные пути к смерти, надежно охраняемые консервативными влечениями, дают нам теперь картину жизненных явлений. Если придерживаться мнения об исключительно консервативной природе влечений, нельзя прийти к другим предположениям о происхождении и цели жизни.

Так же странно, как эти заключения, звучит тогда то, что можно вывести в отношении больших групп влечений, которые мы констатируем за этими жизненными проявлениями организмов.

Положение о существовании влечения к само-

сохранению, которое мы приписываем каждому живому существу, состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к самосохранению, к власти и самоутверждению теоретически сильно ограничиваются; они являются частными влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить организму собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему. Таким образом, отпадает загадочное стремление организма, как будто не стоящее ни в какой связи ни с чем, самоутвердиться во что бы то ни стало. Остается признать, что организм хочет умереть только по-своему, и эти «сторожа жизни» были первоначально слугами смерти. К этому присоединяется парадоксальное утверждение, что живой организм противится самым энергичным образом опасностям, которые не могли помочь ему достичь своей цели самым коротким путем (так сказать, коротким замыканием), но это поведение характеризует только примитивные формы влечений, в противоположность разумным стремлениям организма.

Но отдадим себе отчет: ведь этого не может быть! Совсем в другом свете покажутся нам тогда сексуальные стремления, для которых учение о неврозах определило особое положение.

Не все организмы подчинены внешнему принуждению, которое стимулировало их все далее идущее развитие. Многим удалось сохранить себя до настоящего времени на своей самой низкой ступени развития; еще теперь живут если не все, то все же многие живые существа, которые должны быть подобны примитивнейшим формам высших животных и растений. Таким же образом не все элементарные органы, составляющие сложное тело высшего организма, проделывают этот путь развития полностью до естественной смерти. Некоторые среди них, например зародышевые клетки, сохраняют, вероятно, первоначальную структуру живой субстанции и к известному времени отделяются от организма, наделенные всеми унаследованными и вновь приобретенными способностями. Вероятно, как раз эти оба свойства дают им возможность и самостоятельного существования. Поставленные в хорошие условия, они начинают развиваться, т. е. повторять игру, которой они обязаны своим существованием, и это кончается тем, что одна

часть их субстанции продолжает свое развитие до конца, в то время как другая, в качестве нового зародышевого остатка, снова начинает развитие сначала.

Таким образом, эти зародышевые клетки противодействуют умиранию живой субстанции и достигают того, что нам может показаться потенциальным бессмертием, в то время как это, вероятно, означает лишь удлинение пути к смерти. В высокой степени многозначителен для нас тот факт, что зародышевая клетка укрепляется и, вообще, становится приспособленной для этой работы посредством слияния с другой, ей подобной и все же от нее отличающейся.

Влечения, имеющие в виду судьбу элементарных частиц, переживающих отдельное существо, старающиеся поместить их в надежное место, пока они беззащитны против раздражений внешнего мира, и ведущие к соединению их с другими зародышевыми клетками и т. д., составляют группу сексуальных влечений. Они в том же смысле консервативны, как и другие, так как воспроизводят ранее бывшие состояния живой субстанции, но они еще в большей степени консервативны, так как особенно сопротивляются внешним влияниям, и далее, еще в более широком смысле,

так как они сохраняют самую жизнь на более длительные времена[68]. Они-то, собственно, и являются влечениями к жизни: то, что они действуют в противовес другим влечениям, которые по своей функции ведут к смерти, составляет имеющуюся между ними противоположность, которой учение о неврозах приписывает большое значение. Это как бы замедляющий ритм в жизни организмов: одна группа влечений стремится вперед, чтобы возможно скорее достигнуть конечной цели жизни, другая на известном месте своего пути устремляется обратно, чтобы проделать его снова от известного пункта и удлинить таким образом продолжительность пути. Но если даже сексуальность и различие полов не существовали к началу жизни, то все же остается возможным, что влечения, которые впоследствии стали обозначаться как сексуальные, в самом начале вступили в деятельность и начали свое противодействие игре влечений *Я* вовсе не в какой-нибудь более поздний период[69]. Обратим-

---

68 notes: 68

* И все же они являются тем, чем мы только и можем пользоваться для внутренней тенденции к «прогрессу» и к более высокому развитию.

69 notes: 69

* В этой связи следует отметить, что «влечение Я» представляет собой предварительное название, которое имеет отношение к первому наименованию психоанализа.

ся же теперь назад, чтобы спросить, не лишены ли все эти рассуждения всякого основания. Нет ли действительно каких-либо других влечений, *за исключением сексуальных,* кроме тех, которые стремятся к восстановлению прежних состояний, и нет ли таких, которые стремятся к чему-нибудь еще не достигнутому. Я не знаю в органическом мире достоверного примера, который противоречил бы предложенной нами характеристике. Нельзя установить общего влечения к высшему развитию в царстве животных и растений, хотя такая тенденция в развитии фактически бесспорно существует. Но, с одной стороны, если одну ступень развития мы считаем выше другой, это в большей мере лишь дело нашей оценки, а с другой стороны, наука о живых организмах показывает нам, что прогресс в одном пункте очень часто покупается или уравновешивается регрессом в другом. Имеется также достаточно видов животных, исследование ранних форм которых говорит нам, что их развитие скоро приобретет регрессирующий характер. Прогрессирующее развитие так же, как и регрессирующее, может быть следствием внешних сил, принуждающих к приспособлению, и роль влечений для обоих случаев могла ограничиться тем, чтобы закре-

пить вынужденное изменение как источник внутреннего удовольствия[70]. Многим из нас было бы тяжело отказаться от веры в то, что в самом человеке пребывает стремление к усовершенствованию, которое привело его на современную высоту его духовного развития и этической сублимации и от которого нужно ожидать, что оно будет содействовать его развитию до сверхчеловека. Но я лично не верю в существование такого внутреннего стремления и не вижу никакого смысла щадить эту приятную иллюзию. Прежнее развитие человека кажется мне не требующим другого объяснения, чем развитие животных, и то, что наблюдается у небольшой части людей в качестве постоянного стремления к дальнейшему усовершенствованию, становится легко понятным как последствие того вытеснения влечений, на котором построено самое ценное в человеческой культуре. Вытесненное влечение никогда не перестает стремиться к полному удовлетворению, которое состоит в повторении

70 notes: 70

* Ш. Ференци дошел до этого определения, идя по другому пути (Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes // Intern. Zeitschrift fur Psychoanalyse, Bd. 1, 1913): «При последовательном проведении этого хода мыслей нужно свыкнуться с идеей о господствующей и в органической жизни тенденции задержки на месте или регрессии, в то время как тенденция развития вперед, приспособления и проч. становится актуальной лишь в ответ на внешнее раздражение» (S. 137).

в первый раз пережитого удовлетворения; все замещения, реактивные образования и сублимация недостаточны, чтобы прекратить его сдерживаемое напряжение, и из разности между полученным и требуемым удовольствием от удовлетворения влечения возникает побуждающий момент, который и не позволяет останавливаться ни на одной из представляющихся ситуаций, но, по словам поэта, «стремится неудержимо все вперед» (Мефистофель в «Фаусте», I, Кабинет Фауста). Путь назад к полному удовлетворению, как правило, закрыт препятствиями, которые поддерживают вытеснение, и, таким образом, не остается ничего другого, как идти вперед, по другому, еще свободному пути развития, во всяком случае без видов на завершение этого процесса и достижение цели. Процессы при образовании невротической фобии, которые суть не что иное, как попытка к бегству от удовлетворения влечения, дают нам прообраз возникновения этого кажущегося «стремления к совершенствованию», которое мы, однако, не можем приписать всем человеческим индивидуумам.

Хотя динамические условия для этого и имеются повсюду, но экономические обстоятельства только в редких случаях могут способствовать

этому феномену.

Одним словом, весьма правдоподобно, что стремление Эроса связывать органическое во все большие единства выполняет роль заместителя не признаваемого нами «влечения к совершенствованию». Вместе с влиянием вытеснения оно могло бы объяснить приписываемые последнему феномены.

VI

Получаемые нами результаты, которые устанавливают резкую противоположность между влечениями *Я* и сексуальными влечениями, сводя первые к смерти, а последние к сохранению жизни, во многом нас, наверное, не удовлетворят. К этому надо присоединить то, что консервативный или, вернее, регрессирующий характер влечения, соответствующий навязчивому повторению, мы допускаем, собственно, только для первых, ибо, по нашему предположению, влечения # непосредственно восходят к возникновению жизни в неживой материи и имеют тенденцию снова вернуться к неорганическому состоянию. Напротив, относительно сексуальных влечений бросается в глаза, что они репродуцируют примитивные состояния живого существа, но преследуемая ими всеми способами цель состоит в соединении двух дифференцированных известным образом зародышевых клеток. Если это соединение не происходит, тогда зародышевая клетка умирает, подобно всем другим элементам многоклеточного организма. Только при условии соединения их половая функция может продол-

жать жизнь и придать ей видимость бессмертия. Однако каков же этот важный момент в процессе развития живой субстанции, который повторяется посредством полового размножения или его предвестника — копуляции двух индивидуумов среди протистов?

На это мы не можем ответить, и потому для нас было бы облегчением, если бы все наше построение оказалось ошибочным. Противоположность влечений *Я* (к смерти) и влечений сексуальных (к жизни) отпала бы тогда, а вместе с этим ограничилось бы и значение, приписываемое навязчивому повторению.

Поэтому вернемся к одной из затронутых нами гипотез в ожидании, что ее можно будет целиком опровергнуть. Исходя из нашего предположения, мы сделали выводы, что все живущее должно вследствие внутренних причин умереть. Мы сделали это предположение так беспечно именно потому, что его смысл представляется нам совсем иным. Мы привыкли так мыслить, наши поэты укрепляют нас в этом. Мы, возможно, решились на это потому, что в этом веровании таится утешение. Если уж суждено самому умереть и потерять перед тем своих любимых, то все же хочется скорее подчиниться неумолимому

закону природы, величественной *Avavia]*[71], чем случайности, которая могла бы быть избегнута.

Но может быть, эта вера во внутреннюю закономерность смерти также лишь одна из иллюзий, созданных нами, «чтобы вынести тяжесть существования»? Во всяком случае, это верование не первоначально, первобытным народам чужда идея о «естественной» смерти; они приписывают каждый смертный случай влиянию врага или какого-нибудь злого духа. Поэтому мы должны обратиться для проверки этого верования к научной биологии.

Если мы поступим таким образом, мы будем удивлены, узнав, как расходятся биологи в вопросе о естественной смерти и что у них понятие о смерти вообще остается неуловимым. Факт определенной средней продолжительности жизни, по крайней мере у высших животных, говорит, конечно, за внутренние причины смерти, но то обстоятельство, что отдельные большие животные и колоссальные деревья достигают очень высокого и до сих пор не определенного возраста, разбивает снова это впечатление. Согласно концепции В. Флисса, все проявления

---

71 notes: 71

* Необходимости (греч.). (Примеч. редактора перевода.)

жизни организмов — также и смерть в том числе — связаны с известными сроками, среди которых выделяется зависимость двух живых существ — мужского и женского — от солнечного года. Но наблюдения, показывающие, насколько легко и в каких пределах внешние влияния могут изменять проявления жизни в их временной смене, главным образом из царства растений, т. е. ускорять их или задерживать, противятся сухим формулам Флисса и заставляют по крайней мере усомниться в том, что существуют только одни выдвинутые им законы.

Самый большой интерес вызывает исследование продолжительности жизни и смерти организмов в работах А. Вейсмана[72].

К этому исследованию восходит разделение живущей субстанции на смертную и бессмертную половину; смертная — это тело в узком смысле, сома, подверженная естественной смерти; зародышевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку они в состоянии, при известных благоприятных обстоятельствах, развиться в новый индивидуум или, иначе выражаясь, окружить

72 notes: 72

* Uber die Dauer des Lebens, 1882; Uber Leben und Tod, 1892; Das Keimplasma, 1892.

себя новой сомой[73].

Что нас здесь привлекает — это неожиданная аналогия с нашим собственным определением, возникшим на совершенно ином пути. Вейсман, рассматривающий живую субстанцию с точки зрения морфологической, находит в ней составную часть, подверженную смерти, сому, тело, независимо от пола и наследственности, а также часть бессмертную, именно эту зародышевую плазму, которая служит для сохранения вида, для размножения.

Мы уже рассматривали не самую живую материю, но действующие в ней силы, и пришли отсюда к различению двух родов влечений, таких, которые ведут жизнь к смерти, и других, а именно сексуальных влечений, которые постоянно стремятся к обновлению жизни. Это звучит в качестве динамического коррелята к морфологической теории Вейсмана.

Но видимость этого совпадения быстро улетучивается, когда мы знакомимся с разрешением Вейсманом проблемы смерти. Ведь Вейсман допускает различие смертной сомы от бессмертной зародышевой плазмы лишь у многоклеточных

---

73 notes: 73

* Uber Leben und Tod, 2 Aufl., 1892, S. 20.

организмов, а у одноклеточных животных индивид и клетка, служащая для продолжения рода, по его мнению, есть то же самое[74]. Таким образом, он рассматривает одноклеточные как потенциально бессмертные, смерть наступает лишь у Metazoa (многоклеточных). Эта смерть высших живых существ есть естественная смерть от внутренних причин, но она опирается не на исходные свойства живой субстанции[75], не может быть понята как абсолютная необходимость, обоснованная сущностью жизни[76]. Смерть есть больше признак целесообразности, проявление приспособляемости к внешним условиям жизни, так как при разделении клеток тела на сому и зародышевую плазму неограниченная продолжительность жизни индивидуума была бы совершенно нецелесообразной роскошью.

С наступлением этой дифференцировки у многоклеточных смерть стала возможной и целесообразной. С этой стадии сома высших организмов умирает, вследствие внутренних

---

74 notes: 74

* Uber die Dauer des Lebens, S. 38.

75 notes: 75

* Uber Leben und Tod, 2 Aufl., S. 67.

76 notes: 76

* Uber die Dauer des Lebens, S. 33.

причин, к определенному времени, простейшие же остались бессмертными. Напротив, размножение введено было не со смертью, а представляет собой первобытное свойство живой материи, как, например, рост, из которого оно произошло, и жизнь осталась на Земле с самого своего начала беспрерывной[77].

Легко заметить, что признание естественной смерти для высших организмов мало помогает разрешению нашего вопроса. Если смерть есть лишь позднейшее приобретение живых существ, то влечения к смерти, которые восходят к самому началу жизни на Земле, опять остаются без внимания.

Многоклеточные могут умирать от внутренней причины, от недостатков обмена веществ; для вопроса, который нас интересует, это не имеет значения.

Такое понимание происхождения смерти лежит гораздо ближе к обыкновенному мышлению человека, чем странная гипотеза о «влечениях к смерти».

Дискуссия, поднятая теорией Вейсмана, по-моему, не достигла решения ни в каком отноше-

---

77 notes: 77

* Uber Leben und Tod, SchluB.

нии[78].

Некоторые авторы вернулись к точке зрения Гете (1883), который видел в смерти прямое следствие размножения.

Гартман считает характерным для смерти не появление «трупа», этой отмершей части живой субстанции, а определяет ее как «окончание индивидуального развития».

В этом смысле смертны и Protozoa, смерть совпадает у них с размножением, но этим она известным образом замаскировывается у них, так как субстанция производящего животного непосредственно переводится в субстанцию молодого потомка (1. c, S. 29).

Интерес исследования вскоре устремился к экспериментальному выяснению этого утверждаемого бессмертия живой субстанции из одноклеточных. Американец Вудрефф воспитал ресничную инфузорию-туфельку, которая размножается посредством деления на два индивидуума, и проследил до 3029-й генерации, на которой он прервал этот опыт; каждый раз он изолирован одну из отделившихся частиц и поме-

---

78 notes: 78

* Hartmann Max. Tod und Fortpflanzung, 1906; Lipschatz Alex. Warum wir streben. Kosmos-Bucher, 1914; Doflein Franz. Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen und Tieren, 1919.

щал в свежую воду. Этот поздний потомок первой «туфельки» был так же свеж, как его предок, без всяких следов состаривания или вырождения.

Этим, казалось, экспериментально может быть доказано (если эти числа достаточно доказательны) бессмертие протистов[79].

Другие исследователи пришли к иным результатам.

Мопа, Колкинс и др., в противоположность Вудреффу, нашли, что и эти инфузории после определенного числа делений становятся слабее, убывают в величине, теряют часть своего тела и в конце концов умирают, если не получают каких-либо особых освежающих влияний.

Согласно этому, Protozoa умирали после известной фазы старости совершенно так же, как и высшие животные, в противоположность утверждению Вейсмана, который считает смерть лишь более поздним приобретением живых организмов.

Из сопоставления этих исследований мы выводим два факта, которые кажутся нам имеющими твердую основу. Во-первых: если эти животные в определенный момент, когда еще не проявляют

---

79 notes: 79

* Ср. с этим и с дальнейшим Lipschiitz, 1. c, S. 26, 52 и след.

признаков старости, сливаются между собой по двое, копулируют, после чего через некоторое время снова разъединяются, то они избегают старости, они так сказать, омолаживаются. Эта копуляция есть предвестник полового продолжения рода высших сушеств; она еще не имеет ничего общего с размножением, ограничивается смешением субстанции обоих индивидуумов (амфимиксис Вейсмана). Освежающее влияние копуляции может быть также заменено определенными раздражающими средствами, изменениями в составных частях питательной среды, в температуре или сотрясением. Нужно вспомнить об известном опыте Ж. Леба, который вызвал у яиц морского ежа посредством химических раздражителей явления деления, наступающие обыкновенно только после оплодотворения.

Во-вторых: весьма вероятно, что инфузорий ведут к смерти их собственные жизненные процессы, так как противоречие между результатами Вудреффа и других происходит оттого, что Вудрефф помещал каждую новую генерацию в свежую питательную жидкость. Если бы он этого не делал, он наблюдал бы те же старческие изменения генераций, как и другие исследователи. Он

сделал вывод, что этим маленьким животным вредят продукты обмена веществ, которые они отдают окружающей жидкости, и мог убедительно доказать, что только продукты собственного обмена веществ оказывают действие, ведущее к смерти генерации, ибо эти животные созревали великолепно в растворе, который был насыщен продуктами распада отдаленного родственного вида, и безусловно вымирали, собранные в своей собственной питательной жидкости. Таким образом, инфузория умирает, предоставленная сама себе, естественной смертью вследствие несовершенства в устранении своих собственных продуктов обмена веществ; но, может быть, и высшие животные умирают jb основном вследствие такого же недостатка.

Для нас может вообще стать сомнительным, имеет ли смысл искать разрешение вопроса о естественной смерти в изучении Protozoa.

Примитивная организация этих существ может затуманить весьма важные обстоятельства, которые хотя и имеются у них, но обнаруживаются лишь у высших животных, когда они достигли морфологической выраженности.

Если мы оставим морфологическую точку зрения и примем динамическую, то нам может

вообще стать безразличным, можно ли доказать естественную смерть Protozoa или нет. Субстанция, которую впоследствии выделяют как бессмертную, ни в какой мере не отделена у них от умирающей. Силы влечений, переводящие жизнь в смерть, могут с самого начала действовать в них, и все же их эффект может быть скрыт сохраняющими жизнь силами, так что прямое распознание первых становится очень трудным.

Во всяком случае, мы слышали, что наблюдения биологов позволяют нам принять такие внутренние процессы, ведущие к смерти, и для протистов. Но если же протисты оказываются бессмертными в смысле Вейсмана, то его утверждение, что смерть есть позднее приобретение, остается в силе лишь для явных проявлений смерти и не делает невозможным допущение о тенденциях, влекущих к смерти. Наше ожидание, что биология легко устранит признание влечений к смерти, не оправдалось.

Мы можем продолжать выяснять эту возможность, если мы вообще имеем для этого основание. Удивительное сходство вейсмановского разделения на сому и зародышевую плазму с нашим делением на влечения к смерти и к жизни остается и получает снова свое значение.

Остановимся вкратце на этом резко дуалистическом понимании жизни влечений. По теории Э. Геринга о процессах в живой субстанции, в ней происходят беспрерывно два рода процессов противоположного направления: одни — созидающего, ассимиляторного, другие — разрушающего, диссими-ляторного типа. Должны ли мы попытаться узнать в этих обоих направлениях жизненных процессов работу наших обоих влечений — влечения к жизни и влечения к смерти? Но мы не можем скрыть и того, что мы нечаянно попали в гавань философии Шопенгауэра, для которого смерть есть «собственный результат» и, следовательно, цель жизни[80], а сексуальное влечение воплощает волю к жизни.

Попробуем сделать смелый шаг дальше. По общему мнению, соединение многочисленных клеток в одну жизненную систему, многоклеточность организмов стала средством удлинения продолжительности жизни. Одна клетка служит поддержанию жизни другой, и клеточное государство может продолжать существовать, если даже отдельные клетки и должны отмирать.

Мы уже слышали, что копуляция, это вре-

80 notes: 80

* Uber die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen. GroBherzog Wilheltn Emst-Ausgabe, Bd. ГУ, S. 268.

менное слияние двух одноклеточных, влияет в сохраняющем и омолаживающем смысле на обе клетки. Посредством этого можно было бы сделать опыт: перенести выработанную психоанализом теорию либидо на взаимоотношения клеток друг к другу и представить себе, что именно жизненные или сексуальные влечения в каждой клетке берут другие клетки в качестве своих объектов и их влечения к смерти, вернее, вызываемые этими влечениями процессы частично нейтрализуются и, таким образом, сохраняют им жизнь, в то время как другие клетки, в свою очередь, действуют так же по отношению к первым, а третьи жертвуют собой для выполнения этой дибидозной функции. Зародышевые клетки должны были вести себя «нарциссически», как мы привыкли выражаться в учении о неврозах, если весь индивидуум сохраняет свое либидо в себе и ничего не расходует из него на внешние объекты. Зародышевые клетки употребляют свое либидо, деятельность своих жизненных влечений для себя самих, в качестве запаса для их последующей высокотворческой деятельности. Возможно, что и клетки злокачественных новообразований, разрушающих организм, нужно объяснить в том же смысле нарциссически.

Патология склоняется к тому, чтобы считать их происхождение врожденным, и приписывает им эмбриональные свойства. Таким образом, либидо наших сексуальных влечений совпадает с Эросом поэтов и философов, который охватывает все живущее. Здесь мы встречаем повод для обозрения постепенного развития нашей теории либидо. Анализ неврозов перенесения сначала побуждал нас подчеркнуть противоположность между сексуальными влечениями, которые были направлены на объект, и другими, весьма мало распознанными нами и пока обозначенными как влечения *Я.* Между ними в первую очередь нужно указать на влечения, которые служат для самосохранения индивидуума. Трудно было установить, какие еще другие подразделения нужно было внести сюда. Никакое знание не было столь важным для обоснования научной психологии, как приблизительное понимание общей природы и некоторых особенностей влечений, но ни в одной из областей психологии мы не действовали до такой степени в потемках. Каждый выставлял столько влечений, или «основных влечений», сколько ему нравилось, и распоряжался ими, как старые греческие натурфилософы своими четырьмя элементами — водой, землей, огнем

и воздухом.

Психоанализ, не успевший выдвинуть какую-либо теорию влечений, примкнул сначала к популярному различению влечений, для которого прообразом были слова о «голоде и любви». Это не было, по крайней мере, новым актом произвола. С этим мы обходились долгое время в анализе психоневрозов. Понятие «сексуальности» и вместе с тем сексуального влечения должно было, конечно, быть расширено, пока оно не включило в себя многое, что не подчинялось функциям продолжения рода, и это наделало много шума в чопорных и лицемерных кругах.

Следующий шаг последовал тогда, когда психоанализ ближе подошел к психологическому понятию *Я*, которое сначала стало известным как инстанция, вытесняющая, цензурирующая и способная к созданию защитных реактивных образований. Критические и дальновидные умы уже давно, правда, восстали против ограничения понятия либидо энергией сексуальных влечений, обращенных на объект. Но они позабыли сообщить, откуда они приобрели более верный взгляд, и не смогли извлечь что-либо нужное из этого для анализа. При дальнейшем развитии мысли психоаналитическому наблюдению бросилось

в глаза, как постоянно либидо отклоняется от объекта и направляется на само *Я* (интро-версия), и, изучая развитие либидо у ребенка в его ранних стадиях, оно пришло к убеждению, что *Я* и является собственным и первоначальным резервуаром либидо, которое лишь отсюда распространяется на объект. *Я* выступило среди сексуальных объектов и признано было сейчас же самым важным между-ними. Если либидо пребывало таким образом в *Я*, то оно называлось нарциссическим[81]. Это нарциссическое либидо было также выражением силы сексуальных влечений в аналитическом смысле, которое мы должны были отождествить с признанными с самого начала влечениями к самосохранению. Благодаря этому оказалась недостаточной первоначальная противоположность между влечениями *Я* и сексуальными влечениями. Часть влечений *Я* была признана либидозной; в *Я*, вероятно, среди других действовали и сексуальные влечения. Однако нужно все же признать, что старая формула, гласящая, что психоневроз основывается на конфликте между влечениями *Я* и сексуальными влечениями, не

81 notes: 81

* См.: Zur Einfiihrung des NarziBmus // Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. VI, 1914. (Русск. перевод: Психол. и психоаналит. библиотека, под ред. И. Д. Ермакова, т. VIII, 1924.)

содержала ничего такого, что теперь можно было бы отбросить. Различие двух видов влечений, которое с самого начала мыслилось качественно, теперь трактуется иначе, а именно *топически.* В особенности невроз перенесения, собственный предмет психоанализа, остается результатом конфликта между *Я* и либидозной привязанностью к объекту.

Тем более мы должны теперь подчеркнуть либи-дозный характер влечений к самосохранению, ибо мы решаемся сделать следующий шаг, а именно — признать сексуальные влечения как Эрос, сохраняющий все, и вывести нарциссическое либидо *Я* из частичек либидо, которыми связаны друг с другом соматические клетки.

Теперь перед нами встает неожиданно следующий вопрос: если и влечения к самосохранению имеют либидозную природу, то, может быть, вообще мы не имеем других влечений, кроме либи-дозных. По крайней мере, никаких других мы не видим. Но тогда нужно согласиться с критиками, которые с самого начала думали, что психоанализ объясняет все из сексуальности, или с новыми критиками, как Юнг, которые решили употреблять понятие либидо для обозначения вообще «силы влечений». Не так ли?

Этот результат был во всяком случае не нашим намерением, мы скорее исходили из резкого разделения между влечениями *Я*— влечениями к смерти и сексуальными влечениями — влечениями к жизни. Мы были даже готовы считать так называемые влечения *Я* к самосохранению — влечениями к смерти, от чего мы сейчас вынуждены будем воздержаться. Наше представление было с самого начала *дуалистическим*, и теперь оно стало им еще резче, чем раньше, с тех пор как мы усматриваем противоположность не между влечениями *Я* и сексуальными, а между влечениями к жизни и влечениями к смерти. Напротив, теория либидо Юнга монистична*нас должно было спутать то обстоятельство, что он назвал именем либидо единую «силу влечения»; однако это не должно нас смущать больше. Мы предполагаем, что в *Я* действуют еще другие влечения, кроме либидозных влечений к самосохранению, но мы должны быть в состоянии их выявить. Остается пожалеть, что еще так мало развит анализ *Я*, что для нас так трудно это обнаружение. Либидозные стремления *Я* могут во всяком случае быть связаны особым образом с другими, для нас еще неизвестными влечениями *Я*. Еще прежде чем мы познакомились с нарциссизмом, в психоанализе

существовало уже предположение, что влечения *Я* привлекли к себе либидозные компоненты. Но это еще довольно неясные возможности, с которыми противники едва ли могли бы считаться. Остается минусом, что анализ давал нам до сих пор возможность изучать только либидозные влечения. Мы не можем, однако, сделать вывод, что другие влечения не существуют.

При современной неясности в учении о влечениях мы едва ли поступим хорошо, отвергнув какое-либо обстоятельство, обещающее нам разъяснение. Мы исходили из коренной противоположности между влечениями к жизни и смерти. Сама любовь к объекту показывает нам другую такую же полярность между любовью (нежностью) и ненавистью (агрессивностью). Если бы нам удалось привести обе эти полярности в соотношение друг с другом, свести одну к другой! Мы уже давно признали садистский компонент сексуального влечения[82]. Он, как мы знаем, может стать самостоятельным и главенствовать в качестве извращения всего сексуального влечения данного лица. Он выступает также в качестве доминирующего частного влечения в одной из ор-

---

82 notes: 82

* Три очерка по теории сексуальности.

ганизаций, названной мною «прегенитальной». Но как можно вывести садистское влечение, которое направлено на причинение вреда объекту, из поддерживающего жизнь Эроса? Не возникает ли здесь предположение, что этот садизм есть, собственно, влечение к смерти, которое оттеснено от *Я* влиянием нарциссического либидо, так что оно проявляется лишь направленным на объект? Оно начинает тогда обслуживать сексуальную функцию; в стадии оральной организации либидо любовное обладание совпадает с уничтожением объекта, впоследствии садистские стремления отделяются и наконец в стадии примата гениталий берут на себя, имея в виду цели продолжения рода, функцию проявлять насилие над сексуальным объектом, поскольку этого требует совершение полового акта. Больше того, можно было бы сказать, что оттесненный из *Я* садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения: именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с ними, получается амбивалентность любви — ненависти в любовной жизни.

Если такое предположение было бы допустимо, то было бы исполнено требование привести при-

мер такого — хотя и вытесненного — влечения к смерти. Но определение это лишено всякой наглядности и производит поэтому слишком мистическое впечатление. Мы приходим к необходимости найти выход из этого затруднения во что бы то ни стало. Здесь мы должны вспомнить, что такое предположение не ново, что мы уже раз сделали его прежде, когда еще не было речи ни о каком затруднении. Клинические наблюдения понудили нас в свое время сделать вывод, что дополняющее садизм частное влечение мазохизма следует понимать как обращение садизма в собственное *Я*[83]. Перенесение влечения с объекта на *Я* принципиально ничем не отличается от перенесения с *Я* на объект, о котором возникает как бы новый вопрос.

Мазохизм, обращение влечения против собственного *Я,* в действительности был бы возвращением к более ранней фазе, регрессом. В одном пункте данное тогда мазохизму определение нуждается в исправлении, как слишком исключающее, о чем я тогда пытался спорить: мазохизм

83 notes: 83

* Ср. «Три очерка по теории сексуальности» и «Влечения и их судьба» (цит. библ., т. III).

мог бы быть и первичным[84] влечением.

Однако вернемся к влечениям, поддерживающим жизнь. Уже из исследования о протистах мы узнали, что слияние двух индивидуумов без последующего деления — копуляция влияет укрепляющим и омолаживающим образом на оба индивидуума, которые затем отделяются друг от друга (см. выше: Липшютц). В последующих поколениях они не выявляют следов дегенеративности и кажутся способными дальше сопротивляться вреду, приносимому их собственным обменом веществ. Я полагаю, что одно это последнее должно служить прообразом и для эффекта соединения. Но каким образом приносит слияние двух мало различных клеток такое обновление жизни? Опыт, который заменяет копуляцию у Protozoa посредством влияния хи-

---

84 notes: 84

* В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений. Она обозначает садистский компонент сексуального влечения как «деструктивное» влечение (Destruktion als Ursache des Werdens. Jahrbuch fur Psychoanalyse, ГУ, 19.12).

А. Штерке (Inleiding by de vertraling, von S. Freud, De sexuele beschavingsmoral etc., 1914) пытался в другом роде отождествить понятие либидо с теоретически предполагаемым биологическим понятием влечения к смерти (ср. также: Rank. Der Kiinstler). Все эти попытки, как и сделанные в тексте, показывают стремление к еще не достигнутой ясности в учении о влечениях.

мических и даже механических раздражений (I.e.), позволяет дать достоверный отчет: это происходит посредством доставления новых количеств раздражения. Это хорошо согласуется с тем предположением, что жизненный процесс индивидуума из внутренних причин ведет к уравновешиванию химических напряжений, т. е. к смерти, в то время как слияние с индивидуально-отличной живой субстанцией увеличивает эти напряжения, вводит, так сказать, новые *жизненные разности,* которые еще должны после *изживаться.* Для такого различия должны, конечно, существовать один или несколько оптимумов. То, что мы признали в качестве доминирующей тенденции, психической жизни, может быть всей нервной деятельности, а именно стремление к уменьшению, сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего напряжения (по выражению Барбары Лоу — «принцип нирваны»), как это находит себе выражение в принципе удовольствия, — является одним из наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании влечений к смерти. Но мы все еще ощущаем чувствительную помеху для нашего хода мыслей в том отношении, что мы не можем доказать как раз для сексуального влечения такого характера

навязчивого повторения, который нас навел сначала на мысль о наличии следов влечения к смерти; правда, область эмбриональных процессов развития весьма богата такими явлениями повторения, обе зародышевые клетки полового размножения и история их жизни суть сами только повторение начала органической жизни; но главное в процессах, возбужденных сексуальным влечением, есть слияние двух клеточных тел. Лишь посредством этого достигается бессмертие живой субстанции у высших живых существ.

Другими словами, нам надо вообще узнать о происхождении полового размножения и генезисе сексуальных влечений — задача, которой посторонний должен испугаться и которая до сих пор еще не разрешена специальными исследованиями. В теснейшем столкновении всех этих противоречивых данных и мнений должно быть выявлено, какой вывод можно сделать из всего хода наших мыслей.

Одно определение придает проблеме размножения раздражающую таинственность: это — точка зрения, представляющая продолжение рода в качестве частичного проявления роста. (Размножение посредством деления, пускания ростков и почкования.) Происхождение размно-

жения посредством дифференцированных в половом отношении зародышевых клеток можно было бы, по трезвому дарвиновскому образу мышления, представить так, что преимущества амфимиксиса, который получился когда-то при случайной копуляции двух протис-тов, заставили его удержаться в дальнейшем развитии и быть использованным дальше[85].

«Пол» при этом оказывается не слишком древнего происхождения, и весьма сильные влечения, которые ведут к половому соединению, повторяют при этом то, что случайно раз произошло и укрепилось как оказавшееся полезным.

Здесь так же, как и при рассуждении о смерти, возникает вопрос, нужно ли признавать за протис-тами только то, что они открыто обнаруживают, или нужно принять, что у них возникают и те процессы и силы, которые становятся видимыми лишь у высших животных существ. Это упомянутое понимание сексуальности очень мало говорит в пользу наших мыслей.

---

85 notes: 85

* Хотя Вейсман (Das Keimplasma, 1892) отрицает это преимущество: «Оплодотворение ни в коем случае не означает омоложение жизни, оно представляет не что иное, как приспособление для того, чтобы сделать возможным смешивание двух различных наследственных тенденций». Следствием такого смешения он считает повышение вариабельности живых существ.

Против него можно было бы возразить, что оно предполагает существование влечений к жизни, действующих уже в простейшем живом существе, так как иначе копуляция, противодействующая естественному течению жизненных процессов и затрудняющая задачу отмирания, не удержалась бы и не подверглась бы развитию, а избегалась бы. Если мы не стремимся оставить предположение о влечениях к смерти, нужно прежде всего присоединить их к влечениям жизни. Но следует признать, что мы имеем здесь дело с уравнением с двумя неизвестными. Те данные, которые мы находим в науке относительно возникновения пола, так незначительны, что проблему эту можно сравнить с потемками, куда не проник ни один луч гипотезы. Совсем в другом месте мы встречаемся все же с подобной гипотезой, которая, однако, так фантастична и, пожалуй, скорей является мифом, чем научным объяснением, что я не решился бы привести ее, если бы она как раз не удовлетворяла тому условию, к использованию которого мы стремимся. Она выводит влечение *из потребности в восстановлении прежнего состояния.*

Я разумею, конечно, теорию, которую развивает Платон в «Пире» устами Аристофана и которая

рассматривает не только происхождение полового влечения, но и его главнейшие вариации в отношении объекта[86].

«Человеческая природа была когда-то совсем другой. Первоначально было три пола, три, а не два, как теперь, рядом с мужским и женским существовал третий пол, имевший равную долю от каждого из двух первых... Все у этих людей было двойным, они, значит, имели четыре руки, четыре ноги, два лица, двойные половые органы и т. д. Тогда Зевс разделил каждого человека на две части, как разре-зывают груши пополам, чтобы они лучше сварились... Когда, таким образом, все естество разделилось пополам, у каждого человека появилось влечение к его второй половине, и обе половины снова обвили руками одна другую, соединили свои тела и *захотели снова*

86 notes: 86

* С нем. перевода Руд. Касснера.

срастись»[87].

Должны ли мы вслед за поэтом-философом принять смелую гипотезу, что живая субстанция была разорвана при возникновении жизни на маленькие частицы, которые стремятся к вторичному соединению посредством сексуальных влечений? Что эти влечения, в которых находит свое продолжение химическое сродство неодушевленной материи, постепенно через царство протистов преодолевают трудности, ибо этому сродству противостоят условия среды, заряженной опасными для жизни раздражениями, понуждающими к образованию защитного коркового слоя? Что эти разделенные частицы живой субстанции достигают, таким образом, мно-гоклеточности и передают наконец заро-

87 notes: 87

*** Я"обязан проф. Г. Гомперцу (Вена) следующими объяснениями происхождения мифа Платона, которые я частично привожу в его выражениях: «Я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что эта же теория находится уже в Упани-шадах, „Брихадараньяки-Упанишады“, 1, 4, 3 (Deussen, 60 Upanischads des Weda, S. 393), где описывается происхождение мира из Атмана (самого, или Я): „Но он (Атман, сам, или Я) не имел радости, поэтому и никто не имеет радости, если он один. Тогда он возжелал о другом. Он был таким же большим, как мужчина и женщина, если они обнялись. Это свое Я он разделил на две части: отсюда получились муж и жена. Поэтому тело в своем #подобно половине, так именно объяснил это Тайна-валкья. Поэтому эта недостающая часть восполняется женщиной“». Брихадараньяки-Упанишады самые старые из всех Упа-нишад. Никем из известных исследователей они не датировались позднее 800 года до Р. Х. Вопрос, была ли возможна какая-либо посредственная зависимость у Платона от этой индийской

мысли, я не хотел бы решить в отрицательном смысле, в противовес господствующему мнению, так как такая возможность вовсе не должна быть обязательно объяснена учением о странствованиях души.

Такая зависимость, переданная через пифагорейцев, вряд ли отняла бы что-либо от значительности этого совпадения мыслей, так как Платон не присвоил бы себе такое предание, принесенное ему с Востока, уже не говоря о том, что он не придал бы ему такого важного значения, если бы оно ему самому не показалось правдоподобным.

В одном из сочинений К. Циглера — «Menschen und Welten-werden» (Neue Jahrbucher f. das Klassische Altertum, Bd. 31, Sonderabdr., 1913), которое занимается систематическим исследованием этой спорной идеи до Платона, она относится к вавилонским мифам.

дышевым клеткам влечение к воссоединению снова в высшей концентрации? Я думаю, на этом месте нужно оборвать рассуждения.

Но не без того, чтобы заключить несколькими словами критического размышления. Меня могли бы спросить, убежден ли я сам, и в какой мере, в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не убежден в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее: я не знаю, насколько я в них верю. Мне кажется, что аффективный момент убеждения вовсе не должен приниматься здесь во внимание. Ведь можно отдаться ходу мыслей, следить за ним, куда он ведет, исключительно из научной любознательности, или, если угодно, как «advocatus diaboli»[88], который из-за этого сам все же не продается черту.

Я не отрицаю, что третий шаг в учении о влечениях, который я здесь предпринимаю, не может претендовать на ту же достоверность, как первые два, а именно расширение понятия сексуальности и установление нарциссизма. Эти открытия были прямым переводом на язык теории наблюдений, связанных не с большими источниками

---

88 notes: 88

* Поверенный дьявола. (Примеч. ред. перевода.)

ошибок, чем те, которые неизбежны во всех таких случаях. Утверждение *регрессивного* характера влечений покоится во всяком случае также на исследуемом материале, а именно на фактах навязчивого повторения. Но я, может быть, переоценил их значение. Построение этой гипотезы возможно во всяком случае не иначе, как с помощью комбинации фактического материала с чистым размышлением, удаляясь при этом от непредвиденного наблюдения.

Известно, что конечный результат тем менее надежен, чем чаще это делается в процессе построения какой-либо теории, но степень ненадежности этим еще не определяется. Здесь можно счастливо угадать но и позорно впасть в ошибку. Так называемой интуиции я мало доверяю при такой работе; в тех случаях, когда я ее наблюдал, она казалась мне скорее следствием известной беспринципности интеллекта. Но к сожалению, редко можно быть беспристрастным, когда дело касается последних вопросов, больших проблем науки и жизни. Я полагаю, что каждый одержим здесь внутренне глубоко обоснованными пристрастиями, влиянием которых он бессознательно руководствуется в своем размышлении. При таких основаниях для недоверия не остается

ничего другого, как благожелательная сдержанность к результатам собственного мышления. Я только спешу прибавить, что такая самокритика не обязывает к особой терпимости по отношению к иным взглядам. Нужно неукоснительно отвергнуть теории, если анализ их первых шагов противоречит наблюдаемому, и все же при этом можно сознавать, что правильность выдвигаемой взамен теории есть лишь временное явление. В оценке наших рассуждений о влечениях к жизни и смерти нам мало помешает то, что мы встречаем здесь столько странных и ненаглядных процессов, как, например, то, что одно влечение вытесняется другим, или оно обращается от *Я* к объекту и т. п. Это происходит лишь оттого, что мы принуждены оперировать с научными терминами, т. е. специфическим образным языком психологии (правильнее, глубинной психологии — Tiefenpsychologie). Иначе мы не могли бы вообще описать соответствующие процессы, не могли бы их даже достигнуть. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы психологические термины мы могли заменять физиологическими или химическими терминами. Они, правда, тоже относятся к образному языку, но к такому, с которым мы уже

давно знакомы и который, пожалуй, более прост для нас.

С другой стороны, мы должны уяснить себе, что неточность наших рассуждений увеличивается в высокой степени вследствие того, что мы принуждены одалживаться у биологии. Биология есть поистине царство неограниченных возможностей, мы можем ждать от нее самых потрясающих открытий и не можем предугадать, какие ответы она даст нам на наши вопросы несколькими десятилетиями позже. Возможно, как раз такие, что все наше искусное здание гипотез распадется.

Если это действительно так, нас могут спросить, к чему тогда приниматься за такую работу, какая проделана в этой главе, и зачем сообщать о ней. Я не могу, однако, не сказать, что некоторые аналогии, сопоставления и зависимости каза-

лись мне все же заслуживающими внимания[89].

89 notes: 89

* В заключение здесь несколько слов о нашей терминологии, которая в течение этого изложения проделала известное развитие. Что представляют собой «сексуальные влечения», мы знаем из отношения к полу и функции продолжения рода. Мы сохранили это название и тогда, когда были вынуждены данными психоанализа отвергнуть их обязательное отношение к продолжению рода. С указанием на существование нарциссиче-ского либидо и на распространение его на* отдельную клетку у нас сексуальное влечение превратилось в Эрос, который старается привести друг к другу части живой субстанции и держать их вместе, а собственно сексуальные влечения выявились как части Эроса, обращенные на объект. Размышление показывает, что этот Эрос действует с самого начала жизни и выступает как «влечение к жизни» в противовес «влечению к смерти», которое возникло с зарождением органической жизни. Мы пытаемся разрешить загадку жизни посредством принятия этих обоих борющихся между собой испокон веков влечений. Менее наглядно, пожалуй, превращение, которое испытало понятие влечений Я. Первоначально мы назвали таким именем все малоизвестные нам направления влечений, которые удалось отделить от сексуальных влечений, направленных на объект, и поставили влечения Я в противовес сексуальным влечениям, выражение которых заключается в либидо. Впоследствии мы подошли к анализу Я и нашли, что и часть влечений Я — либидозной природы и что они лишь избрали собственное Я в качестве объекта. Эти нарциссические влечения к самосохранению должны были быть теперь причислены к либидозным сексуальным влечениям. Противоположность между влечениями Я и сексуальными превратилась в противоположность между влечениями Я и влечениями к объекту (то и другое — либидозной природы). На ее место выступила новая противоположность: между либидозными влечениями к Я и к объекту и другими влечениями, которые обосновываются в Я и которые можно обнаружить в деструктивных влечениях. Размышление превращает эту противоположность в другую — между влечениями к жизни (Эрос) и влечениями к смерти.

VII

Если действительно влечения обладают таким общим свойством, что они стремятся восстановить раз пережитое состояние, то мы не должны удивляться тому, что в психической жизни так много процессов осуществляется независимо от принципа удовольствия. Это свойство должно сообщиться каждому частному влечению и сказывается в таких случаях в стремлении снова достигнуть известного этапа на пути развития. Но все то, над чем принцип удовольствия еще не проявил своей власти, не должно стоять в противоречии с ним, и еще не разрешена задача определения взаимоотношения процессов навязчивого повторения к господству принципа удовольствия.

Мы узнали, что одна из самых главных и ранних функций психического аппарата состоит в том, чтобы «связывать» доходящие до него внутренние возбуждения, замещать царящий в них первичный процесс вторичным, превращать свободную энергию активности в покоящуюся, тоническую. Но во время этого превращения еще нельзя говорить о возникновении неудоволь-

ствия: действие принципа удовольствия этим также не прекращается. Превращение совершается скорее в пользу принципа удовольствия: связывание есть подготовительный акт, который вводит и обеспечивает господство принципа удовольствия.

Отделим функцию и тенденцию одну от другой резче, чем мы до сих пор это делали. Принцип удовольствия будет тогда тенденцией, находящейся на службе у функции, которой присуще стремление сделать психический аппарат вообще лишенным возбуждений или иметь количество возбуждения в нем постоянным и возможно низким.

Мы не можем с уверенностью решиться ни на одно из этих предположений, но мы замечаем, что определенная таким образом функция явилась бы частью всеобщего стремления живущего к возвращению в состояние покоя неорганической материи. Мы все знаем, что самое большое из доступных нам удовольствий — наслаждение от полового акта — связано с мгновенным затуханием высоко поднявшегося возбуждения. Связывание же внутреннего возбуждения составляло бы в таком случае подготовительную функцию, которая направляла бы это возбуждение

к окончательному разрешению в наслаждении успокоением.

В зависимости от этого возникает вопрос, могут ли чувства удовольствия и неудовольствия происходить одинаково из связанных и несвязанных процессов возбуждения. Здесь обнаруживается с несомненностью, что несвязанные первичные процессы делают гораздо более интенсивными чувства в обоих направлениях, чем связанные, т. е. вторичные, процессы. Первичные процессы суть также более ранние по времени; в начале психической жизни не встречается никаких других, и мы можем заключить, что, если бы принцип удовольствия не был действительным уже в них, он не мог бы проявляться в более поздних процессах. Мы приходим, таким образом, к тому, в основе далеко не простому, выводу, что стремление к удовольствию в начале психической жизни проявляется гораздо сильнее, чем в более поздний период, но более ограниченно; тут должны образовываться частые прорывы. В более зрелый период господство принципа удовольствия обеспечено гораздо полнее, но сам он так же мало избегает обуздания, как и другие влечения. Во всяком случае, при вторичных процессах должно происходить то же самое, что

и при первичных, а именно то, что вызывает возникновение удовольствия и неудовольствия при процессах возбуждения.

Здесь уместно бы заняться дальнейшим изучением. Наше сознание сообщает нам изнутри не только о чувствах удовольствия и неудовольствия, но также о специфическом напряжении, которое опять-таки само по себе может быть приятным и неприятным.. Будут ли это связанные или несвязанные энергетические процессы, которые мы посредством этого ощущения можем отличить одно от другого, или ощущение напряжения указывает на абсолютную величину или уровень активной энергии, в то время как удовольствие — неудовольствие обозначает изменение величины этой энергии в единицу времени? Мы должны также заключить, что «влечения к жизни» имеют больше дела с нашими внутренними восприятиями, выступая как нарушители мира, принося вместе с собой напряжения, разрешение которых воспринимается как удовольствие. Влечения же к смерти, как кажется, непрерывно производят свою работу. Принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти: он сторожит вместе с тем и внешние раздражения, которые расценива-

ются влечениями обоего рода как опасности, но совершенно отличным образом защищается от нарастающих изнутри раздражений, которые стремятся к затруднению жизненных процессов. Здесь возникают бесчисленные новые вопросы, разрешение которых сейчас невозможно. Необходимо быть терпеливым и ждать дальнейших средств и возможностей для исследования. Также надо быть готовым оставить ту дорогу, по которой мы некоторое время шли, если окажется, что она не приводит ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые от науки ожидают замены упраздненного катехизиса, поставят в упрек исследователю постепенное развитие или даже изменение его взглядов. В остальном относительно медленного продвижения нашего научного знания пусть утешит нас поэт (Рюккерт в «Makamen Hariri»):

> До чего нельзя долететь, надо дойти хромая.
>
> .....
>
> Писание говорит, что вовсе не грех хромать.